
Наталия Ильина
ДОРОГИ

Наталия Ильина

ДОРОГИ



Наталия Ильина

ДОРОГИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПРОЗА

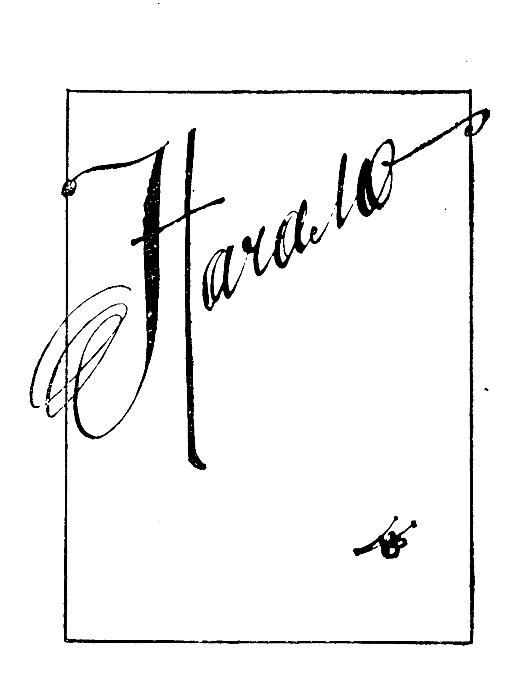
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

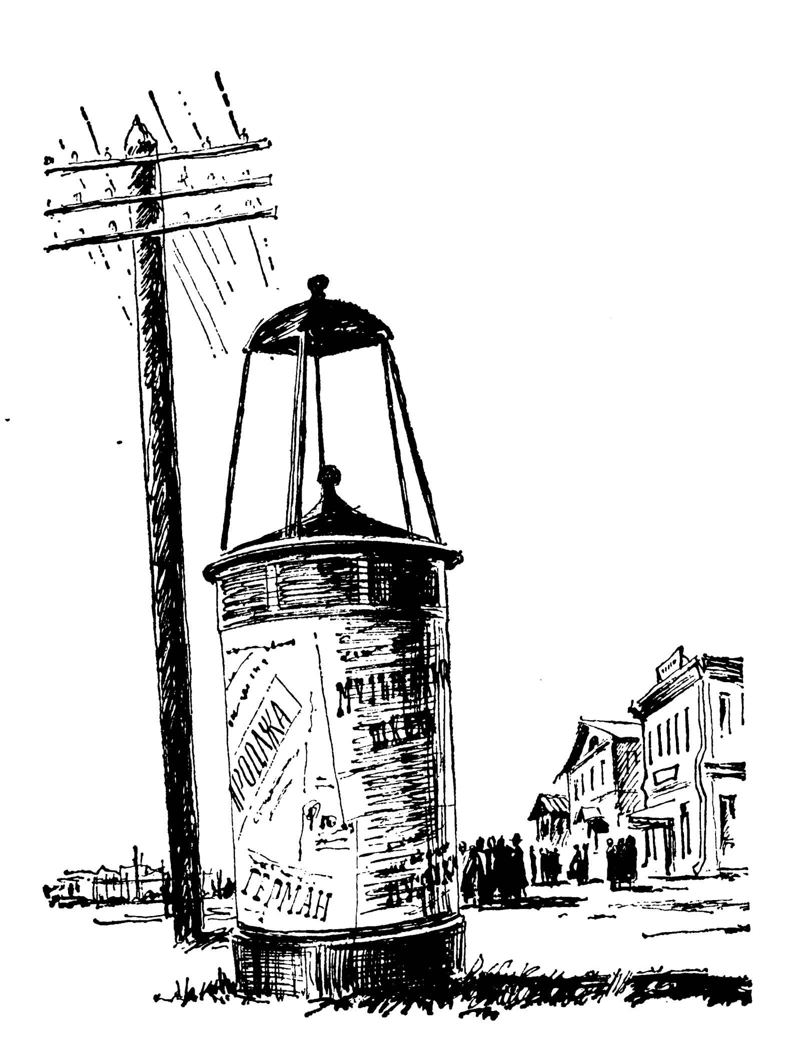
Р 2
И 46

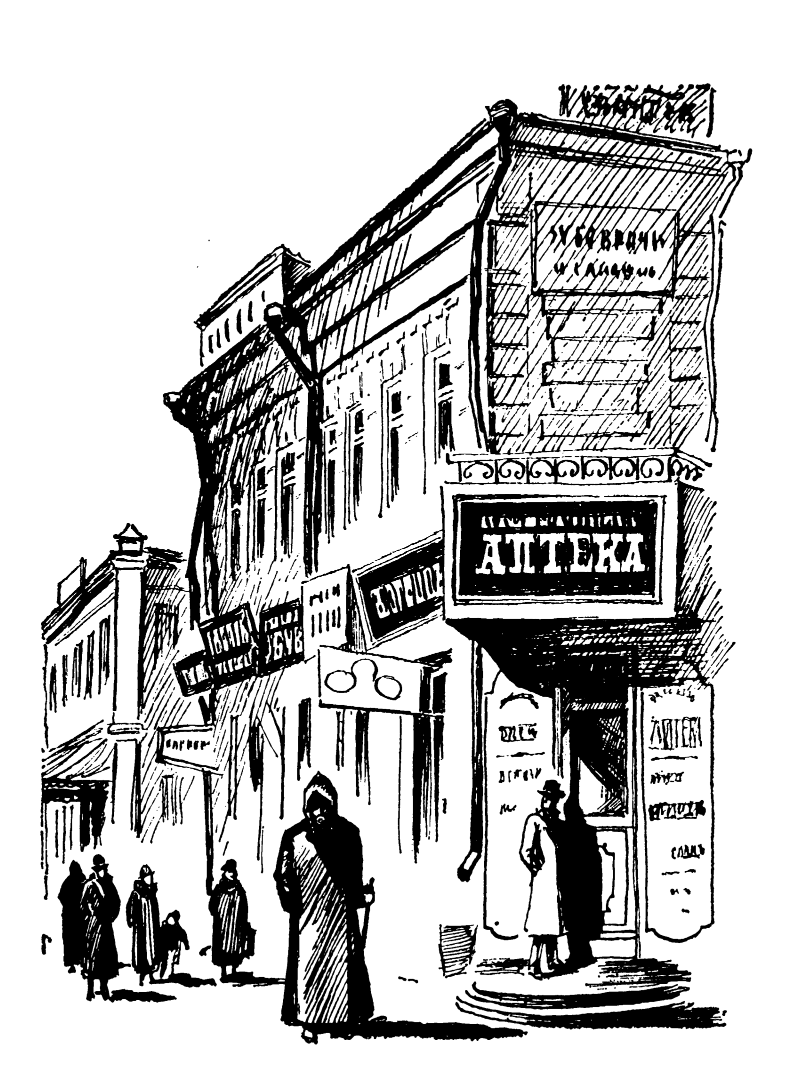
Книга автобиографической прозы Наталии Ильиной «Дороги» перекликается идейно-тематически с ее книгой «Судьбы», опубликованной издательством «Советский писатель» в 1980 году и повествующей о таких видных деятелях русской культуры, как А. И. Воейков, А. А. Ахматова, К. И. Чуковский и другие. Выстроенная в соответствии с хронологией жизни автора, книга «Дороги» посвящена теме Родины. Рассказывая о своем исполненном драматизма и отчаяния существовании в эмиграции, где она оказалась по не зависящим от нее обстоятельствам, писательница сопоставляет его со своей жизнью после возвращения в СССР.

Художник Юлия АЛЕКСЕЕВА

И $\frac{4702010200-051}{083(02)-83}$ 42—83


Harald


ПРОДАЖА
ГЕРМАН


АПТЕКА

МАТЬ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА

> Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.
>
> *Пушкин*

В дневниковой записи матери от августа 1922 года читаю: «Бедные мои девочки, они вырастут на всем новом, без этого аромата старины, нежного дыхания прошлого, которое окутывало все наше детство».

Именно так и случилось. «Ароматы старины» не касались нас долгие годы, а к прошлому матери и семьи ее мы относились с глубоким равнодушием.

Отец, недурно рисовавший, изобразил акварельными красками гербы Ильиных и Воейковых: окантованные эти рисунки висели на стене столовой нашей бедной эмигрантской квартиры в те годы, когда отец еще жил с нами... Время от времени он начинал доказывать матери, что его род древнее Воейковых. Мать в спор не вступала. Не теряя, как всегда, самообладания, она удостаивала собеседника лишь короткими репликами, это и выводило отца из себя, он горячился, повышал голос. Вспыльчивый и несдержанный, он горячился еще и потому, что вечно ощущал себя уязвленным. Он был уязвлен до революции: помнил, как долго колебалась моя мать, прежде чем решилась на брак с ним. Помнил, что семья ее этот брак не одобряла. Он был уязвлен после революции: в эмигрантской жизни всегда зарабатывал меньше матери, она была главой семьи...

В детстве и отрочестве разговоры о родах и гербах меня не интересовали, а позже раздражали и смешили... Кредиторы стучат в дверь, неизвестно, чем мы будем сегодня обедать, к чему мне эти фамильные гербы? Старые материнские альбомы с фотографиями петербургской квартиры и дома в Самайкине (имение Воейковых под Сызранью) я рассматривала без интереса, рассказы матери о ее семье слушала из вежливости, а потом меня и вежливость покинула. Гордость матери своей семьей на фоне нашей унизительной бедности казалась мне и смешной, и жалкой, я прерывала ее нетерпеливым: «Ну да, ну да! Наши предки Рим спасли!» Или вычитанным у Горького сердитым: «В карете прошлого никуда не уедешь!» Мать замолкала оскорбленно.

Мне не забыть, как я обидела мать всего за месяц до ее кончины! В ноябрьской книжке журнала «Знамя» за 1965 год публиковалось окончание моего романа «Возвращение», и там есть сцена, где Софья Павловна и графиня Эссельроде вспоминают прошлое, и Софья Павловна показывает графине старые альбомы с фотографиями. Мать не могла не узнать себя в этой сцене, тем более что в Шанхае в описанное мною время была среди наших знакомых старая графиня Нессельроде, промышлявшая уроками французского языка и гаданием на картах. Наблюдала я эту сцену с альбомом в жизни или придумала — неважно, что-то похожее было, и я не без смущения ждала реакции матери. Ждала упреков, готовилась к отпору, ничего этого не последовало, мне было просто сказано с горечью и обидой в голосе: «Как ты могла?» Мои неискренние объяснения («А с чего, дескать, ты взяла, что это о тебе?») были встречены молчанием. Несколько дней мать была со мной холоднее обычного, и больше мы к этому не возвращались.

Вот так сравнительно недавно это было, а сегодня я бы уже не стала писать с насмешкой о двух пожилых женщинах, находящих утешение в старых альбомах и воспоминаниях прежней жизни. Сегодня, когда я сама иду по склону лет, я понимаю, что человек должен ощущать свои корни, со-

знавать свою связь с прошлым. Сегодня я бы о многом расспросила свою мать, и сколько бы доставила ей радости моим — пусть поздно, но пробудившимся все-таки! — интересом к ее семье. Но матери нет, и уже не скажешь ей об этом.

В оставшихся после нее дневниковых тетрадях, рукописях, старых письмах— в этом бумажном ворохе я разбиралась постепенно, в течение нескольких лет. С удивлением я увидела начатые ею страницы воспоминаний, посвященные ее бабушке с материнской стороны Анне Павловне Толстой, и ее дяде (брату отца) Александру Ивановичу Воейкову, знаменитому ученому, географу и климатологу. Впрочем, о том, что она пишет о «дядюшке-профессоре», мать в свое время говорила мне, но я, видимо, не выразила желания с этим познакомиться, а она из гордости не предложила мне...

В 1949 году Геофизической обсерватории под Ленинградом было присвоено имя А. И. Воейкова, а поселок Сельцы, где находилась обсерватория, стал называться «Воейково». В 1957 году обсерватория отмечала сто пятнадцать лет со дня рождения «первого русского климатолога» и открывала ему памятник. На эти торжества мать ездила из Москвы вместе со своим единственным оставшимся в живых братом Иваном Дмитриевичем. А я не ездила. Хотя и мне было прислано персональное приглашение: «Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова» просила меня «одиннадцатого мая сего года принять участие в торжественном собрании и заседании Ученого совета, посвященных 115 годовщине со дня рождения и открытию памятника АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ВОЕЙКОВУ»... В приглашении заботливо добавлялось, что «в 14 часов 30 минут из Ленинграда в поселок Воейково» отправляются автобусы из такого-то места. Но я и не подумала ехать в Питер и пользоваться заботливыми автобусами. Я заранее была уверена, что на этих торжествах скука будет адовая, да и вообще не хотела пристраиваться к «семейному полонезу» — как я любила тогда выражаться... Это приглашение я куда-то сунула и забыла о нем, а

много лет спустя с изумлением нашла его среди бумаг матери. Как она ухитрялась все хранить?

Там же я обнаружила письма бабушки Ольги Александровны, жившей в Ленинграде вместе с семьей своего третьего сына, горного инженера Дмитрия Дмитриевича Воейкова, и часто писавшей нам в Харбин. Эта находка меня не изумила. Я знала, как мать радовалась этим письмам, как ценила их, я помню многочисленные коробки из-под конфет, куда эти письма прятались... Осенью 1938 года мать навсегда покинула Харбин, приехав ко мне в Шанхай, в снимаемую мною десятиметровую комнату. Один из ее бедных чемоданов был набит пачками пожелтевшей бумаги. Я возмутилась. Ведь я предупреждала, что комната моя мала. Так неужели ЭТО надо было тащить с собой, неужели ЭТО нельзя было выбросить? Мне ответили очень тихо: «Не говори чепухи. Это письма бабушки!» С этими письмами мать не рассталась до смерти.

Я удосужилась в них разобраться, вникнуть, оценить, когда после кончины матери прошло пять лет, а после кончины бабушки — свыше тридцати... Письма посвящены описанию быта ленинградской семьи дяди Дмитрия Дмитриевича, сведениям о двух других братьях матери — Павле и Иване — и сестре — Марье. Мелькают там также имена многочисленных друзей. Каждая строчка об оставшихся близких была матери нужна, важна, необходима, письма перечитывались, читались вслух, и боже мой, сколько делалось попыток заинтересовать меня этими письмами, заставить оценить эпистолярный стиль бабушки — мать неизменно им восхищалась...

Из письма бабушки от 1929 года: «Очень рада, дорогая Катя, что ты находишь мои письма «изумительными». Не пойму лишь, чем они тебя изумляют: внешностью или содержанием? По внешности они похожи на счет от деревенского сапожника, а по содержанию умалчивают почти все, о чем хотелось бы сказать... Февральское небо сегодня то плюется дождиком, то снежными крупными хлопьями. Сыро. Холодно. Сижу дома. Никого из наших нет, и я обращаюсь к обществу отсутствующих».

Из письма 1927 года: «Морозы сдались, к первому марту грозит оттепель, как и полагается на Масляной. К концу марта думаю перекочевать к Маре в Симбирск. Я отдала в краску свой белый костюм, перекрашу его в черный. Летние туфли мне сделают из кожи козы томышевского происхождения, которую задавил поезд. Мара отдала кожу в отделку, купила подошву и прислала с оказией. Некий Волков, церковный регент и музыкант, шьет сапоги и при этом сочиняет музыку без всякого инструмента. Многие пробуют себя в чужих ролях, это какой-то феномен! Не знаю, что выйдет из комбинации томышевской козы и бывшего регента Смольного хора...»

Бабушкины письма пронизаны иронией, недоступной, разумеется, моему отроческому пониманию. Не могла я понять в те годы и мужества этой старой женщины, силы ее духа. Совершенно новые, непривычные условия жизни, в которых она очутилась, когда ей было уже за шестьдесят, не вызывают у нее ни раздражения, ни жалоб. Напротив: стремление понять, принять... «У Димы были его студенты, и полдня шумели за моей стеной молодые советские фавны. Много в них естественности, бодрости, простоты. Как не радоваться тому, что тысячи и тысячи их проснулись для культурной жизни!» «...так хотелось бы передать тебе, Катя, ощущение того, как, несмотря на трагизм многого, полной грудью дышит страна, вся в движении, в несомненном создании своего будущего». «...Ну откуда, откуда у тебя эти слова о гибели культуры, Катя? Мне подарили два первых тома переводов Гёте. Кроме переводов Вяч. Иванова и немногих лучших старых — все они сделаны молодыми поэтами. Им принадлежат статьи и очень эрудитные примечания. Книг вообще выходит множество, и все раскупаются в несколько дней...» «На прошлой неделе лежала с гриппом, и Алина читала мне вслух Маяковского. Обе мы очень ценим его огромную требовательность к человеческому духу. Морозы суровые. Мечтаем об обилии воды в теплой комнате. Мечты эти несбыточны. Надо бы отремонтировать квартиру, но нет стекол, замазки, гвоздей. Много

трудного. Ну что ж. Это крест на нас возложен, от которого никто не вправе уклониться».

Сейчас, читая эти письма, я вспоминаю слова Ахматовой: «...мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час... Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас».

В те далекие отроческие годы я ничего этого не понимала. И куда мне было догадаться, сколь драгоценны разбросанные по страницам писем сообщения о ценах, рынках, магазинах, примусах, керосинках, обо всех мелочах быта, из которых складывается картина жизни тех лет... Впрочем, и позже, в годы молодости (бабушка писала нам вплоть до своей предсмертной болезни, до октября 1936 года), эти письма не интересовали меня. Я занята была своей жизнью, ее бедами, ее неустройством; то, о чем писала бабушка, было так далеко, так непонятно, как если бы происходило на другой планете. Подробности жизни родственников меня не занимали: одних я не помнила, других и вообще никогда не видела!

Но вот бабушку-то, бабушку Ольгу Александровну я знала и помнила очень хорошо! Дело в том, что ранней осенью 1924 года она приезжала к нам в Харбин.

Она привезла с собой внуков, детей ее старшего сына Александра Дмитриевича, жившего, как и мы, в Харбине. Шестнадцатилетний Алек был сыном разведенной жены дяди Шуры — Надежды Александровны Башмаковой. Сведения о матери десятилетней Муси у меня самые отрывочные — я даже имени ее не знаю! Была она хороша собой, совершенно одинока, бабушка приютила ее в Самайкине не знаю, в какой роли, дядя Шура влюбился, был роман, родилась Муся. Муся родилась в 1914 году, а мать ее скончалась от туберкулеза, кажется, годом позже, девятнадцати лет от роду. Муся была «незаконным» ребенком, но дядя Шура ее удочерил.

Той осенью 1924 года я едва успела познакомиться с Алеком и Мусей — дядя Шура сразу увез их к себе в Эхо.

А бабушка стала жить с нами. Приехала ли она, чтобы остаться с нами навсегда? Не знаю. Знаю, что она и года с нами не выдержала.

По случаю ее приезда нас с Гулей (детское имя сестры Ольги) из маленькой комнаты перевели в большую и поставили туда для бабушки третью кровать, а столовой стала наша бывшая детская.

Я засыпала, когда за ширмой, отгораживающей бабушкину постель, горела лампочка, шуршали страницы, — бабушка читала перед сном. Утром я заставала ее совершенно одетой: юбка до полу, светлая блузка с кружевом у шеи... Однажды, проснувшись ночью, я увидела, что бабушка стоит ко мне спиной и смотрит в окно. А за окном тьма, ни палисадника не видно, ни пустынной Гиршской улицы, разве что кусок булыжной мостовой, освещенный фонарем, — во что она там всматривается?

Высокая, худая фигура в чем-то белом, длинном, черепаховые шпильки в седых волосах... Задумавшись, бабушка постукивала по оконному переплету костяшками пальцев, не это ли легкое постукивание разбудило меня? За ширмой горела лампочка, она-то и позволила мне, когда бабушка обернулась, увидеть ее лицо. А я уже по выражению спины понимала, что бабушке плохо, и очень боялась: не плачет ли она? Но не было видно слез на этом красивом горбоносом узком лице, бабушка и слезы вообще плохо между собой вязались. Сдержанность и величавость этой старой женщины (ей было в то время шестьдесят шесть лет) были на том же уровне, что сдержанность и величавость Ахматовой, которую мне предстояло узнать тридцать лет спустя.

Слез не было. Лицо бабушки показалось мне сосредоточенно-суровым, я быстро закрыла глаза, чтобы она не заметила, что я за ней подсматриваю, а она ушла за ширму, погасила лампу и, ложась, тяжело, прерывисто вздохнула. Ужасно мне было ее жалко, утешить хотелось, но как? Это не была та бабушка-старушка, к которой можно прижаться,

приласкаться... Она занималась со мной английским языком, а я во время уроков качалась на стуле и зевала, все прислушиваясь к тому, что там без меня делается во дворе, во что играют, а тут ночью, в порыве нежности и раскаянья, обещала себе больше не зевать и не качаться, но вряд ли меня надолго хватило... Вероятно, по прошествии двух-трех дней вновь зевала и качалась...

Ей было у нас плохо. Потому ли, что она видела неблагополучие и шаткость нашей семьи, несогласие моих родителей, изо всех сил, однако, старавшихся при ней не ссориться? Потому ли, что она не любила моего отца и он платил ей тем же? Или потому, что в этом русско-маньчжурском городе, в этом нелепом эмигрантском быте бабушка Ольга Александровна не могла, да и не хотела, найти свое место?

И одиноко ей было. Все друзья остались в Питере, тут — никого, за исключением одной приятельницы молодости, мисс Перси Френч». (Как я позже узнала, Екатерина Максимиллиановна Перси Френч была дочерью англичанина и симбирской помещицы Киндяковой. Усадьба Киндяковых описана Гончаровым в романе «Обрыв».) Небольшого роста (куда ниже бабушки!), полная, безбровая, с маленькими глазками и тройным подбородком, она запомнилась мне главным образом своими необыкновенными шляпками, украшенными цветами и даже птицами. Она называла бабушку «Ольга», но на «вы», приезжала за ней в автомобиле, увозила к себе. Шляпки с цветами, автомобиль, шофер, выскакивающий из машины, почтительно открывающий, а затем захлопывающий дверцу,— все говорило о богатстве мисс Перси Френч, и я воображала себе прекрасный дом, в котором она живет, и большой сад и очень хотела там побывать, но меня никто туда не звал... Мисс Перси Френч не могла заменить бабушке ее друзей, Харбин — любимый Питер, а мы с мамой — оставшихся в России других детей и внуков.

Моя мать надеялась, что бабушке у нас лучше, чем в Ленинграде. Там бабушке приходилось и в магазины ходить

и иногда даже стряпать — верх несчастья с точки зрения мамы, к хозяйственным заботам не приспособленной, стряпать не умевшей и уметь не желавшей. Мама преклонялась перед бабушкой Ольгой Александровной, была с ней любовно-почтительна, и, боже ты мой, как мне влетело однажды, когда мать во время моего с бабушкой урока вошла в комнату и застала меня зевающей! Живя у нас, бабушка была избавлена от хозяйственных тягот. В то время была кухарка, уже вертелась в доме портниха Ольга Васильевна и что-то бабушке шила, и мама покупала прекрасную плотную бумагу для бабушкиных бесконечных писем, а не на оберточной ли бумаге писала она в Ленинграде? Бабушке оставалось лишь украшать наш дом своим величественным присутствием, навещать мисс Перси Френч, ходить в церковь и учить внучек английскому языку. Чем плохо было бабушке? Но она рвалась обратно. Говорила: «Я там нужнее!»

В августе 1925 года бабушка уехала обратно в Россию вместе с Алеком, и в альбоме матери сохранился плохонький любительский снимок проводов на вокзале.

Меня там не было. Живость моего нрава нередко приводила к несчастным случаям: то я едва не проткнула себе глаз палкой (шрам под глазом сохранился до сего дня!), то едва не стала горбатой, упав с дерева, то падала с велосипеда (училась ездить, не держась за руль, руки за спину), а незадолго до бабушкиного отъезда грохнулась на спину с качелей, отбила почки и была уложена в постель.

Группа на харбинском вокзале на фоне вагона...

Бабушка, одетая по-дорожному, по моде своего времени: светлый, видимо, чесучовый костюм, длинный жакет с карманами и юбка до полу, темная шляпка, а поверх нее газовый шарфик, завязанный у подбородка. Рядом моя мать, понимавшая, что это расставание — навсегда. Алек. Среднего роста, широкоплечий, в кепке, в рубашке с закатанными рукавами, славный сероглазый Алек, рыцарского нрава юноша, любимец детей и старых дам. Мисс Перси Френч в более скромной, чем обычно, шляпке, и еще шляпки каких-то ста-

рушек — мне уже не вспомнить, кто они... На первом плане — светлая головенка и бант моей сестры. И Муся с темной челочкой, с мрачным исподлобья взглядом: Мусю отрывали от бабушки, оставляли с отцом, к которому она не успела привыкнуть...

«И все они умерли, умерли, умерли!» Никого из тех, кто запечатлен на этом плохоньком снимке, нет в живых, никого, кроме моей сестры. Провожавшие бабушку старушки, включая сюда мисс Перси Френч, не могли уцелеть по возрасту; даже моей матери, тогда молодой, было бы сейчас за девяносто. Нет в живых и детей дяди Шуры. Муся, оставшаяся в Маньчжурии с отцом, умерла от туберкулеза в Циндао летом 1934 года, едва дожив до двадцатилетнего возраста. Алек, вернувшийся в Россию к матери, погиб тремя годами позже, не дожив до тридцати лет.

Долгие годы бабушкин отъезд терзал маму. Все ей казалось, что она чего-то для своей матери не сделала или что-то делала не так. Мама думала, что бабушка уехала от нас в Ленинград, потому что в нашей тесной квартире у нее не было своего угла. Говорила: «Надо было немедленно снять квартиру побольше, тогда были на это деньги, я никогда себе не прощу, что поместила бабушку с вами двумя!» Или: «Надо было тогда же разводиться с вашим отцом, все равно к этому шло, пусть бы он уходил, и тогда я отдала бы бабушке нашу комнату, а сама спала бы в столовой!» По мнению мамы, сражение за бабушку было выиграно Ленинградом в лице семьи дяди Димы именно благодаря тому, что там-то у бабушки своя комната была! И поначалу хорошая комната. Позже, когда эту квартиру разделили, отрезав от нее половину, у бабушки все-таки был собственный угол: комната при кухне, ранее предназначавшаяся для прислуги...

Меня же ее отъезд не опечалил. Нет, печали не было. Боюсь: не было ли радости? Теперь никто не будет терзать меня уроками английского языка в те часы, когда все дети играют на дворе...

Бабушка уехала, и вновь и вновь пошли от нее письма — фиолетовые чернила на серой, вроде бы с опилками бумаге, за которую цеплялось и брызгало перо. Мелкий почерк, строчки набегали друг на друга: бабушка все больше слепла...

Письмо из Симбирска, где весной 1927 года бабушка гостила у дочери Марьи Дмитриевны: «Глаза мои еще дают возможность писать, почти дотрагиваясь носом до бумаги. К сожалению, нос мой длинен, и если еще придется его приблизить, то уж некуда! Пока я вижу с помощью очков даль и красоту природы, лазурь небес и темную синеву Волги, яркую зелень молодого дуба и ветку сирени на кусту — я не жалуюсь. Вероятно, это последний раз в жизни, что я провожу весну в этих условиях... На наших столах встретились сирень, ландыш и незабудка, даже по улице несется аромат яблони, сидеть под душистым деревом над самой Волгой в полном разливе, следить за движением плавно заворачивающего к пристани парохода — такое наслаждение!»

Некоторые письма были адресованы непосредственно мне или сестре моей, а бывало — нам обеим вместе. На них, увы, следовало отвечать. До сегодня звучит в моих ушах сердитый голос матери: «Как? Ты до сих пор не написала бабушке? Садись немедленно! Вот тебе бумага!» Я садилась немедленно — деваться некуда — и, тоскуя, выводила: «Милая бабушка! Как ты поживаешь? (Зевала. Смотрела в окно.) У нас идет дождь. Мы не ходили гулять, а играли дома. (Слегка оживляясь.) Нам подарили новую игру. Она называется «хальма»...»

...Нет, связки бабушкиных писем, обнаруженных мною в архиве матери после смерти ее, не удивили меня, я знала, что она их хранила... Воспоминания о «дядюшке-профессоре» тоже не удивили — я знала, что мать их писала, а познакомиться с ними — желания не выразила. Новостью для меня были начатые матерью мемуары, посвященные ее бабушке — Анне Павловне Толстой. Уж если знаменитый дядюшка-профессор так мало интересовал меня, то прабабка Толстая — и того меньше. Понимая это, мать не заикнулась мне, что пи-

шет о ней. Но писала. Для кого? Для себя? Кто же пишет для себя?

Быть может, она знала, что настанет время, когда ее записки, дневники, письма, весь этот бумажный ворох понадобится мне.

Он понадобился. Не будь его — разве бы я писала сейчас то, что пишу?

* * *

И очень удивила меня обнаруженная в этом ворохе — зачетная книжка, ее-то, ее зачем хранила мать? Она менялась в лице, когда сестра или я пытались выбросить какую-нибудь бумажку,— мы-то любили выбрасывать! Мы часто переезжали, в наших бедных жилищах было тесно от бумаг и книг, но — ничего не выбрасывалось! Как мы роптали с сестрой на эту черту матери!

Я, разумеется, помнила, что с осени 1932 года по весну 1936 года слушала лекции на ориентальном факультете харбинского Института ориентальных и коммерческих наук. Основной предмет — китайский язык. Чему там еще меня учили — я забыла совершенно и никогда бы не вспомнила, если бы не эта зачетная книжка, матерью сбереженная.

Перелистывая ее, я выяснила, что училась хорошо (везде «вуд» — высшая оценка), и еще выяснила названия предметов, которым училась... История Китая и Маньчжурии, история Китайско-Восточной железной дороги, энциклопедия права, общее международное право, гражданское право, статистика...

Какая статистика? Чего статистика? Не помню! И вообще не помню ничего! В декабре 1936 года я из Харбина уехала в Шанхай, института не окончив, все, чему меня там учили, включая сюда и китайский язык (сколько ж сил и времени было на него убито!), мне никогда не пригодилось, и сейчас мне кажется, что это не я, это кто-то другой сдавал зачеты по энциклопедии права и какой-то статистике.

Среди профессоров был прокурор, по слухам — блестящий и в России когда-то широко известный, и читал он предмет, связанный с правом (гражданским ли, еще каким?), но мне не предмет запомнился, а облик этого старого элегантного человека и его остроумие, меня веселившее... Меня, видимо, радовало, что я понимаю тонкий юмор этого человека, радовало, что узнаю что-то новое, и, вероятно, я гордилась собою, что способна эти радости испытывать.

Но я не имела на них права! Ремесло мне нужно было изучать, ремесло, которым можно деньги зарабатывать, а не тратить годы на «высшее образование», на «общее развитие», о которых твердила мать. Это она сунула меня в Ориентальный институт. Она преподавала там английский язык, платили ей мало, но зато дирекция согласилась безвозмездно принять меня в студентки. Однако в нашем положении (а мы были в те годы катастрофически бедны!) высшее образование было роскошью непростительной, почему же мать не желала с этим согласиться?

Она никогда не умела взглянуть в глаза действительности, трезво ее оценить и поступать соответственно. Она долго не могла расстаться с кухаркой и даже с домашней портнихой, которые нас обкрадывали, и с квартирой, за которую нечем было платить. Мы увязали в долгах, но именины и дни рождения матери праздновались по-прежнему, с гостями и пирогами. В дневнике матери за 1931 год написано:

«Зарабатывала я много меньше прежнего, а размах остался старый. Все казалось: где-то есть управляющий, и он пришлет деньги. Но денег никто не присылал, долги росли. Бушевали прачки, зеленщики, товарники[1]. Лавина долгов давила, душила, угнетала, действовала на нервы, пугала бедную Гулю: она часто оставалась дома одна и была вынуждена вести разговоры с кредиторами...»

В те годы мы скитались с квартиры на квартиру, нас гнали из одной за неуплату, мы переезжали на другую. Матери все

[1] Торговцы тканями и галантереей вразнос.

еще не приходило в голову, что мы уже не можем жить в квартирах, пора снять комнату, одну на троих. Мы с Гулей умолили наконец мать это сделать, и осенью 1932 года мы переехали в дом гостиничного типа. Это был самый высокий дом в Харбине (шесть, что ли, этажей), известный по имени владельца, как дом Ягунова. Кухонь там не было, комнаты сдавались с обедами, и, вероятно, была у нас какая-то спиртовка, на которой мы грели воду для чая...

Вечерами я слушала лекции в Ориентальном институте, утром и днем бегала по урокам. Сестра еще ходила в школу. Мать преподавала, переводила, что-то писала для газет. Везде платили мало, часто — неаккуратно, а, кроме того, мать отличалась редким неумением экономить и всегда тратила больше, чем получала... О нашем положении расскажет запись из дневника матери от 17 мая 1933 года:

«Вчера я заняла рубль у швейцара, чтобы отдать молочнику, который очень докучает бедным моим девочкам. А сегодня надо 60 копеек за чистку Гулиной юбки, иначе ее не пустят в класс. Все уже ходят в летней форме, одна Гуля в зимней! А юбка ее в чистке, а кофта у прачки, а у меня ни гроша. Фер-то кё? Завтра в классе проверочная работа, прийти необходимо, иначе Гулю оставят на второй год. Бездна отчаянья у бедняжки! А я отмахнулась: «Ну, где я тебе возьму? Пойди, наконец, к папе! Папа! У него и двугривенного не выпросишь! Нет, сию минуту надо идти и где-то доставать деньги!»

(В Харбине ходили китайские даяны и японские иены, а позже занявшие Маньчжурию японцы ввели «валюту Маньчжоу-Го», именуемую «гоби», однако русские харбинцы называли все эти денежные единицы «рублями» и «копейками».)

Следует пояснить и упоминание «папы».

Мой отец служил в армии, в артиллерии, войну кончил в чине подполковника. Любил охоту, стрельбу в цель, верховую езду — в семье нашей долго хранился серебряный кубок, первый приз, полученный отцом на конноспортивных состязаниях в 1911 году. Был недурен собой: зеленоглазый шатен

с правильными чертами лица, с ямочками на щеках, подтянутый и стройный, казавшийся выше своего среднего роста... Как все дворянские дети тех лет, болтал по-французски, но, кроме своего военного ремесла, не знал ничего, очутившись в эмиграции — растерялся, и все тяготы жизни легли на плечи матери. Ей, как всякой женщине, хотелось на кого-то опереться, к кому-то прислониться, а опереться было не на кого. Наездник и стрелок, танцор и ухажер, за которого она вышла замуж, оказался человеком слабым, легкомысленным, лишенным честолюбия, и даже — безответственным.

Все это выяснилось еще до эмигрантского периода жизни моих родителей. В дневнике матери за февраль 1914 года я нахожу такую запись, сделанную на английском языке:

«Мое замужество — ошибка. Ни опорой, ни поддержкой мой муж быть мне не может. Это просто раздражительный, легко падающий духом мальчик. Я должна думать о его экзаменах, о его академии, я должна одна думать обо всем!»

В то время они жили в военном городке под Новгородом, где служил отец и где мать, лишенная привычной петербургской жизни, очень тосковала. Она-то была и энергична, и честолюбива, это она заставила отца держать экзамены в академию, помогала ему к экзаменам готовиться, а меня еще не было на свете, и, видимо, эти занятия помогали матери переносить скуку военного городка и общество офицерских жен... Убеждена, что она сдала бы экзамены блестяще, но отец — провалился. Запись из ее дневника: «Я открыла дверь и увидела его несчастную фигуру, поднимавшуюся по лестнице. За сочинение поставили шесть [1] и к дальнейшим экзаменам не допустили».

Мать была не из тех, кто смирялся и падал духом. Куда-то ездила, хлопотала, добилась того, что отцу было разрешено вновь держать экзамены на следующий год. Но — война, затем — революция, пошли другие экзамены! Прежняя жизнь сметена. Вместо Новгорода и Петербурга — русско-ки-

---

[1] Действовала двенадцатибалльная система.

тайский глубоко провинциальный Харбин, двухмесячное житье в вагоне на запасных путях харбинского вокзала, совершенно новые, непривычные условия эмигрантского существования.

Этих экзаменов отец тоже не выдержал: обо всем думала, обо всех заботилась мать, она была главой семьи. Полагаю, что в те годы она перестала чего-то ждать от своего мужа, он был ей уже совершенно ясен, относилась она к нему свысока, с оттенком иронии, близким друзьям говорила: «У меня ведь трое детей: девочки и Ильин!»

Самолюбие отца было, разумеется, уязвлено, он искал утешений на стороне и находил их. На романы его мать смотрела сквозь пальцы, однако, когда летом 1924 года он собрался было уйти к своей очередной даме, встревожилась. Мать считала, что следует сохранить семью ради детей, и сохранила, правда — ненадолго... Лучше бы не сохраняла! Детям плохо в искусственно сохраняемой семье, это я знаю по собственному опыту.

Мы с сестрой росли в наэлектризованной атмосфере семейного несогласия. Родители старались не ссориться при нас, а уж если ссорились — переходили на французский язык, чтобы дети не понимали. Но дети понимали интонации, видели выражения лиц, а главное — постоянно ощущали неблагополучие дома. Я жила в вечном страхе, что ОНИ вот-вот начнут ссориться, вечерами прислушивалась к их голосам за стеной: мирно ли звучат? К обычным молитвам перед сном я прибавляла еще одну, собственного сочинения: «Сделай, господи, чтобы папа и мама не ссорились!» О мире в семье просила.

Но когда в нашем доме был мир, это был худой мир. Воскресные семейные обеды напоминали опасные прогулки по тонкому льду: каждую минуту следовало ждать, что ступишь не туда и насмерть захлебнешься... На какую-то реплику матери отец отвечал по-французски (а сердце мое уже падало), и через минуту отец — вспыльчивый, несдержанный — уже с грохотом отодвигает стул, уже хлопает дверью, уходя куда-то, а мы с сестрой сначала сидим, замерев, потом — плачем, мать

строго: «Сейчас же прекратите и отправляйтесь в детскую!» — и старается делать впд перед кухаркой, что ничего особенного пе произошло... Мы идем в детскую и рыдаем там. Отец обещал пойти сегодня с нами на каток или гулять, но теперь никто никуда с нами не пойдет, мать будет лежать на диване, укрывшись своей любимой бархатной накидкой, и то ли читать, то ли дремать, и в доме будет тревожно-тихо, а нам что делать и как жить — неизвестно... Как я завидовала своим школьным подругам, в домах которых царпли мир, тишина, согласие... Из моего тревожного, неуютного, непрочного дома меня тянуло в чужие дома, где были белые скатерти, желтые абажуры, кипящие самовары, мама, разливающая чай, добрый папа и всегда веселые дети...

Мне было тринадцать лет, когда отец счел нужным посвятить меня в свои разногласия с матерью. Повинуясь порыву (этот человек всегда повиновался порывам!), он разбудил меня среди ночи, сел ко мне на кровать, обнял за плечи: «Друг мой, твоя мама хочет от пас уйти, попросим ее этого не делать!» Спросонок я тряслась от холода и ужаса... Из соседней комнаты — голос матери: «Оставь девочку в покое, не лги ей!» И — мне, возникшей на пороге, мне, рыдающей и твердящей: «Я отравлюсь, я отравлюсь!»: «Никуда я от вас не ухожу, никогда в жизни я вас не брошу, иди спать, Тата, ради бога, иди спать!»

Это было в то время, когда мать, окончательно убедившись, что из семейной жизни ее ничего не выйдет, и в самом деле хотела расстаться с отцом. Мать встретила другого человека, и ей, давно жаждавшей поддержки и опоры, показалось, что на него опереться можно... Отец испугался развода, призвал на помощь меня и заставил маму обещать, что в течение двух лет она ничего не предпримет. Не знаю, почему именно «двух»? Знаю лишь, что сам-то он, не дождавшись конца этого срока, потребовал развода, ибо в его жизни тоже появилась другая женщина. Женщин в его жизни было много, но на этот раз дело обстояло серьезно: лучшая подруга моей матери, преподавательница английского языка, твердо решила

женить его на себе. Получив развод, отец бросил службу (он служил тогда в Чапьчуне, не знаю в качестве кого, и приезжал в Харбин лишь на субботу и воскресенье) и, несмотря на данное слово, прекратил денежную помощь бывшей семье. Сначала еще платил за квартиру, затем кончилось и это. Жена отца много работала и неплохо зарабатывала (она была куда практичнее моей матери!), отец же занимался домашним хозяйством, писал мемуары и возмущенные письма в редакции газет (всегда чем-то возмущался!), занимался спортом, катался на коньках, в любые морозы ходил без шапки — закаленный был человек! Иногда в порыве отчаянья мать посылала нас к нему: «Идите к папе, в конце концов! Просите у него!» Но папа, к которому мы скрепя сердце шли, отвечал, что он, увы, безработный. И это неудивительно! Мир кишит безработными: в Америке их столько-то тысяч. В Англии — столько-то и во Франции — столько-то. Дав справку о числе безработных в мире, отец читал нам нотации. Мы обе в мать. Так же небрежны и расточительны, как она. Обувь и платья горят на нас, потому что мы не умеем заботиться о своей одежде. И тому подобное.

Вот запись из материнского дневника от 18 мая 1933 года:

«Господи, как скучна эта благородная нищета! Вчера с утра пошла выручать Гулю. Редакция, где я надеялась получить четыре рубля, меня подвела! В результате бедная конторщица, у которой у самой дочь, дала мне рубль на спасение Гулиной юбки. Сегодня бедный, обрадованный Гуль пошел в школу. Как мало человечку надо! А сейчас был управляющий с ультимативным письмом Ягунова. Я сказала, что завтра найду деньги. Завтра рождение Таты, а вместо того чтобы порадовать чем-то девочку, пойду продавать мамино кольцо. Как все это скучно до боли, до слез... Пыльный ветер, палящее солнце, головная боль...»

Долги. Унижения. Вечная нехватка денег на самое необходимое. Тем не менее мать, в расчете неизвестно на что, снимала в доме Ягунова вторую комнату. Сначала-то мы жили в одной, но затем двумя этажами ниже освободилась комна-

та — и мать внезапно ее сняла. Для себя лично. Мы с сестрой ужаснулись. Понять не могли, зачем нужен этот добавочный расход, этот новый долг, ибо было ясно: платить за вторую комнату нечем. Ведь и за первую— нечем!

Мы не понимали. И все вокруг тоже не понимали. Дом был набит людьми, соседи слышали, как в нашу дверь стучали молочники, товарники, зеленщики и громко ругали нас. На какие же средства? Зачем? Поступок моей матери всем казался странным. Она это чувствовала. Она писала:

«Кумушки насторожились. Они изо всех сил стараются разгадать тайну комнаты № 43. Идут разговоры, что я поссорилась с дочерьми, поэтому и перешла вниз. Чепуха какая! Всегда боюсь набросить тень на моих сумбурных, подчас грубых, подчас надоедливых, но все же таких милых и au fond des fonds [1] несчастных девочек!»

Зачем же нужна была матери вторая комната?

«Какое блаженство быть одной, сесть вечером за стол, писать, думать! Ужасно люблю возвращаться вечером в свою комнату, чувствовать свободу от мужа, от кухарки, которая влезала в мою жизнь, от детей, которые распоряжались моим досугом... Но страшно, что я зарываюсь в своих финансовых расчетах... С одной стороны, нужно одиночество для работы, а с другой — выдержит ли карман этот расход?»

Нам-то с сестрой было ясно, что карман не выдержит. И не было дня, чтобы мы не просили мать отказаться от второй комнаты. Мать и слышать об этом не хотела. Нам комната № 43 представлялась не роскошью даже, а безумием. Ей — необходимостью.

Она работала как вьючная лошадь, а денег все равно не было из-за ее непрактичности, редкой бесхозяйственности, неумения жить. Вечные нехватки и долги унижали. А кроме того, незадолго до этого мать рассталась с человеком, из-за которого произошла та ночная сцена, когда отец меня разбудил... Не мать бросила этого человека, он ее оставил. И она

---

[1] В сущности *(фр.)*.

чувствовала себя оскорбленной. Нам с сестрой по крайней нашей молодости и эгоизму тогда в голову не могло прийти, чем была для матери комната № 43.

«...Только что вернулась из ресторана, где чествовали нашего директора Ориентального института. Два часа ночи. Встала в шесть утра. Завтра в 7.30 первый урок. Надо спать. Но, попав в свою милую комнату, я захотела заглянуть в эту тетрадь. Из ресторана меня все тянуло домой именно из-за комнаты. Как я люблю ее! Пришла сейчас, и такое спокойствие меня охватило!»

И она записывает в тетрадь свои мысли об одиночестве и вспомнившиеся ей изречения на эту тему Метерлинка и поэта-философа Гюйо. Изречения написаны по-французски. Мать, так же, как и ее мать, моя бабушка, с одинаковой легкостью писала на трех языках; в материнском дневнике и в письмах бабушки среди русского текста то и дело встречаются фразы, а иногда целые абзацы на французском и английском...

«Я изменила своей привычке бывать всюду и везде. Сижу вечерами дома. Кто знает, быть может, последний месяц я пользуюсь своей комнатой. Много читаю. Кончила книгу Цейтлина «Декабристы» и записки Кизеветтера «На рубеже двух столетий»... Прочла книгу об истории сионизма Бема и книгу Пабста «Евреи».

(Шел тридцать третий год, газеты писали о расправе гитлеровцев с евреями, вот, видимо, почему в то время мать интересовалась «еврейским вопросом».)

«Интересны очерки о русских интеллигентах и военных, зарабатывающих себе на жизнь в Европе тяжелым трудом шоферов и рабочих... Прочла Слонима об Есенине, Маяковском, Эренбурге, Толстом... С итнересом познакомилась с тонким докладом Ковьо о поэтах Франции».

А вот запись от 24 мая 33-го года:

«Сегодня дети голодные: им не дали обеда. Институт окончательно объявил неплатеж за май. Только бы не устать, только бы не впасть в отчаяние!»

27 мая. «Прочла Моруа «Cercle de famille», глупо переведенный по-русски «Круг измен». Влюблена в эту комнату, которая дает возможность уединения. Слышится благовест Софийского храма. Видны крыши домов, купола церквей, яркая майская зелень. А наверху мои бедные обиженные девочки, у которых нет самого необходимого! Вчера Наталиша получила десять рублей за урок, очень им порадовалась и заявила, что не будет покупать себе туфли, а отдаст эти деньги за обеды. Рано бедняжка начала бегать по урокам! Как бы хотелось расцветить ей жизнь!»

Следующая запись начинается так:

«Утро вечера мудренее. Не будем думать о денежных кошмарах. Вспомним прошлое...»

И идут страницы воспоминаний. Петербург. Поездка в Италию. Самайкино. Дача в Финляндии. М. Л. Лозинский...

«...Лозинский — это Рождество в Финляндии, это усыпанные снегом полянки, это наша милая дачка, чтение книги Ауслендера «Роза подо льдом», елка с подарками, первое радостное, большое чувство... Эта молчаливая любовь, которая была поначалу «светла, как зима» и из-за которой я так опрометчиво вышла замуж: жизнь все равно пропала, пусть хоть кто-нибудь будет счастлив!»

В этой своей записи мать приводит стихи Лозинского, ей посвященные, начинающиеся так: «Панна Катажина, я сойду с ума, ждал ли я такого милого письма?» А я уже знала эти стихи, до чтения материнских дневников знала! В конце пятидесятых годов Анна Андреевна Ахматова протянула мне бумажку, исписанную незнакомым почерком: «Не вашей ли маме это было посвящено?» Добавила, что однажды Лозинский читал ей, Ахматовой, эти стихи, сказав: «Написал одной барышне». Не знаю, почему у Анны Андреевны оказался черновик этого стихотворения. Она отдала его мне, а я отнесла матери. Ничего не объясняя, просто сказала: «Взгляни-ка!» И помню выражение изумления, почти испуга, появившееся на мамином старом лице, когда она увидала эту бумажку, этот почерк, эти стихи... Молча прочитала, подняла на меня

глаза, явно сделав над собой усилие, чтобы голос звучал спокойно: «Откуда это у тебя?» Я сказала — откуда.

«Милый повеса, талантливый юноша, первая настоящая любовь моей петербургской юности»,— так пишет мать о Михаиле Леонидовиче в своих более поздних дневниках. Известно ли ему было об этой любви? Что там произошло между ними? Не знаю и не узнаю никогда. Никого больше нет, ни его, ни жены его, Татьяны Борисовны, ни моей матери.

Он женился, а мать вышла замуж за моего отца, своего ровесника и дальнего родственника, который уже несколько лет добивался ее руки. Вышла par dépit[1], как говаривали в старину. Решилась на это, однако, не сразу. По дневниковым ее записям вижу: очень колебалась. И не был он ко двору в маминой семье Воейковых, сплошь состоявшей из ученых. Но все-таки: вышла. Поселилась с ним под Новгородом, и были там минуты, когда ей казалось, что она любит его,— опять сужу по дневникам...

Итак, в комнате № 43 мать вспоминала, читала, размышляла и записывала свои мысли то о символистах, то еще о каких-то литературных течениях. После целого дня беготни по редакциям и урокам, после ломбарда, где мать постоянно что-то закладывала, и иных отчаянных попыток достать рубль на обед — ее ждала комната № 43, заветная дневниковая тетрадь, вид из окна, уединение... Здесь мать забывала о своем нищенстве, становилась, как она писала, «сама собой». Эта комната была единственным местом, где мать могла уважать и любить себя за то, что она на голову, на много голов выше по развитию, по образованию всех тех, кто унижал ее в течение дня: управляющего домом Ягунова, и газетного бухгалтера, и оценщика в ломбарде, и любопытствующих соседей... Эта комната была островком среди моря невзгод, единственным местом, где мать ощущала почву под ногами.

Казалось бы: какая тут почва? За обе комнаты не плачено, за обеды — тоже, долги растут, кредиторы ежедневно

---

[1] С досады *(фр.)*.

наседают... Мы с сестрой осуждали мать и были по-своему правы. Когда в долг берется что-то необходимое — хлеб, молоко, обувь, это понять можно. Но снимать в долг лишнюю комнату! Но покупать в долг дорогой иллюстрированный журнал «Перезвоны»?

(Журнал этот издавался в Риге, был, кажется, ежемесячным, и каждый номер посвящался какому-нибудь художнику. Но был также номер, посвященный Эрмитажу, номер, посвященный Русскому музею и Третьяковской галерее... Репродукции этого журнала познакомили меня с Серовым, Суриковым, Нестеровым, Врубелем. В этом журнале я впервые прочитала рассказы Бунина, Шмелева, Ремизова и стихи Марины Цветаевой. Я с благодарностью вспоминаю журнал «Перезвоны», но заодно помню, как приходил и требовал денег посыльный из книжного магазина.)

Мы с сестрой полагали, что драгоценный иллюстрированный журнал в нашей нищенской жизни — почти неприличен. Это же касалось и лишней комнаты. Разве нельзя обойтись без журнала, без комнаты? Разве это предметы первой необходимости?

Но мы не понимали тогда, что у нас и у матери были разные взгляды на то, что считать первой необходимостью. Мы-то не помнили, не знали иной жизни, кроме эмигрантской. Мать сложилась и выросла в условиях совершенно других. И знала то, чего мы знать не могли: человеку, развившему свой интеллект, легче переносить невзгоды, ибо обеспечен тыл, куда можно уйти. Жизнь не удалась, рухнуло то и рухнуло это, но остаются книги, музыка, живопись, и тот, кто способен этим наслаждаться,— выстоит, не пропадет. «Пока есть книги, жизнь еще хороша!» — писала мать в дневнике. Этот тыл она стремилась обеспечить и дочерям. Сунула меня в Ориентальный институт именно для «общего развития».

А как я роптала на мать, очутившись в Шанхае! Четыре года потеряны в институте — да я бы за это время столько полезного могла выучить! Какое право имела я убивать годы на никому не нужное «высшее образование»? Мама во всем

виновата, мама с ее непрактичностью, с ее полным непониманием требований жизни! Мама с ее вечным восклицанием: «Боже, до чего ты невежественна!» и с отчаянными попытками бороться с этим... В те годы, когда мы еще жили с отцом, мать уговорила старушку француженку, какими-то судьбами заброшенную в Харбин, ежедневно у нас обедать, а вместо платы учить меня и сестру французскому языку... Позже я училась музыке, а мама, взамен платы за мои уроки, занималась английским языком с дочерью преподавательницы.

И ничему-то я не доучилась! Француженка, походив год, ходить перестала, уж не помню почему... Музыку я бросила сама: слишком много времени она отнимала. И Ориентальный институт бросила, не окончив, когда догадалась, что все эти энциклопедии права и статистики мне совершенно ни к чему...

Попытки матери дать мне «общее развитие», включающее сюда непременные музыку и французский язык, представлялись мне, когда я жила в Шанхае, жалкими, даже — патетическими. Шанхай учил трезвости. В середине тридцатых годов получить там работу русскому эмигранту было очень трудно (город был наводнен эмигрантами, бежавшими из Харбина, от японцев), и все же люди, знающие ремесло, могли на что-то рассчитывать. А на что могла рассчитывать я? В иностранную фирму мне и сунуться было невозможно, я не знала ни стенографии, ни коммерческой корреспонденции, умела лишь на английской машинке печатать, но машинисток и без меня было предостаточно. Как я мечтала о службе в те годы, о своем столе за каким-нибудь из окон огромных зданий в деловой части города, о твердом жалованье... Я мечтала о прочности, а прочности не было, да и быть не могло: я ж ничего толком не умела! Со своим неоконченным высшим образованием, со своим недополученным «общим развитием» я бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для одного журнала, деньги за подписку для другого. Меня, как волка, кормили ноги, но кормили плохо, оплата была сдельная, и, заработав доллар сегодня, я никогда не знала, заработаю ли я его завтра...

И именпо там, в Шанхае, мне вспомнилась однажды ночь, когда я, проснувшись, увидела бабушку у окна нашей харбинской квартиры... Нет! Не потому она от нас уехала, что в нашей тесной квартире у нее не было своего угла! Она хотела быть дома, среди своих, среди соотечественников, не иметь отдельной от них судьбы, не быть как мы, убежавшие, уехавшие, от всего оторванные, никуда не принадлежащие... Будь я тогда знакома с бабушкиными письмами — они мою догадку подтвердили бы... Она писала:

«Надо ехать назад, милая Катя, эти скитания безнадежны, бессмысленны. Мне важно не чувствовать себя отмирающей веткой полусгнившего дерева, хочется думать, что мои ростки еще принесут свои плоды не на чужбине, на родной почве. Горько думать, что ты за границей, когда пам здесь так пе хватает образованных людей!

...Как бы я хотела обнять тебя и девочек, пока мои старые глаза еще видят, если бы, если б ты смогла поселиться около нас! Голод и все жизненные трудности не так страшны, когда есть нравственное удовлетворение».

Ей были хорошо известны все тяготы тогдашней, ее окружавшей действительности, а она — звала мою мать обратно!

По-видимому, изгнание казалось бабушке Ольге Александровне худшим из бедствий...

Но должны были пройти еще годы, годы, годы, пока эти строки бабушкиных писем попались мне на глаза...

·

Вернемся, однако, в Харбин, в год тридцать третий, в комнату № 43, так безрассудно снятую моей матерью... Наслаждалась она этой комнатой месяца, кажется, три, и настал час, который должен был настать.

«Моя карта бита. Завтра перехожу наверх к девочкам. Я много теряла на своем веку. Потеряла родное Самайкино, финляндскую милую дачку, всю обстановку квартиры с любимыми книгами и картинами. Потеряла мужа, наконец. Потеряла человека, которому долго верила и который этого до-

верия не заслуживал. Я ко всему привыкла. Почему же теперь расставание с этой просторной и светлой комнатой мне кажется верхом несчастий?»

С этого дня и до моего отъезда в Шанхай мы так и жили втроем в одной комнате. Мать спала па диване, я на сундуке, с приставленной к нему табуреткой, сестра — на раскладушке. Из дома Ягунова нас скоро выгнали за неплатеж, мы переехали в другой дом, затем в третий... Неизменными оставались лишь диван, сундук, раскладушка.

Мать лишилась прекрасных часов уединения. Но не сдалась. И читать вечерами продолжала, и дневник урывками вела...

«Читаю А. П. Керн «Воспоминания... Письма»... Одиннадцать часов, девочки хотят спать, надо гасить свет, а мне хочется выписать цитату из Керн...»

Цитата выписана. Выписана по-французски: видимо, на этом языке мать читала воспоминания Керн. А говорится в этой цитате о высоких страданиях сердца, мимо которых проходят, не догадываясь о них, самые иногда лучшие люди, как если бы они топтали цветы, не замечая этого. Мать добавляет от себя, что мысль эта перекликается со стихотворением Вл. Соловьева, и приводит стихи на память...

Керн. Соловьев. Цитаты, цветы, стихи. Продавленные пружины старого дивана, ветхие простыни, обшарпанный буфет, возимый нами с квартиры на квартиру, и мы с сестрой — длинноногие, длиннорукие, бог знает во что одетые и часто между собой ссорящиеся... Издерганные чуть не ежедневными визитами кредиторов, недоедающие, умирающие от желания быть одетыми не хуже своих подруг, но знающие, что желание это неосуществимо,— мы, видимо, вымещали свои обиды друг на друге... Мы мало виделись (я стремилась поменьше бывать дома), встречались лишь вечером, перед сном, и, встретясь, неизменно ругались. Мы спорили о том, чья очередь мыть посуду и убирать комнату, о том, кто завтра должен первый встать, чтобы вскипятить чайник, и тому подобное. Случалось, что споры наши переходили в драку.

Помню, как меня пригласил в кино один приятный молодой человек, и я, будучи дома одна, тщательно готовилась к свиданию: штопала, чистила, гладила, вертелась перед зеркалом, с тоской глядя на жалкое пальтишко, на дешевые чулки, на сношенные туфли, и вдруг вспомнила о клетчатом, шотландском, шерстяном дивной красы шарфике, подаренном моей сестре ее подругой. Мне показалось, что шарфик меня спасет, и я извлекла его из комодного ящика сестры, где все было уложено с ей свойственной маниакальной аккуратностью. Украсившись шарфиком, я собралась было покинуть помещение, как на пороге выросла откуда-то не вовремя вернувшаяся Гуля. С бьющимся сердцем, стараясь улыбаться ласково и приветливо, я сделала попытку проскользнуть в дверь, удрать, но сестра дверь загородила, страшными глазами уставясь на яркие клетки шарфика. Крикнула: «Как ты смела? Без спросу?» — «Пожалуйста,— заискивающе сказала я.— Только на этот вечер!» — «Сейчас же сними!» Тут она попыталась сдернуть шарфик с моей шеи, и я не далась, она кинулась на меня, я стала защищаться. И мы, уже плача, били друг друга, и, полагаю, что на свидание с приятным молодым человеком я так и не попала.

И еще одна драка запомнилась. Я поздно вернулась домой, но мать не спала, читала в постели, держа книгу у близоруких глаз, загородив лампу газетой. А Гуля спала. По не на своей раскладушке, а — о ужас, о предательство! — на моем сундуке! Бывали уже эти разговоры: «Почему я должна каждый вечер расставлять походную кровать? Давай по очереди!» — «Вот еще! Ты — младшая!» А теперь она явочным порядком заняла мой сундук, но я этого не потерплю. «Мама! Почему она спит на моем месте?» — «Не знаю. Ложись. Поздно».— «Куда? Я не лягу на походную кровать!» — «Ложись, куда хочешь, только оставь меня в покое!» Мать читала.

Я разбудила бедную Гулю варварским способом: сдернула ее с сундука. Совершенно не помню, чем это кончилось, кто из нас спал в ту ночь на вожделенном сундуке. Помню лишь, как грохотала, упав на пол, приставленная табуретка,

как мы колотили друг друга, что-то сердито выкрикивая... Время от времени, не поднимая головы от книги, мать произносила рассеянно: «Прекратите немедленно».

Что она читала в ту ночь? Воспоминания Керн, чьи-нибудь стихи, какую-нибудь «тонкую статью» или просто французский роман? Неважно. Важно, что она МОГЛА читать в этой обстановке. И я до сегодня не знаю: сила это была ее или слабость.

Сестра и я были (и остались) вспыльчивыми, раздражительными, бурными в гневе, но отходчивыми. Мать голоса никогда не повышала. Сердясь, она бледнела и говорила тише обычного. Выходила из себя чрезвычайно редко, и в те годы я не видела ее плачущей. Она гордилась своей выдержкой, умением владеть собой, считая, что это дано ей породой и воспитанием. Любила рассказывать, как ее мать, моя бабушка, давным-давно сказала своим дочерям, когда они себя повели как-то не так: «Vous vous conduisez comme des petites femmes de chambre». «И я,— говорила мать,— эти слова запомнила на всю жизнь!» Я же совершенно не понимала, что в этих словах такого запоминающегося? Если бы нам с Гулей во время нашей очередной ссоры сказали: «Вы ведете себя как горничные!» — мы бы и ухом не повели, не то что запомнить на всю жизнь.

Зато на всю жизнь мне запомнилось, как мать однажды вышла из себя. Случилось это из-за коричневой вязаной кофточки с красными в виде шариков пуговицами. Стоила она десять «гоби» — мы уже жили на валюту «Маньчжоу-Го». Я давно любовалась этой кофточкой, выставленной в витрине магазина, страстно о ней мечтала и наконец не вытерпела. Получила пятнадцать «гоби» за урок и, вместо того чтобы отдать эти деньги матери (надо было заткнуть какую-то очередную дыру), вошла в магазин и, понимая, что совершаю безумие, ощущая себя растратчицей, преступницей, купила кофточку. Вечером отдала матери пять «гоби». «А остальные?» Вместо ответа я показала кофточку и какие-то слова начала бормотать в свое оправдание, но осеклась... Лицо ма-

тери окаменело, глаза сузились — это доброго не предвещало. Но уж того, что последовало, ожидать я никак не могла! «Вот как,— очень тихо произнесла мать,— вот как...» И внезапно, схватив со стола первое, что подвернулось под руку (подвернулся будильник), ударила меня им по плечу... Несколько раз она ударила меня будильником (я же, остолбенев, даже не отклонилась!), повторяя: «Кругом в долгах, а она — кофточку! Я одна разрываюсь, ваш отец знать ничего не желает, а она — кофточку!» Потом, бросив будильник, который вдруг затрезвонил на полу, заплакала. Ее слезы (я их прежде не видела!), идиотский звон будильника (я подобрала его, но не могла сообразить, как заставить умолкнуть) — разрывали мне сердце. Я тоже плакала от обиды, от жалости к себе, от жалости к матери... Впрочем, не уверена, что в тот момент я жалела ее. Это, вероятно, потом, позже я ее жалела, потому что по сей день вижу, как она своей тонкой, слабой рукой беспомощно колотила меня будильником...

Рассказ об этом эпизоде хотелось бы кончить тем, что мы упали в объятия друг друга, смешали свои слезы, и мать простила мне кофточку, а я ей — будильник. Объятий не было. Объяснений тоже. Проявления чувств не были в характере моей матери. Пуще огня она боялась разговоров по душам — это казалось ей сентиментальностью. Она была нормальной матерью в том смысле, что любила своих детей больше всего на свете, однако чувств своих нам не показывала, и если говорила что-то ласковое, то с оттенком насмешки, будто иронизируя над тем, кто такие слова мог произносить всерьез.

Я же была и чувствительна, и эмоциональна, но отклоняющая рука матери сделала то, что я никогда не была с ней откровенна, всегда искала на стороне тех, кому могла излить душу.

Эпизод, вероятно, кончился тем, что мать, сердясь на меня уже не за кофточку, а за то, что я оказалась свидетелем ее взрыва, ее слабости, избегала на меня глядеть, была неразговорчива, холодна. И мы обе делали вид, что ничего не произошло.

* * *

В двадцатые годы еще хранилась инерция прежней жизни. Была квартира, скромная, но как-никак трехкомнатная, с ванной, окна выходили в палисадник, и палисадник считался нашим. В квартире этой часто собирались литераторы, заброшенные эмигрантской волной в Харбин: Арсений Несмелов, Леонид Ещин, Всеволод Н. Иванов, Борис Бета... И Сергей Алымов там промелькнул, и Петров-Скиталец... Они ужинали, пили водку, читали стихи — свои и чужие. В те годы квартира моих родителей была центром харбинской литературной жизни: все пишущее, все одаренное непременно проходило через этот дом. А моя мать никакими талантами не обладала. Одаренным человеком был скорее отец: он писал недурные рассказы, недурно рисовал, мог спеть и, кроме того, был веселым собутыльником, остряком и анекдотчиком. Видимо, притягательная сила квартиры объяснялась тем, что литературу мать любила, понимала, был у нее тонкий вкус и чувство слова. Она была молода, образованна, привлекательна. Среднего роста, кареглазая, темноволосая, тонкокостная, очень стройная — моя мать с ее вздернутым носом и неправильными чертами лица красивой не была. Привлекали в ней ее женственность, мягкая ирония, тихий голос, сдержанность, умение казаться хорошо одетой в перелицованных пальто и перешитых платьях.

В первые годы нашей харбинской жизни была еще жива няня Прасковья Андреевна Матвеева, уроженка Новгородской губернии, взятая в дом незадолго до моего появления на свет. Летом 1919 года в Омске я болела дифтеритом, мать сидела около меня, а няня с крошечной Гулей на руках, обливаясь слезами, обегала все аптеки города и чистым чудом достала сыворотку. Няня, впрочем, позже уверяла, что не сыворотка спасла меня, а образок Пантелеймона Целителя, который она тогда повесила мне на шею, и я долго его носила, где-то он теперь? Когда нас везли из Омска в сыпнотифозном вагоне, у няни, боявшейся заразиться, внезапно поднялась температу-

ра (бывает, говорят, нервный сыпной тиф), но, к счастью, заболел живот у Гули, и няня, в заботах о ней, забыла о себе... Она умерла от воспаления легких в темные декабрьские дни 1921 года... «Как мне жаль няню Пашу! — писала из Москвы моя бабушка в феврале 1922 года.— Как бы хотелось увидеть ее, как бы хотелось знать, что она отдохнула душой на родной стороне! Завтра помяну бедную Прасковью, умевшую любить до конца, завершившую своей смертью преданность своим питомицам. Сегодня у всенощной мне все вспоминалась она, с ее суетой, благочестием и такой теплой душой, да будет ей легка чужая, далекая земля! Горячо молилась сегодня за вас, за наше будущее свидание, за спасение страждущей державы Российской — так молится сейчас наша церковь. Я хожу в церковь Старого Пимена, что на Воротниках. Поют чудно, на манер Архангельских хоров, аккордами. Так хорошо постоять в церкви, под звуки знакомых песнопений, подумать обо всем былом, обо всех отсутствующих и о стольких отошедших. Сколько же, Господи, утрат за эти годы!»

Няня умерла, но налаженный ею уклад прежней русской жизни еще какое-то время по инерции продолжался. В Екатеринин день приглашался священник, служил на дому молебен и вместе с дьяконом оставался на пирог. Гости шли с полудня до вечера. В передней не хватало места для верхней одежды, ее сваливали на кровати в детской, где тихо сидели мы с Гулей,— за стол с гостями нас не допускали. Отец своим командирским баритоном вызывал нас здороваться с новоприбывшими и прощаться с уходящими. Нам говорили: «Как выросли!», «Вылитый папа!» или «Вылитая мама!» После чего отец командовал: «Марш в детскую!» Все это повторялось в первый день Пасхи, но без отца: он сам делал в этот день визиты и возвращался сильно навеселе. У стола, уставленного куличами, пасхами (сырыми и вареными), крашеными яйцами, разноцветными, окружавшими окорок, бутылками — мать принимала визитеров. На Рождество была елка. В Великий пост — постились и говели. После смерти няни у нас были часто сменяющиеся кухарки. С каждым годом жить

становилось труднее, но от молебнов на дому, пирогов, пасхальных столов, гостей, а также литераторов, закусывающих, выпивающих и стихи читающих, мать не могла отказаться долго. Эта жизнь надломилась в конце двадцатых годов, после ухода отца. Казалось, что наш дом держится на матери. Но когда ушел отец, выяснилось: и на нем держался дом. Он был куда хозяйственнее, куда аккуратнее матери, и долгов при нем не было. Начались переезды, причем каждая следующая квартира была хуже предыдущей.

Запись из дневника матери от сентября 1932 года:

«Захотелось вдруг подвести какие-то итоги. Почему мы с девочками очутились здесь, на окраине города, в деревянном домике без всяких удобств? Предыдущая наша квартира из трех крошечных комнат стоила 35 йен, а йена котировалась больше трех долларов. Вот и приходилось мне целый день летать по городу. В 7.30 утра я выходила из дому, мчалась к Лю Цзе-жунь, получая там за урок с детьми 40 д., что было в прошлую зиму не более 12—15 йен. Проводила я там полтора часа и много времени теряла на поездку, ожидая трамвая и промерзая на холодном ветру. Три раза в неделю летала на Пристань [1] на урок к Б., давала также уроки в Коммерческом училище. Мчалась домой, наскоро обедала, затем давала еще два урока на дому учеников, после чего — лекции в Ориентальном институте. Были и еще уроки втиснуты. Минуты свободной не оставалось. Если удавалось достать в газетах переводы — делала их ночью. А денег все равно не хватало...»

Бегала весь день, ела на ходу, иногда, не поспевая домой, и вообще весь день не ела, мерзла на трамвайных остановках, работала ночами и при своем слабом сердце все это выдерживала, я не помню, чтобы она хворала в Харбине. Иногда мне кажется, что она удерживалась от болезней силой воли, твердила себе, что не имеет права болеть, если она свалится — мы погибнем.

---

[1] Пристань — деловая часть Харбина.

Осенью 1919 года в Омске, когда отца с нами не было, он где-то воевал, маму свалил сыпной тиф. Вот что она сама пишет об этом:

«Моя подруга по Таганцевской гимназии Лёля Д., старшая сестра госпиталя Американского Красного Креста, рассказывала мне о зрелище, которое она застала, приехав ко мне домой. Электричества почему-то не было, горела свеча. Я лежала на кровати, а в ногах у меня сидели обе маленькие девочки. Передо мной на одеяле были рассыпаны часы, кольца, медальоны,— видимо, я хотела передать их няне, понимая, что мне плохо. Леля измерила температуру. Оказалось: сорок один и две. Прибежала из аптеки няня. «Не надо, нянечка,— сказала Леля,— мы вашу маму в госпиталь возьмем». Смутно помню спешные сборы, прощание с детьми, страшные, неуемные крики Таточки: «Маму, маму мою увозят!» Эти крики слышались мне еще долго, когда автомобиль увозил меня далеко за город. Эти крики спасли мне жизнь. Леля рассказывала, что, когда на другой день у меня появилась сыпь и я поняла опасность, я днем и ночью кричала в истошный голос: «Я не могу умереть, у меня дети! Я не могу умереть!» И не умерла. Няня осталась одна с девочками. К ним приезжал американец Мак Найт, жестами показывал няне рост разных людей, повторяя: «Миссис Ильин, няня, Тата, Гуля — олл [1] Чита!» И так нас увезли на восток, меня в полузабытьи до наступления кризиса. Дети и няня были в том же вагоне, что больные».

...Спрашивая себя в дневнике, каким образом мы докатились до домика на окраине без удобств, мать сознается:

«Жила я, конечно, безумно. Не имела права ни на дорогую квартиру, ни на кухарку за 25 долларов. А главное, давно следовало расстаться с портнихой Ольгой Васильевной. Она, ее муж и дочь привыкли кормиться за мой счет и воровали. Я уволила кухарку, готовить нам стала Тамара, дочь Ольги Васильевны, а денег все равно не хватало!»

---

[1] Все *(англ.)*.

Мать любила покровительствовать. Ей нравились те, кто без возражений принимали ее превосходство, стояли как бы на другой ступеньке, на ступеньке пониже... Эта черта матери и сделала возможным появление в вашем доме портнихи Ольги Васильевны, которая присосалась к нам на долгие годы. Худа она была чрезмерно, будто сжигаемая внутренним огнем, с дурными зубами и глубоко посаженными черными глазками. Ольга Васильевна у нас не жила, но появлялась ежедневно, играя при матери роль как бы камеристки... Она и шила на швейной машине покойной няни, и завивала горячими щипцами, и сплетничала, и льстила. Завивая мою мать, Ольга Васильевна восхищалась густотой ее волос, примеряя блузки — хвалила фигуру, и непременно при этом вспоминалась какая-нибудь мамина знакомая, у которой и волосы дурны, и фигура никуда не годится. Мать слушала Ольгу Васильевну благосклонно и останавливала ее, лишь когда та уж совершенно распоясывалась, теряя всякое чувство меры и в лести, и в сплетнях. Пока отец жил с нами, Ольга Васильевна не позволяла себе ругать его открыто, лишь мимикой, улыбочками, намеками, отдельными словечками, будто вырвавшимися против ее воли, давала понять, что глубоко осуждает Иосифа Сергеевича, не умеющего ценить сокровище, которое судьба дала ему в жены. А когда отец ушел, Ольга Васильевна в каждое свое появление ругала его и его новую жену, всегда принося с собой какие-нибудь свежие, их порочащие сведения... Нам с сестрой слышать это было мучительно, но вмешаться мы не могли, говорили не с нами, мы даже не присутствовали, разговор шел в соседней комнате, обращались к нашей матери, а она Ольгу Васильевну не останавливала, это-то, вероятно, и было нам мучительно.

Когда мы переезжали в ту маленькую квартирку, стоившую 35 йен в месяц, то всеми хлопотами по переезду заведовала Ольга Васильевна. В то время была у нас кухарка, но скоро Ольга Васильевна кухарку выжила, убедив мою мать, что будет дешевле, если стряпать нам будет Та-

мара. Постоянное присутствие дочери Ольги Васильевны в доме говорило о том, что власти над нашей семьей Ольга Васильевна делить уже ни с кем не намерена. Был у нее и муж, рыжий пьяница по фамилии Трушков, неясно чем занимавшийся. Деньги на хозяйство выдавались Ольге Васильевне, счетов мать не проверяла, ведь Ольга Васильевна — свой человек! Этот «свой человек» вскоре убедился, что дела наши идут все хуже и просвета не видно, только предлога ждал, чтобы сбежать с тонущего корабля.

Предлог представился. Мать, уходившая с утра, вернулась как-то домой раньше обычного и застала на кухне всю семью Трушковых. Они обедали, и перед главой семьи стояла бутылка, купленная явно не на его счет. Вероятно, мать по этому поводу что-то сказала, и разразился скандал. Мы с Гулей обмерли, услыхав громкий, нагло-издевательский голос нашей кроткой, услужливой, льстивой Ольги Васильевны: «Барыня! Подумаешь!» Голоса матери слышно не было. По-видимому, она произнесла что-то вроде: «Немедленно вон!» Затем вошла в свою комнату и затворила дверь. Из кухни же доносились крики Трушковых. Пошумев какое-то время, они покинули нас навсегда, захватив с собою ряд вещей, им не принадлежавших.

А мы с Гулей струсили. Перед собой и друг другом делали вид, что читаем, нам было стыдно, что мы слышали, как оскорбляют нашу мать. И нас поразило, что Ольга Васильевна, вечно ругавшая нашего отца, на этот раз кричала другое: «Ушел? И хорошо сделал! От такой жены уйдешь!» Не только Ольга Васильевна, но и муж ее, и дочь были всегда смирными, услужливыми, и перемена, в них происшедшая, пронзила нас до оцепенения... Тот день врезался в память, видимо, потому, что впервые я увидела вблизи распоясавшегося хама.

Подводя итоги, стараясь понять, почему, несмотря на ее адскую работу, «денег всегда не хватало», мать в той дневниковой записи справедливо указывала на семью Трушковых как на одну из причин... В той же записи — читаю:

«Всю неделю мечтаешь об отдыхе, о том, чтобы никуда не бежать, на часы не смотреть, и вот наступает долгожданное воскресенье. И лучше бы не наступало. Боюсь воскресений. Девочки скоро уйдут от меня. Одиночество, которое уже сейчас начинает угнетать, со временем будет еще тяжелее. Красота жизни, искусство, умные люди, интересные беседы — все ушло. Впереди борьба за кусок хлеба, старость, болезни, одиночество. Ибо после всех странствий, после всех бурь житейских, к сорока пяти годам я пришла к блестящему фиаско: я одна, одна, одна!»

Года за два до этой дневниковой записи мать рассталась с человеком, которого, быть может, любила. Я едва его знала. Мне было тринадцать лет, когда я увидела его впервые. Откуда-то вернувшись, застала у нас незнакомца, мать поила его чаем, отца дома не было, он служил тогда в Чаньчуне... Мне не понравилось, как мать смотрела на незнакомца, а он — на нее, и что-то было виновато-заискивающее в их обращении со мной. Я отказалась от чая, ушла к себе, стала читать, читать не могла, все прислушивалась, о чем они там говорят, и мне не нравились интонации. А потом была та вышеописанная сцена, когда отец разбудил меня ночью, сказав, что мама хочет от нас уйти, и я рыдала и догадалась, что всему виной тот человек, которого я уже ненавидела... Больше он к нам в дом не приходил. Но однажды я встретила мать на улице с ним под руку, бросилась от них бежать, мать кинулась за мной, поймала, обняла, я вырывалась, отворачивалась, плакала... Происходило это где-то недалеко от нашего дома, были сумерки, шел снег. Мать повела меня домой, я не очень сопротивлялась, хотя твердила, что убегу, убегу, убегу, — интересно, куда я собиралась бежать? Очень жалела себя. Мать не жалела нисколько, пожалела ее лишь спустя много лет. В тот вечер я торжествовала, что ненавистный этот человек остался там один на улице, мама его бросила, ушла со мной, обеспокоена, уговаривает меня, утешает.

С той поры я этого человека больше не видела, но поче-

му-то знала, что мать продолжает с ним встречаться, а позже почему-то знала, что между ними все кончено. Как протекал их роман, что собою представлял этот человек, почему они расстались — все это я узнала лишь после смерти матери из ее дневников. А при ее жизни разговоров о нем у нас не было, даже на улице, когда я собиралась убегать, не было. Своих чувств я больше не показывала, делала вид, что ничего не знаю о личной жизни матери, а она делала вид, что этому верит. Позже я старалась скрыть от матери свои увлечения, свои романы. Так сложились наши отношения — никогда никаких откровенных разговоров.

Своими мыслями, чувствами, впечатлениями от прочитанных книг я делилась с кем угодно, только не с матерью. Я пыталась иногда начинать беседы на отвлеченные темы, но быстро замолкала — в глазах матери мне чудились ирония, снисходительность, меня не принимали всерьез! Она тщеславилась тем, что мне легко дается учение, даже хвасталась друзьям моими способностями и памятью, но эмоциональность моего нрава, экспансивность, несдержанность — шокировали ее и раздражали. Никогда не было между нами намека на душевную близость.

Мать иронизировала над окружающими, считала себя выше их, но их мнение было для нее важно чрезвычайно. Забота о декоруме, о стороне внешней не покидала ее всю жизнь. Восхищение окружавших было для нее важнее хлеба, она придумала себе роль мужественной женщины, не склоняющей головы под ударами судьбы, никогда не жалующейся, всегда немного насмешливой. При посторонних она иначе разговаривала со мной, чем наедине, называла меня «Натали» и «моя непочтительная дочь». Это сердило меня, я отказывалась участвовать в игре... Неумелая, непрактичная, она стремилась, однако, к влиятельным знакомствам, в наших жалких комнатах устраивались жалкие чаи для какого-нибудь англичанина с женой, или француза, или итальянца... Жалкость обстановки мать не смущала, напро-

тив: «A la guerre comme à la guerre [1]. И: «Полюбуйтесь, до чего доведены люди моего круга!» Именно благодаря какому-то доброму англичанину, пившему у нас чай, я получила работу в журнале — об этом расскажу позже. Знакомство же, которое мать завела с находившимся в Харбине проездом милейшим старым французом мсье Массне, изменило впоследствии всю жизнь моей сестры.

Я дважды разлучалась с матерью: два года жила без нее в Шанхае, семь лет в СССР. Находясь от нее вдалеке, я немедленно забывала все то, что осуждала в ней, мне помнились лишь ее закрывающиеся от усталости глаза и как скрипело по ночам ее перо. На расстоянии я ощущала ее любовь, беспокойство, тревогу, во мне постоянно жило желание утешить ее и поддержать, и письма мои бывали длинными и нежными. Я не грешна перед ней, пожалуй, только тем, что никогда не оставляла ее без вестей о себе. Ее письма тоже были нежнее и раскованнее, чем наши с ней беседы, хотя гораздо сдержаннее моих, и подписывалась она неизменно так: «Мать». Однако стоило нам встретиться, как отношения тут же попадали в прежнюю колею, и опять я чувствовала, что меня не принимают всерьез, и не хотела делиться с ней тем, чем в данный момент жила.

Я знаю, что в последний московский период жизни матери, ее, уже старую женщину, мучила моя с ней неоткровенность, моя от нее отдаленность. Присущий ей гонор никогда не позволял ей высказать это прямо. Она задавала мне вопросы, а в глазах настороженность, даже испуг: она предвидела, что отвечать ей будут коротко, ничего не расскажут подробно, ничем не поделятся. В глазах испуганная мольба, а тон легкий, светский, этим тоном спрашивают: «Как живете?», не интересуясь ответом. Я знала, что тон — маскировка, душа моя плакала от жалости, но все равно, тон меня раздражал, я ничего не могла с собой поделать, отвечала коротко, даже как-то вызывающе коротко...

---

[1] Французская пословица: «На войне как на войне».

Итак, из того домика на окраине мы поздней осенью 1932 года переехали в дом Ягунова. В то время мать имела работу, которая хоть и оплачивалась плохо, но зато отнимала мало времени. Мать числилась «ревизором всех библиотек на иностранных языках» (имелись, конечно, в виду русские библиотеки) в департаменте народного просвещения. Кажется, она получила эту работу благодаря влиятельному китайцу, члену Правления КВЖД, детей которого учила английскому (или французскому?) языку. Мать была счастлива, когда назначение было подписано: она на государственной службе. От радости не сразу спросила о размере жалованья, а спросив, обомлела: пятьдесят даяпов. На это и одному-то прожить было невозможно. Но вот маме объяснили, что китайские правительственные служащие все получают немыслимо маленькие зарплаты, однако — живут, и живут неплохо. Жалованье — это формальность, декорум. Все чиновники берут взятки... (Систему оплаты государственных служащих путем сдирания трех шкур с населения я наблюдала затем в гоминдановском Шанхае.)

Итак, почетная должность ревизора библиотек. Чести много, денег мало. Обязанности матери были таковы: она должна была читать новые книги и разрешать библиотекам эти книги выдавать. Без визы департамента народного просвещения (ДНП) выдавать книги читателям не разрешалось.

Кто-то перевел на русский язык скандально знаменитый роман Лоренса «Любовник леди Чаттерлей», и владельцы библиотек (все библиотеки, конечно, были частными) намекали, что готовы заплатить за визу. Виза была дана безвозмездно.

О волнении владельцев библиотек, об их намеках мать, смеясь, рассказывала как-то своей приятельнице, а я услыхала и вмешалась: «Вот и взяла бы с них деньги, если они так хотели тебе их дать!» — «Этого, моя милая, я не умею и никогда не сумею».

Она могла покупать в долг книги и многое другое, снимать в долг комнату, годами долги не платить (убеждена, что много долгов так и остались невыплаченными!) — это не про-

тиворечило ее понятиям о чести. А взятки этим понятиям противоречили.

Из своего ревизорского положения мать извлекала другие выгоды. Свою работу (чтение новых книг) она делала дома, в ДНП появлялась не чаще раза в неделю. Служа там, мать преподавала в Ориентальном институте, давала уроки, что-то переводила для газет, и ей казалось, что эти пятьдесят даянов, с приятной регулярностью капавшие каждый месяц, она получает даром, ей платят не за работу, а за приятное времяпрепровождение.

Но вот занявшие Маньчжурию японцы стали внедрять всюду (в том числе и в ДНП) своих людей, и летом 1933 года мать потеряла свою должность ревизора. Вместо этого хозяева города предложили матери место преподавательницы английского языка в Городской школе. Платили лишь немногим больше, существовать на жалованье было нельзя. А возможности подработать почти исчезли. В школе надо было бывать чуть ли не ежедневно. Мать приходила измученная (сорок — пятьдесят детей в классе!), что-то наспех ела и бежала дальше: в редакции, на частные уроки. А поздним вечером сидела над ученическими тетрадями.

Городская школа была бесплатная, в ней учились дети неимущих русских эмигрантов, подчинена школа была тому же департаменту народного просвещения. Учителя — эмигранты, директор — китаец. Но уже был назначен японский «советник», в актовом зале вскоре появился огромный, в человеческий рост, портрет «императора Маньчжоу-Го Пу И». Этому портрету учителя были обязаны во время ежеутренних церемоний отвешивать поясные поклоны.

У матери, несомненно, была педагогическая жилка, а это, прежде всего, отсутствие равнодушия к ученикам. Класс для нее состоял из маленьких людей с разными характерами, разными способностями, и я помню эти разговоры об удивительном Пете, все хватавшем на лету, и о бедной Лене, которая вряд ли овладеет когда-нибудь английским языком. И помню мальчиков и девочек, прибегавших в нашу комнату по каким-

то-девам к своей учительнице, и как мать поила их чаем, заодно обучая хорошим манерам: «Лена, не клади локти на стол!», «Петя, умей слушать, не перебивая!», «Маша! Вынь ложку из чашки!» — и все те слова, что говорились нам с сестрой в годы нашего детства и отрочества...

Она была близорука, носила лорнет на золотой цепочке с хризопразами, а затем, когда цепочка была продана, на бархатной ленточке. Но, став учительницей, мать поняла всю странность разглядывания учеников в лорнет и заменила его очками.

Давно уже не было ни молебнов, ни пирогов, ни гостей, а так, скромные чаепития в дни именин матери. И все поэты, посвящавшие ей стихи и поэмы, куда-то исчезли. И, наконец, рухнуло последнее, дававшее ей иллюзии того, что не все потеряно: комната № 43, уединенные часы интеллектуальных радостей, грошовая, но почетная работа ревизора... В то время мать со своим лорнетом еще появлялась на харбинских концертах и премьерах — благодаря связи с газетами у нее бывали контрамарки. Но вот лорнет сменили очки в роговой оправе, школа, шумные дети, поклоны портрету «императора», японский советник как главное начальство, острое ощущение эмигрантского бесправия, эмигрантской униженности. И не до концертов, не до театров. И даже — не до чтения. Горы ученических тетрадей, усталость, безнадежность.

Окончательно увязши в долгах, мы в начале лета 1934 года, со своим обшарпанным буфетом, диваном, сундуком, раскладушкой и гардеробом переселились из дома Ягунова в пустой класс Городской школы. Матери удалось убедить директора школы разрешить нам в течение трех летних месяцев жить в одном из классов. Временно исчезал главный расход — плата за комнату. Это должно было нам помочь хоть частично выплатить долги.

Мать так и провела все лето в этом неуютном бивуачном

помещении, а нам с Ольгой удалось ненадолго оттуда выбраться. Наша приятельница Женя Р. сняла в поселке Барим у русских железнодорожников домик, состоящий из комнаты и передней, и выписала нас с сестрой погостить. Домик был со всех сторон подперт шестами, вот-вот должен был развалиться, внутри почти никакой мебели, зато дешево сдавался, стоял на отшибе, до ближайшего жилья не меньше километра. Выйдешь наружу — справа и слева сопки, а прямо — узкая, быстрая горная речка, очень холодная, однако мы в нее каждое утро окунались, оглашая окрестности визгом. Дни стояли жаркие, но с заходом солнца резко холодало, ночью мы укрывались всем, чем могли, в окошко светила продрогшая голубая луна, и беспрерывно бормотала горная речка...

В конце августа того же года мы переехали на Конную улицу Пристани тоже в дом гостиничного типа, принадлежавший некоему Литваку.

Вечером я слушала ненужные лекции в Ориентальном институте, утром бегала по урокам. И вдруг — подвернулась служба.

В какой-то географический журнал, название которого не помню, потребовался переводчик с русского языка на английский. Эту работу предложили матери, но ей пришлось бы делать выбор между журналом и школой: присутственные часы и там и там — утром. Школа — дело верное, а журнал мог быстро прогореть. И матери пришло в голову устроить в журнал меня. Она, впрочем, прекрасно знала, что я не справлюсь с переводами на английский язык, а тем более в научном журнале.

Я бойко говорила на этом языке и читала романы, но грамматику знала плохо, лексикон мой был беден, я пугалась, когда кто-нибудь из учеников моих (а я нахально давала уроки английского!) спрашивал меня слово, значение которого мне не было известно. Следовало продолжать изучение языка, но на это не было ни времени, ни денег. Годы жизни в Шанхае мои скромные познания значительно расширили, я

заговорила еще бойчее, однако в грамматические тонкости так и не вникла, серьезно языка не изучала, в разговоре делала ошибки, и переводить с русского на английский и сегодня не взялась бы.

А тогда — взялась. Это, конечно, был акт отчаянья и с моей стороны, и со стороны матери. Что ж это был за журнал? Помню, что выходил он на четырех языках (китайский, японский, английский и русский) и статьи были посвящены почве, климату, природным богатствам Маньчжурии.

И вот в какой-то понедельник я отправилась на свою первую в жизни службу. Накануне был вечер волнений: сестру беспокоило, во что я буду одета, как буду выглядеть, мать — как я там буду справляться. Гуля что-то мне стирала и гладила, мать — наставляла. Инструкции были таковы: я буду переводить, как умею, затем приносить работу домой и ночью мама перевод мой исправит... В ту ночь я долго ворочалась на своем сундуке, мечтая о том, как я чудом удержусь на этой работе, буду ежемесячно получать твердое жалованье и мы сможем брать три обеда и покупать что-нибудь из одежды.

Странное дело! Я помню улицы Харбина, могу описать все квартиры и комнаты, в которых мы жили, дворы, в которых я играла, помню расположение комнат и обстановку в домах моих подруг, помню аудитории Ориентального института,—словом, помню все. А вот какова была редакция журнала, где я месяц мучилась,— не помню совершенно. Там, конечно, было несколько комнат, но из памяти выветрилась даже обстановка той, где я работала. В той же комнате сидели двое молодых русских: Галя и Алеша. Галя переводила с английского на русский — это было куда проще того, что предстояло мне, и я завидовала Гале. Алеша то ли был секретарем, то ли техническим сотрудником. Алеша-то и дал мне статью для перевода, и я похолодела, начав ее читать. В этой научной статье (климат? почва?) я и русские слова не все понимала, какой уж тут английский! Я взяла в руки

перо, но не смогла перевести даже первой фразы. Мне казалось, что Галя и Алеша не столько работают, сколько искоса следят за мной, и нужно изо всех сил скрывать от них, что я ничего не умею, что попала сюда по недоразумению. Мне казалось, что если я попрошу словарь, то сразу выдам свою беспомощность. Надо было создать хотя бы видимость работы, и я стала выписывать слова, которые потом, дома, найду в словаре, и располагать их в алфавитном порядке. Кто-нибудь, проходя мимо, мог увидеть, чем я занимаюсь, и я прикрывала ладонью то, что писала.

Когда я вернулась домой, после мучительных проведенных в редакции часов, матери дома не было. А ее-то мне и нужно было, не с Гулей же говорить! Она, конечно, пыталась меня расспрашивать, но я не удостаивала ее ответами. Вероятно, говорила обычное: «Отстань! Не приставай!» Бедная Гуля! Вчера она стирала и гладила, ее заботы и хлопоты были нужны, а сегодня с ней и говорить не желают! Бедная Гуля! Она жила надеждой, что в доме прибавится денег, но у старшей сестры что-то явно не ладится, быть может, ее уже выгнали, а объяснить толком ничего не хотят!

Вернулась наконец мать, и на нее я обрушиваю все пережитое за день. И всегда мне хочется сказать все сразу, сделать так, чтобы мать мгновенно поняла всю унизительность, всю невозможность моего пребывания в журнале... И я завтра туда не пойду... Алеша и Галя... И все надо мной смеются, и я ни одного слова, и не могу же я сразу просить словарь, и когда... и еще...

Меня попросили «не мчаться галопом», «прекратить ламентации», успокоиться и рассказать все по порядку. Затем меня назвали «идиоткой» за то, что я стеснялась попросить словарь, и добавили что-то еще неодобрительное...

После вечернего чая мы с мамой уселись переводить статью, а Гуля была отправлена спать на мой сундук. Мать диктовала усталым голосом, я — писала. Попадались слова, кото-

рые надо было искать в словаре, я искала, бормоча: «Видишь? И ты не знаешь!» Записав продиктованное, я ждала продолжения, его не следовало, мать, закрыв глаза, откинулась на стуле. Думает? Спит? Мама! Она вздрагивала: да, да. Где мы остановились?

Статья была переведена ценою нескольких мучительных ночей. Перевод никуда не годился. Я видела потом эти листочки на Алешином столе. Чуть не все перечеркнуто, чуть не над каждой строчкой написана другая рукой англичанина, редактировавшего английские переводы. Я обомлела от стыда, увидев эту несчастную рукопись.

В своем стремлении хвататься за все, что может дать хоть какой-то заработок, только б схватить, только б зацепиться, только б не пропустить, мать переоценивала свои силы. Ночью, после школы, тетрадей, частных уроков, лекций — она не могла делать переводы научных статей, да еще на чужой язык! Впрочем, не научных и на свой язык — тоже не могла. В то же время (или раньше?) мать переводила роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» для одной из эмигрантских газет — подвалы с продолжениями. Переводила урывками, между другими делами, часто — глубокой ночью. Убеждена, что перевод был сделан кое-как. Не думаю, что тогда я могла судить о его качестве, но что-то раздражало меня. Видимо безотчетно я догадывалась, что мать не может хорошо выполнить все работы, за которые хватается. Лишь бы как-нибудь. Лишь бы деньги получить.

На что она рассчитывала, сунув меня в этот журнал? Видимо, тут действовало то легкомыслие, та надежда на чудо, которые в свое время подвигли ее на то, чтобы снять комнату № 43, когда и за одну-то платить было нечем.

И сегодня, через столько лет, мне тяжко вспоминать дни, проведенные в редакции журнала. Была осень, лучшее в Маньчжурии время. Я смотрела в окно и завидовала прохожим, они свободны, идут, куда хотят, а я — на каторге. Это и в самом деле была каторга, ибо я не работала, лишь созда-

вала видимость работы, сидела не на своем месте, не умела делать порученного мне дела, ощущала себя самозванкой, обманщицей, подозревала всех в желании меня разоблачить, надо мной посмеяться. Мне казалось, что за стеной, за дверью кто-нибудь непременно говорит обо мне дурно. Свое пребывание в этом журнале я ощущала как нечто безнравственное, пыталась объяснить это матери, меня не хотели слушать. У матери было одно желание, чтобы я до конца месяца как-нибудь досидела, получила жалованье, ну, а там видно будет...

Месяц я досидела, деньги получила, хотя было у меня желание от них отказаться. А быть может, я лишь сама перед собой разыгрывала сцены, как я отказываюсь,— не заслужила, дескать! — и как это будет красиво и гордо, и все меня зауважают... Я сказала матери: «А было бы честнее отказаться...», сказала полувопросительно, вызывая мать на разговор, хотя знала, что беседой меня не удостоят, что в ответ мне будет холодно сказано: «Ты что, в уме?»

А затем судьба меня немного вознаградила... Один старый еврей, харбинский коммерсант, ушедший на покой, вздумал писать сценарии для Голливуда. Эти коротенькие опусы (две-три страницы на машинке) следовало переводить на английский язык. Примитивнейший сюжет, изложенный примитивнейшим языком, переводить было нетрудно... К старому коммерсанту я являлась раз в неделю, в определенный день, оставляла перевод, получала десять «гоби» и уходила счастливая, спрятав в сумку листки с новыми приключениями героев сценария...

У старика была секретарша, она отправляла в голливудские студии мои переводы (ответов не было никогда!), она печатала на машинке, она, видимо, исправляла слог старика, ибо по-русски он изъяснялся примерно так: «Возьмите тот вещь на эта окна!»

Полутемная гостиная с зашторенными окнами, с креслами в чехлах, блестящий паркет, я стою, вынув из сумки перевод, жду в тишине этой квартиры (сколько тут комнат? кто

еще живет тут?), и вот слышится поскрипывание — секретарша катит старика в кресле, старик не ходит. И я рада, что он пока жив, видимо — здоров, раз катят, теперь остается лишь молить бога, чтобы у него был готов новый «сценарий», уже наш бюджет строится на этих еженедельных десятках...

Я не знала, какова семья у этого патриарха (вид почтенный: орлиный нос, седая курчавая борода), лишь однажды, когда я стояла в гостиной, прошла полная, нарядная дама с зонтиком, спросив меня мимоходом: «Папашу дожидаете?» Дочь? Невестка? Десятки, мне выплачиваемые, жалованье секретарши, расходы на отправку сценариев в Голливуд, быть может, в графе расходов этой богатой семьи назывались так: «Папашины капризы».

Явная бессмыслица моих занятий меня не удручала. Работа была по моим силам, я с ней справлялась, я честно зарабатывала свои десятки, и совесть моя была чиста. А что до бессмыслицы — то бессмысленным в те годы мне представлялось наше существование вообще: лекции в Ориентальном институте, и мамина работа в школе, и все другие ее и мои работы, то возникавшие, то исчезавшие. Я постоянно ощущала нашу беспомощность, нашу незащищенность. Кто-то внутри меня постоянно спрашивал: зачем все это? Дальше что? Но я знала, что ответов мне никто не даст, и лучше не спрашивать, а жить изо дня в день.

* * *

Отчетливо и последовательно я помню себя и все, что происходило со мной, лишь с Харбина. Мне не было шести лет, когда из вагона, стоявшего на запасных путях харбинского вокзала, мы переехали в одноэтажный, под железной крышей дом, заняв в нем одну из двух квартир. Окна выходили в палисадник с черемухой и акациями, а крыльцо — на просторный двор, с которым связаны все игры моего детства, где мы играли, ссорились, плакали, мирились. Когда подросли, двора нам

было уже мало, мы перенесли игры на тихую Гиринскую улицу, по которой никто не ездил, играли там в «казаки-разбойники» и в лапту, и это было ужасно, когда тебя за какую-то провинность не выпускали из дому, и ты слышала, как они там орут, визжат, бегают, и все без тебя, без тебя! Из этого дома я пошла в школу, в этом доме прочитала свою первую книгу «Приключения Тома Сойера».

Если верить словам песни «С чего начинается родина...» — так не отсюда ли, не с этого ли дома, палисадника, двора, улицы должна была начаться для меня родина? Нежную привязанность мне следовало сохранить к этим местам. Этого не случилось.

Дом, где я выросла, я вижу лишь в страшных снах. Вижу знакомые комнаты с низкими потолками, и коридор, и сени, а за маленькими окнами ночь, и я одна, и в сенях кто-то ходит и вот-вот войдет, и бежать бы, да ноги не идут... Иногда мне снятся улицы города, где прошли детство и юность, но тоже — только в кошмарах. Не знаю, отчего это, знаю лишь, что никогда не испытывала привязанности ни к дому, ни к улицам, ни к городу. «И совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней»,— сказал поэт, и эти слова часто приходили мне на память в мои юные годы. Все казалось, что я живу на задворках, вокруг — тени, а настоящая жизнь, настоящие люди в других местах, где нет меня.

Я не любила климат Маньчжурии: пыльные ветры весной, жара летом и бесснежные ледяные зимы. Только осень была там хороша. Ни один город — а я затем их много повидала — не вызывал у меня такого ощущения безнадежности, безвыходности, тоски, как этот город детства и юности... Мне восемнадцать лет, я еду трамваем из Модягоу на Пристань, где у меня урок: учу английскому языку одну даму, жену коммерсанта. Выхожу из трамвая, сколько-то кварталов надо пройти пешком, ноябрь, ранние сумерки, улицы Пристани, лишенные деревьев, пустынны, мрачны, и я внезапно оста-

навливаюсь, цепенею от такого пронзительного ощущения тоски, что хоть беги к реке Сунгари и топись... А была я существом вполне нормальным, очень здоровым и по природе жизнерадостным. Но вот находили приступы тоски, вероятно, потому, что не на чем было стоять, непонятно, чего хотеть, к чему стремиться, во что верить и что любить — а в юности это нужнее хлеба.

Поэт Арсений Несмелов[1], эмигрант «первого поколения», в Харбине и умерший, писал об этом городе:

...И здесь, на самом берегу реки,
Которой в мире нет непостоянней,
В глухом окаменении тоски
Живут стареющие россияне.

И здесь же, здесь, в соседстве бритых лам,
В селенье, исчезающем бесследно,
По воскресеньям православный храм
Растерянно подъемлет голос медный.

В 1935 году жившие в Маньчжурии советские граждане уезжали в СССР: Советское правительство продало японцам Китайско-Восточную железную дорогу. В большинстве своем уезжающие были людьми, никогда в СССР не жившими, одни приехали в Маньчжурию еще до революции, другие были эмигрантами, сменившими вехи, взявшими советские паспорта.

Давно не знали харбинские улицы, харбинские магазины такого оживления: получив с КВЖД деньги за выслугу лет,

---

[1] Несмелов Арсений Иванович (1891—1946). Подлинная фамилия Митропольский. С 1920 года занимался литературным трудом в Приморье, находился в эмиграции в Маньчжурии. По непроверенным данным, умер в поезде, возвращаясь в СССР (см.: «Антология поэзии Дальнего Востока», Хабаровское книжное изд-во, 1967, где опубликован ряд стихотворений Несмелова. Оттуда же взята эта краткая справка).

уезжающие скупали все: одежду, мебель, кастрюли и даже рояли. В переполненные магазины я заходила из любопытства. Суетились продавцы, доставая с полок отрезы, дамы примеряли меховые пальто, несмотря на давку и даже очереди, никто не сердится, незнакомые вступают в разговоры, спрашивая друг друга: «И вы домой едете?» Из музыкальных магазинов слышались звуки пробуемых роялей, из посудных — звон стаканов, и везде видны люди со свертками, которые понимающе друг другу улыбаются: вы домой и мы домой!

Меня, для которой пара чулок была проблемой и вечно терзало неблагополучие с обувью, не мог не волновать этот доселе невиданный размах приобретательства, эта возможность купить разом две шубы и рояль в придачу. Но еще больше волновало меня взаимопонимание отъезжающих, слово: «домой»...

В тот год с харбинского вокзала шли и шли эшелоны с теми, кто «ехал домой», и я не знаю, сколько всего ушло эшелонов, украшенных транспарантами и красными полотнищами с надписями. На одном из таких полотнищ было написано: «Матушка Россия, прими своих детей!»

Знакомых среди отъезжающих у нас не было, кроме, впрочем, профессора Устрялова. Но и знакомство с ним, начавшееся у моих родителей в колчаковском Омске, давно не поддерживалось. Устрялов сменил вехи еще в начале двадцатых годов, тогда, видимо, и прекратилось с ним знакомство моих родителей. Меня водили в гости к Устряловым, но было это в дошкольном возрасте, и все лица в памяти размыты. Помню, что Устрялов ростом был высок (или мне по малости тогдашнего моего роста так казалось?), и была у него русая бородка, и, кажется, он грассировал. Так или иначе, осталось у меня впечатление приятной барственности, выхоленности. Жена его была очень полной, белотелой, голубоглазой, и два маленьких сына тоже были беленькие и пухлые, что-то сталось с этими мальчиками?

А еще уезжали соседи, семья Ведерниковых, живущая за нашей стеной в доме Литвака на Конной улице: отец, мать и сын, мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Встречаясь с ними в коридоре, мы здоровались, этим знакомство и ограничивалось. Мы слышали, как выкатывали из комнаты, а затем несли по лестнице их рояль, на котором по многу часов в день играл мальчик Толя, о нем все знали, что это — талант.

Прислушиваясь к сборам Ведерниковых, мать говорила: «Куда они едут, безумные? Хоть бы мальчика своего пожалели!» Я немедленно откликалась: «Почему безумные? Люди едут домой. На родину!» — «Эта родина сразу с поезда отправит их в концентрационный лагерь!» — «За что? Ведерников еще до революции сюда приехал, он же бывший железнодорожник. Он в белых армиях не дрался!» — «ОНИ найдут за что!» — «А их мальчику,— горячилась я, не слушая,— здесь делать нечего! Разве что в кабаках играть! А там он станет настоящим пианистом!»

(В Москве, в конце пятидесятых годов, на концерте Рихтера я столкнулась в антракте с Анатолием Ведерниковым и сразу узнала его — высокого, худого, смуглого, с поредевшими курчавыми волосами. Прежде у него были такие буйные кудри, что мать обвязывала ему голову платком, наподобие чалмы,— в этом виде я не раз видела Толю в нашем общем коридоре. Вероятно, эти буйные волосы мазали каким-нибудь брильянтином и завязывали на несколько часов, чтобы удержать их в покорности... Итак, я сразу узнала Ведерникова, да и как не узнать? Он был харбинской знаменитостью, вундеркиндом, я видела его на сцене, семилетним, в коротких штанишках, когда ноги его едва доставали до педалей... Я подошла к нему, напомнила дом Литвака, Конную улицу, и вежливое недоумение на этом смуглом с морщинками лице (сколько же, господи, лет прошло!) сменилось улыбкой узнавания. Мне не нужно было его спрашивать о том, как сложилась его судьба: ученик Генриха Нейгауза, Ведерников был уже тогда известным пианистом, имя которого с уважением

произносилось ценителями музыки. А о родителях его я все хотела спросить и все не решалась, надеялась, что он сам скажет, но он не сказал, и кончился антракт, прозвенел звонок...)

Мои диалоги с матерью были полны второго смысла. Говоря о том, что Ведерников-отец не принимал участия в белом движении, я косвенно обвиняла своих родителей, в движении участие принимавших — и не закрывших ли мне этим путь на родину? Говоря о Ведерникове-сыне, которому нечего делать в Харбине, я имела в виду себя: мне здесь тоже нечего делать.

Никогда никаких прямых разговоров, только эти легкие перестрелки то под укрытием Ведерниковых, то под укрытием еще кого-нибудь или чего-нибудь... Кончалось это обычно такими словами матери: «Одни голые эмоции. Берешься рассуждать, а сама ничего толком не знаешь! Хоть газеты бы, что ли, читала!»

Мать была совершенно права. Я понятия не имела о том, что представляет собою Советский Союз и что там происходит. Меня волновало, что люди уезжают, а я сижу в этом постылом городе, слушаю ненужные лекции, бегаю по урокам, перевожу сценарии для полусумасшедшего старого еврея, долго ли жить так? Не то чтобы я стремилась в СССР, нет, в те годы я туда еще не собиралась, но слова «домой», «родина» и «матушка Россия» волновали меня, я одобряла уезжающих — это благородно, это правильно, человек должен жить среди своих! А мать не умилялась ни капли, такой у нее характер, от всего отгораживается иронией... Я — запальчиво: «Это лучше — всю жизнь прожить среди китайцев и японцев?» Мать — с усмешкой: «Кто знает? Быть может, и лучше!»

Мне все хотелось спора, но спора не получалось. Мать не столько вникала в мои доводы, сколько старалась догадаться — кто мне их внушил. В том году я много времени проводила у Катерины Ивановны Корнаковой, бывшей актрисы

Московского Художественного театра, приехавшей в Харбин с мужем-швейцарцем Б. Ю. Бринером. Корнакова много рассказывала мне о московской актерской жизни, и матери казалось, что я говорю под влиянием Корнаковой. Я сердилась, мне хотелось доказать, что ни под чьим влиянием я не нахожусь, я повышала голос, меня прерывали: «В каком тоне ты разговариваешь с матерью?» Вот так наши беседы и кончались.

Мне было семь лет, когда умерла няня Прасковья Андреевна, и я бы не вспомнила ее лица, если б не фотографии семейного альбома. Несколько снимков сделано в России, один — в Харбине. Мы только что туда приехали, жили в вагоне, волосы матери еще не отросли после сыпного тифа. Сестра и я одинаково одеты, обе с челками, обе с бантами в волосах, обе прижимаем к себе любимые игрушки. А няня, в неизменном белом головном платке в черную крапинку, в вязаной кофте поверх белого, и тоже неизменного, передника, сидит от нас троих поодаль, сложив на коленях руки, губы сжаты, небольшие серые глаза смотрят сурово... Еще в детстве, разглядывая эту фотографию, я беспокоилась: почему няня не рядом с нами, сидит отдельно, отстранившись, будто знать нас не хочет? Как-то я спросила об этом мать. Она ответила: «Няня сердилась на меня. Ей очень не понравилось, что мы очутились в Маньчжурии. В тот день я едва уговорила ее сняться вместе».

Я не помнила няниного лица, но в памяти моей на всю жизнь засели ее слова, обращенные к матери: «И куды вы меня, барыня, завезли?»

И я повторяла про себя: «завезли»! Надо было остаться в России, как осталась вся мамина семья, но мы уехали, и нет нам теперь пути назад. Завезли! Прямо упрекать мать я не решалась — она умела держать меня на дистанции,— но косвенно упрекала постоянно, жалуясь на жизнь. Будто мать сама не знала, как беспросветно наше харбинское существование! Вот запись из ее дневника тех лет: «Несчастные мои девочки, что их ждет впереди? Делаю для них все, что могу,

но что я могу? Боюсь за Наталью с ее горячностью, с ее манерой сначала делать, потом думать».

Она тревожилась за меня, но тревоги своей не показывала, на открытый разговор не шла. Быть может, ей казалось, что откровенные разговоры поставят нас с ней на одну доску, придадут вес и силу моим высказываниям, а их нельзя принимать всерьез, они не больше чем безответственная болтовня невежественной и эмоциональной девчонки...

Люди с непрочными адресами (а мы ведь вечно переезжали!) имели возможность получить на почте за небольшую плату собственный почтовый ящик. Номер нашего (запомнила!) был 303. Ежемесячно или поквартально следовало платить за него — не помню, знаю лишь, что тут моя мать была аккуратна, о ящике помнила всегда, плату не задерживала, готова была продать, если понадобится, последнее, но с ящиком не расставаться. Он был ее единственной связью с Россией.

«Прочитай-ка бабушкино письмо!» — говорила мать. За этими словами мне чудились другие: «Прочитай о том, как им там тяжело живется!» Отказаться читать письмо я не осмеливалась, читала через силу, стараясь удержать зевоту...

«Так меня порадовала твоя милая грамотка от 24 июля, дорогая Катя! Будто ниточка протянулась сквозь эти тысячи верст, и вы стали не так недостигаемо далеки. Спасибо тебе, что ты была у обедни в Ольгин день. И Анна Николаевна поздравила меня из Ниццы. Я обратилась к ней с просьбой в следующее письмо заколоть парочку иголок 7—8 номера. Мы бедствуем с иголками, похожими на шила, коротки и толсты, плачем о прежних пачках Виктории. Шью с грехом пополам, длинная иголка задевает нос, короткая выскакивает из пальцев... Помещение дачное меньше, чем в прошлом году, погода скверная, дождь льет, как беспутный...»

Мать говорила: «Надо будет иголок им послать. Подумать только: в стране нет приличных иголок!» Я же, протомившись до конца письма, кое-как одолев его, пропустив, однако, немало из середины, откликалась: «А все-таки как здорово,

что им удается каждое лето ездить на дачу!» — «Тебе тоже удается,— холодно парировала мать,— прошлым летом ездила в Барим, этим — к Бринерам в Корею!»

Реплики с подтекстом вместо прямых, откровенных разговоров. А ведь дружеская беседа матери и дочери, уже взрослой, уже двадцатилетней, была бы так естественна! Но нет. Было нечто в характере матери, мешавшее ее душевному сближению именно с теми, кого она больше всех любила. С людьми же посторонними, ей симпатичными, все происходило иначе. К ней прибегали изливать душу ее ученики и ученицы и знакомые молодые женщины, а в последний московский период жизни мать была уважаема и любима соседями но квартире, они посвящали ее в свои дела и заботы, советов просили. Я же не посвящала ее ни во что, не советовалась ни о чем. О важных решениях своей жизни сообщала постфактум, как бы между прочим, после чего наступала долгая пауза: мать собиралась с силами, чтобы не выдать своей обиды. Собравшись с силами, произносила спокойно: «Ну, и давно это ты придумала?»

В государстве Маньчжоу-Го жить становилось все труднее. Русские эмигранты стремились в Шанхай. Он, с его иностранными концессиями и филиалами всемирно известных фирм, казался землей обетованной. Рвалась в Шанхай и я. Я готова была рваться куда угодно — лишь бы из Харбина! Втроем мы ехать не могли, не на что, да и следовало кому-то остаться в тылу. Мать долго не решалась отпускать меня. Наконец скрепя сердце согласие дала. Согласилась и на то, что я, не доучившись, брошу Ориентальный институт. Мне кажется, мать пошла на все это лишь потому, что ее пугали мои мысли о Советской России и ей хотелось вырвать меня из-под влияния Корнаковой...

В Шанхае я провела одиннадцать лет.

Приехав в СССР с репатриацией, я поначалу попала в Казань, а затем, поступив в Литературный институт, переехa-

ла в Москву. Сюда в декабре 1954 года приехала ко мне мать.

Здесь она встретила брата и сестру, и других родственников, близких и дальних, нашла старую подругу по Бестужевским курсам и новых друзей нашла. Привыкшая работать всю жизнь — трудилась и здесь: готовила аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранным языкам, давала уроки, перевела на русский язык повесть французского писателя Поля Берна «Лошадь без головы», дважды изданную «Детгизом» и не утерявшую популярности до сегодня: монтаж повести передают по радио.

Жизнь не согнула, не сломила мою мать. Все ей было нужно, все интересно — и новые книги, и журналы, и театры, и выставки, и концерты, и кино. Образовалось в Москве общество бывших бестужевок, старушки устраивали какие-то совместные ужины и чаепития, мать неизменно на них присутствовала. Вот ее последняя фотография: накрытый стол, седые головы, повернутые к фотографу, морщинистые лица, и среди них — лицо моей матери.

Если я иной раз обижала ее своим к ней невниманием, то от вновь обретенного отечества обид она не видела, ей даже пенсию выплачивали... И мне хочется верить, что одиннадцать последних лет, проведенных матерью в России, были лучшими в ее жизни с тех пор, как жизнь эта сломалась летом 1918 года.

Несоответствие гаснущих сил со страстным желанием везде бывать, все видеть, ничего интересного не пропустить — вот что угнетало мать последние два-три года ее жизни. Убеждена, что и кончину свою она ускорила тем, что однажды вьюжным ноябрьским вечером с любимой своей подругой, бестужевкой, Еленой Владимировной Поссе, помчалась на какой-то концерт во Дворец съездов. (От меня эта безумная эскапада была скрыта, мать знала, что я буду протестовать!) Выйдя из Дворца съездов после концерта, старые дамы долго не могли поймать такси, где-то стояли, голосовали, а ветер, а снег, мать задыхалась, принимала нитроглицерин, Елена

Владимировна (гипертоник) тоже что-то принимала. До дому в конце концов добрались, но после этого мать слегла. Нет, не окончательно. Еще вставала, еще собиралась, как обычно, праздновать седьмого декабря свои именины, но в утро того дня ей стало хуже, и я отменяла гостей по телефону.

А потом ей стало лучше. Она сразу чрезвычайно оживилась и уже делала планы на лето и планы на ближайшее будущее — сговаривалась с друзьями по телефону пойти па дневной сеанс в какое-то кино, а затем вместе обедать.

Мне не забыть черный шелковый костюм и бледно-сиреневую блузку (парадные доспехи матери), висевшие на спинке стула в ее комнате, приготовленные вечером, чтобы с утра не терять времени на вынимание их из шкафа,— утром-то как раз и предстоял сеанс в кино, а затем обед с друзьями.

До утра мать не дожила. Ей стало плохо около полуночи, и была обычная в таких случаях суматоха, вызывалась «скорая помощь», примчались врачи, кто-то отодвинул стоявший на дороге, всем мешавший стул, и упала наброшенная поверх костюма бледно-сиреневая блузка, и я ее подобрала и зачем-то тщательно навешивала на стул снова — это было, когда врачи ушли, сказав, что помощи моей матери уже не требуется.

Лицо у нее было спокойное, лишь — удивленное, и, закрывая ей глаза, я благодарила бога за то, что она, по-видимому, умерла без мучений. Так мне хотелось, так мне хочется думать.

То было в ночь с 14 на 15 декабря 1965 года. До семидесятидевятилетия матери оставалось пять месяцев...

Эмигрантский журналист, поэт, прозаик Вс. Н. Иванов, вернувшийся в СССР в 1945 году, выпустивший на родине несколько книг, живший и скончавшийся в Хабаровске, посвятил моей матери свою «Беженскую поэму». Поэма издана в Харбине в 1926 году и открывается такими строками:

Моя пленительная Муза,
Вопрос к тебе тревожный есть,

Не суждена ли нам француза[1]
Весьма сомнительная честь?

И после нашей жизни бурной,
Вдали от нам родной страны,
Быть может, будем мы фигурным,
Китайским гробом почтены?

Но почему при мысли этой
Невольно чувствуется страх?
Не быть нам с песней недопетой,
В далеких и чужих гробах.

Этой «сомнительной чести», «далекого и чужого гроба» моя мать избежала. Прах ее покоится в русской земле, на старинном кладбище Введенские горы.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Года бегут,— писала бабушка,— подрастает наше третье поколение. Какая пестрая толпа из них выйдет, какое смешение племен, наречий! Из этой встряски могут выработаться характеры, быть может, выбьются таланты, а главное, будет широкое поле для сравнений, сопоставлений, уяснений».

Первый бабушкин внук — Александр, «Алек» — появился на свет в 1908 году. Последний — двадцать лет спустя.

О его рождении бабушка сообщает нам в Харбин такими словами:

«К моему семидесятилетию мне послан седьмой внук, Дмитрий, это большая милость Божия! В четыре дня телефон принес долгожданную весть: мальчик десять с четвертью фунтов веса, мать и сын здоровы. И точно все посветлело сразу!» (декабрь 1928 года).

Четверо внуков бабушки — Александр, Юрий (сын Марьи

[1] Речь идет о французском эмигранте, с почестями похороненном на чужбине.

Дмитриевны), Екатерина и Дмитрий (дети Дмитрия Дмитриевича) — жили в СССР. Трое — Муся и мы с сестрой — за рубежом.

«Приближается Пасха,—писала нам бабушка в 1932 году,— такая ранняя, что никак не наладиться к ее близости, глядя на сугробы снега и скованные морозом лужи. И все-таки приближение светлого праздника несет столько воспоминаний, нагоняет тоску об отсутствующих, подчеркивает пробелы семьи, хочется всех обнять, всех увидеть перед концом...»

Эти «пробелы семьи» бабушка пыталась заполнить своими письмами, сообщая нам в Харбин все новости о детях и внуках, живших около нее. Своей младшей дочери, Марье Дмитриевне (в 1931 году переехавшей из Ульяновска в Москву), бабушка пересылала наши письма и даже фотографии с просьбой переснять и вернуть... Серые листки, исписанные мелким бабушкиным почерком, тряслись в почтовых вагонах, осуществляя связь между разрозненными частями семьи... Когда бабушка умерла — связь надолго прервалась...

Благодаря этим письмам моя мать и ее старший брат Александр Дмитриевич, живя в Харбине, были в курсе дел и забот своих родных. Второй сын бабушки, правовед Павел Дмитриевич, работал в Москве. Четвертый — агроном Иван Дмитриевич — в Грузии, а в середине тридцатых годов перебрался в Ленинград. Оба они были бездетны. В том же городе, что бабушка, жила разведенная жена Александра Дмитриевича — Надежда Александровна Башмакова — с сыном Алеком. Туда же, поступив в институт, переехал из Ульяновска Юрий, сын Марьи Дмитриевны. Таким образом, четверо внуков бабушки жило около нее.

В 1927 году бабушка гостила у Марьи Дмитриевны.

«Сегодня дивное солнце и весенний воздух... Юрий вчера ходил в техникум на занятия — он не всегда к ним так снисходителен, сегодня не пошел. Сейчас он сидит в соседней комнате, раздается стук телеграфа. Это Юрий посылает свои сообщения в пространство вселенной по радиоволне. На днях

торжествовал: его сообщение принял Томск за несколько тысяч верст, ему прислали ответную открытку. Юра и Алек сами строят свои аппараты и все их совершенствуют. Страшно слушать разговоры этих мальчиков, внуков моих — все цифры, длина волны, сила тока, лампочки и пр. ...» (1927 год. Ульяновск).

«Наш Алек делает прекрасное впечатление. Его забота о матери неустанна. В своем Керамическом ин-те он зарабатывает 75 р., тратит их очень скромно. На службе Алек любим. Готовится к новому экзамену в химическое отделение университета... Сейчас много говорят о химизации страны...» (1928 год).

(А. А. Воейков уже дважды пытался поступить в университет в 25-м и 26-м годах. Ему мешало его социальное происхождение. Но наконец, в 1928 году, поступил.)

«Сентябрь принес мне большую радость: Алек принят наконец в институт. Попал он на электрохимическое отделение. Эти дни он сдает свою службу, а лекции уже идут. Но, надеюсь, он подготовлен серьезнее своих коллег. Керамический институт, его лабораторные работы продвинули его по этому пути — физик вообще он хороший. А по радио прошел большой стаж.

У Нади, кроме службы, еще лекции для студентов по искусству. Она и в воскресенье не отдыхает, а руководит экскурсиями по Эрмитажу. Редко одна экскурсия, а то две и три. Много верст исходишь по огромным залам, и все время надо удерживать внимание разношерстных слушателей. Надя храбро ведет свою работу, несмотря на больное сердце.

А помнишь, Катя, наше последнее лето и как мы копали картошку за баней? Всегда мне вспоминаются березки в овраге, их курчавая листва, яркая зелень, окаймляющая овраг, даль леса и закат...» (1928 год).

«Юрий, гордый своим первым настоящим заработком, поднес мне двадцать один рубль в удобных для расходов трешницах. Деньги, увы, текучая вода, когда литр молока стоит то, что мы прежде платили за четырнадцать бутылок. У Юрия

интересные опыты по радио, юнец выйдет на дорогу, весь ушел в дело!» (1931 год).

«Кто всегда делает самое отрадное впечатление — это наш Алек. На днях демонстрировал нам порядочное знание немецкого языка. Надо иметь порядочную настойчивость, чтобы так поздно начатый язык уже применять к делу, выпутываться из сугубо заковыристых немецких фраз. Алек мечтает летом примкнуть к экскурсии на Байкал...» (1931 год).

«Юрий уже получил премию в 300 р. за улучшение, придуманное в области радиопередач. Он работает в очень хороших условиях в новом здании при университете. Алек на будущий год кончает, занимается очень серьезно. Наши будущие ученые на хорошей дороге» (1931 год).

«Наш Алек в мае будет полноправным инженером. Очень его звали назад на тот завод, где он был на практике осенью, но назначение зависит от института...» (1932 год).

«Хочу тебе черкнуть радостную весть об успехах Алека. Он получил благодарность и премию в 500 р. Его работа оказалась для завода и удачной, и выгодной. Радуюсь за Алека, за удовлетворение его всегда скромных потребностей» (1932 год).

«Выступление Алека перед старыми учеными было успешно. Академики, которых он боялся, жали ему руку, говорили, что он пролил свет на некоторые темные стороны... У обоих молодцов, внуков моих, есть головы, инициатива и любовь к труду. Они не ленивы, а скорее расходуют лишнюю энергию, постоянно засиживаясь на ночь. Но мало развлечений, мало отдыха...» (1933 год).

«...Мое письмо подвигается как заезженная почтовая лошадь. С беспокойством жду известий от Алека. Хотя экспедиция считает его принятым, но еще не получено подтверждение из Москвы, формального закрепления состава участников нет. А экспедиции ехать через два дня! Весь вечер ждала сообщения, кончила тем, что позвонила сама. Надя сказала, что заведующий кадрами пригласил Алека на беседу. Чем-то все кончится?» (1933 год).

«Очень интересно мы провели вчера вечер: Надя, Алина, Катеринка и я. Слушали в Географическом обществе Самойловича о походе «Красина» пять лет тому назад и Нобиле (по-итальянски) о его трех полетах на злополучном дирижабле «Италия». Сообщение итальянца сопровождалось великолепными картинками в красках, с эффектным освещением льдов и морей, светлыми небесами, яркими горизонтами. Сам Нобиле не симпатичен, дикция его неровная, плохо слышимая, начинает на высоких нотах, кончает почти шепотком. Забавна его собака Титина, тоже одна из летчиц «Италии», которую он спас, улетая, покинув своих товарищей... Собака (белый фоксик) бегала по залу, гремя погремушкой па ошейнике. После доклада мы поймали Самойловича и узнали, что экспедиция Алека добралась до Тикси, и если нет вестей, то это из-за перегруженности почты в Якутске и буранов, которые там затрудняют сообщение... В «Известиях» от 10 или 11 октября был интересный фельетон Макса Зингера, вернувшегося с летчиком Леваневским через Якутск. Они летели с устья Лены месяц тому назад, и уже тогда их преследовала снежная буря...» (1933 год).

«Пришла наконец телеграмма от Алека: жив и здоров! Составляем ему ответную телеграмму, а то скоро они двинутся на Новосибирские острова, куда уже опять не будет связи. Теперь к ним направляется серия ледорезов. Северный путь будет обслуживаться особенно тщательно при содействии Шмидта в Москве...» (1933 год).

«Смущаю Надю идти на доклад Визе в Географическое общество «Поход Литке». Во всяком случае пойду с Катюшей. Зову очень Диму: хоть бы один вечер он себе освободил! Интересно повидать диапозитивы. Участники похода ведь заходили также на Тикси. И очень хочется послушать Визе, вероятно, он соберет полный зал... Телеграмма от Алека кратко извещает: «Ждем зимнего пути». Теплая осень им не в помощь. Они сейчас в Керенске, надеюсь, что в этом маленьком сибирском городке они, как знатные путешественники, пользуются гостеприимством аборигенов» (1933 год).

(В 1935 году Н. А. Башмаковой и ее сыну пришлось переехать из Ленинграда в Астрахань.)

«Письмо от Нади длинное и бодрое. Алек работает, хотя пока на 250 р., но важно, что прицепился по Гидрографии, работа его будет оценена... Надя сколотила группу занятий по иностранным языкам» (1935 год).

«От Нади и Алека вести бодры, он получил еще прибавку за вечернюю работу. Новый год они встречали весело, в компании двенадцати друзей. А главное, удалось найти две уютных комнаты, и мать с сыном разместились на 25 метрах, вместо прежних семи» (1936 год).

«У нас большая радость, появился 30-го Алек, веселый, жизнерадостный, загорелый, уже был в плавании, торопится вернуться к своей работе, полюбил своего начальника, чувствует, что нужен ему. Алек незаурядный математик, у него уже целая команда под его руководством. Получает он 400 р. в месяц, что все-таки прилично, и не гонит мать на службу» (1936 год).

«Юра очень занят, часто до ночи, он руководит двадцатью лаборантами, рано попал в начальствующие, зато почти не имеет развлечений» (1935 год).

«У людей так мало времени для чтения, что мне страшно за моих юнцов — багаж их будет узкоспециальный! Горжусь ими — оба на своей работе выдвинулись. Бабушку не забывают, несмотря на всю свою занятость, находят время меня видеть...» (1935 год).

Следующие письма бабушки посвящены жизни семьи Дмитрия Дмитриевича Воейкова...

«Увы, дорогая Катя, нам убавили наши три сажени жилплощади до двух. Наша квартира, впрочем, еще вполне прилична даже в сокращенном виде: три комнаты, один ребенок, и то большой, но к Новому году ожидается второй маленький пришелец...» (1928 год).

«Вчера Дима с семьей отправился в Ботанический сад. Семья очень мила: Алина с брюшком, Катюша выросла и хорошо выглядит. Она покладиста и горячо радуется всякому

маленькому удовольствию. Возвращаясь, они увидели у Летнего сада лавку с гончарной посудой, отец купил ей плошку за 8 коп., восторг был полный. Встретились им две девочки, Катины подруги, Дима и им купил по посудинке, по их выбору. Напоминает мне нашу ярмарку в Никольском. Сколько было радости закупать всякую дрянь!» (1928 год).

«Катерника наша обожает магазины. Вчера Алина ездила с Катей по лавкам. Купили коричневые туфли у Скорохода за 4 р. 54 к., очень миленькие, на замше с перекладинкой, а потом черную шелковую ленту в волосы. Надо было видеть восторг Кати, когда они вернулись с обновками!» (1928 год).

«Новый 1930 год встретили мрачно. Алина слегла 30-го, на другой день после нашего с Дмитриком новолетия, бронхит грозил фокусом в легких, десять дней провела в постели. Только Алина начала поправляться, как нас напугал Дмитрик скачками температуры до сорока... Сегодня первый вечер, что он заснул тихо и без большого жара.

Получила письмо от Вани. По лекциям у него каникулы до 15 февраля... Итак, вас пять человек, передающих свои знания по разным отраслям: ты, Мара, Шура, Дима, Ваня. Мара уже выпустила целое поколение учеников, а бывшие садоводы Шуры все вспоминают его с благодарностью» (1930 год).

«Зимы у нас долго не было, Нева катила серо-синие стальные волны, гремели колеса по мостовой, и морозы начались лишь 27 января... Мало писала тебе из-за болезни Алины, а потом Дмитрика. Бубик проделал краснушку довольно легко. Морозы и валенки облегчили мои передвижения, но в первый раз за зиму я упала именно в валенках: подвели глаза и темнота. Дима готовится к первой лекции в Горном институте. Тревожит то, что от Мары около месяца нет писем. Павлик тоже не пишет, но послал мне пятнадцать рублей» (1930 год).

(Павел, Иван и Марья считали своим долгом посылать матери деньги, когда эта возможность у них была. Была она не всегда. В письмах бабушки попадаются такие фразы: «Мои

банки обанкротились, живу два месяца копейками!» Бывало и другое: «Ваня прислал мне за апрель 80 р., потом еще 70, Мара прислала 20, так что я сразу разбогатела». Бабушка и сама немного зарабатывала уроками английского и французского языков. Но: «...с уроками трудно. Надо изучать фонетический метод преподавания. Быть может, и стоило бы, но в мои годы смешно браться за новое дело. Я не императрица Елизавета Австрийская, чтобы на седьмом десятке учить греческий язык!»)

«Только что вернулась от обедни у Преображенья, молилась за вас всех... Дима очень устает, рано надо выбираться на службу, а кроме службы еще вечерние лекции в Горном институте. Слушателями своими Дима доволен, интересуются, следят за объяснениями, задают умные вопросы... Эти три недели провела тихо. Катя ходит в школу, Бубка гуляет. Раз в пять дней отец с дочкой празднуют день отдыха какой-нибудь прогулкой. Алина уходит в сад на два-три часа с Бубкой, и он не дает ей минуты присесть со своей подвижностью. То ли дело было в прошлом году, когда он дремал в своей колясочке и можно было спокойно читать...» (1930 год).

«Мы погрузились в такой мрак, дорогая Катя, что хоть весь день не туши ламп. Мое писание затруднено. Между моими глазами и повелениями маленького деспота Димика — эпистолярные мои попытки вянут, не успев расцвести. Этот проказник лучше всего чувствует себя в моей комнате...

Забавная история с часами. Часть города перешла на солнечные, другая осталась при фиктивном часе вперед. У Димы на заводе перевели на час назад, а у Катюши в школе сохранили прежнее время. Городские уличные часы не переведены, а по военному округу отдан приказ о перемене...» (1930 год).

«Если мы и не роскошествуем, то и не голодаем. Алина ухитрилась сделать квас, у нас постоянно окрошка, супы из овощей, гречневая каша. Всюду засыпаем укроп, зеленый лук, иногда бывают редис и огурцы. Молоко нам носят отлич-

ное, берем два литра через день. Я себя чувствую неплохо. Вижу, конечно, хуже, но все-таки это еще Божье чудо, что я могу читать, писать, и если не предъявлять слишком больших требований, то и передвигаться по улице без очков. Я только не вижу лиц и теряюсь, когда в темноте мелькают огни...» (1930 год).

«Дачу сняли в Сестрорецке, она хорошо расположена, почти круглый день под лучами солнца, а за оградой есть тропочка к речке по лугу, напоминающему мне займище в Репьевке... Сегодня туда собираюсь, день чудный, мягко, тепло. Там меня будет встречать вся маленькая орава, будут толкаться и ссориться, кому держать мою руку, и Верочка будет в обиде, потому что Катя предъявит приорность своих прав. Они забавны и своенравны. У Володи[1] — страсть к длинным рассуждениям, Вера авторитетна, Катя скорее податлива, но не без склоки. Надо будет, пока я жива, паучить их иностранным языкам...» (1930 год).

«Вчера, декабрьским днем, благополучно прибыл из отпуска Дима, загорелый, здоровый. В Сухуме можно было лежать на солнышке, загорать, любоваться морем. Кормили хорошо, по четыре рубля за обед. Катюн, конечно, встречала с матерью на вокзале. Бубка затормошился дома в ожидании, влезал на подоконник, смотрел, где его папа, папуля... Большой восторг вызвали мандарины...» (1930 год).

«Вчера была годовщина смерти дядюшки-профессора. Кому вспомнить? Друзья его чуть-чуть дышат... Мы с Павликом подправили на могилке крест, выкрасили, обновили надпись... Мне легче писать, чем перечесть мое писание, я не вижу того, что стоит па столе, постоянно надо ощупью проверять...

Дима кончает книгу, Алина — работу. Она очень искусно обшивает детей, всякая тряпочка идет в дело» (1931 год).

«Между моей слепотой и Бубкиной русой головкой мое

---

[1] **Верочка** и **Володя** — дети друзей.

писание довольно катастрофично. Каждые пять минут под мой локоть просовывается головенка, которой до всего есть дело. Димка стал все говорить. Поправляет, когда его окликнут: «Бубка!» «Я — Дима!» В шутку любит называть себя «Ваня»... Катюшу ловлю за хвост, чтобы заняться с нею французским языком. Чаще раза в неделю это не удается. Школа их задерживает до двух тридцати» (1931 год).

«На днях повезло: Алина нашла Кате фуфаечку, так называемую «майку», славный такой чистый сургучный цвет, а Бубику курточку цвета хаки с кармашками, то, что здесь называют «пиджак на двухлетнего». Бубка такой большой, его рост... Помнишь нашу лампу под желтым абажуром в гостиной на Лиговке? Так он почти до половины ее вырос! Он становится все забавнее. Хватает слова из неосторожных выражений взрослых, с чувством объявляет: «на-плевать!» Вчера двигал на кухне стулья. Алина сказала: «Поставь на место, а то бабушка не увидит и упадет!» Явился ко мне: «Бабушка, ты упадешь?» — «Конечно, если ты там загромоздил».— «А я тебя подниму, бабушка, чтобы ты не валялась на полу!» Он постоянно слышит: «Убери свои игрушки, что это у тебя все валяется!» — и резонно применил эти слова к бабушке!» (1931 год).

«Вчера отец взял Димика в Зоологический сад, оттуда на Елагин, вернулись на пароходике. Восторг был полный. Димик целый день шептал мне в ухо, обнимая за шею: «Что, что мы еще видели! Крокодила! Бегемота в воде! Кенгуру!» Все это шепталось с особенной ажитацией. Очень он забавен в своих восклицаниях, нахватанных от старших. «Грех великий!» «Вечное поле!» — отзывается богомольной Матрешей. «Все по-дурацки!» — выражение Дуняши. Иногда Димик с выражением скажет: «Удивляюсь, как это случилось?» (1932 год).

«Как у тебя с уроками, Катя? Но — праздный вопрос. Все хочется заглянуть в вашу жизнь...

Из-за холодного ветра Бубка дома. Строго говоришь ему: «Бубка, играй, а бабушка пишет!» И поминутно умильная

рожица заглядывает на бумагу: «Бабушка, кончила?» Невольно бросаешь перо и берешь его книжки... Он смешит нас своими выходками. Утром в коридоре обхватил мои колени — и ласково: «Идите, бабушка, детушка моя!» Как жаль, что ты его не увидишь в эти самые интересные годы его развития!

...Алина начала говеть, чтобы причаститься к Вербному воскресенью, а я уж займусь спасением души на последней неделе Поста, так трудно утром уйти из дому... Я плохо пишу, дорогая Катя, я плохо вижу, а всегда так много хочется сказать тебе... Но приходится писать только о том, что не близко душе...» (1932 год).

«Наш домашний праздник прошел весело, малыши даже танцевали, маленькая Наташа пела. Бубка был очень возмущен, говорил: «Что она поет? Она просто кричит!» Он устал от впечатлений, и в душе его, я думаю, была маленькая ревность: все так занялись Наташей, а она его нечаянно хлопнула по лбу ружьем и сделала царапину, которую он скрывал. Ужасно они забавны, эти маленькие люди!» (1933 год).

«...Вчера праздновали нашего юбиляра Дмитрия-старшего кренделем из торгсиновской муки. Выходной день он занял спешной работой по отчетам своих опытных плавок, которыми, кажется, интересуются в Москве. Бубилка в семь утра был поднят Катей нести папе крендель, который вчера скрывали. Картина, говорят, была неподражаема: Бубилка в короткой ночной рубашке, Катя в халате чинно тащили вдвоем блюдо с кренделем, а папа спал и ничего не видел. Бубка был так возмущен, что стал его будить. Жаль, что два Дмитрия не могли вместе погулять по случаю выходного дня и папиного рождения: старший Дмитрий был приклеен к своему бюро... Весна несет столько дополнительных расходов! Бубке купили матросскую шапку с лентой и золотыми буквами: «Арктика», Кате туфли на лето...

У Бубки жилка коллекционера, нижняя полка моего

шкафа — целая кунсткамера! Последнее время вцеплялся во все газеты, где какой-нибудь географический чертеж считая, что все они относятся к Челюскину, вытаскивал у Алины газету, которую она собиралась рвать, потому что на ней кто-нибудь из летчиков!» (1934 год).

«Твоя грамотка, милая Катя, была у меня под самый Новый год, под 14 января. Алина была долго на спевке, так как вчера хор, которому она аккомпанирует, выступал в концерте и имел огромный успех. Весь их ансамбль завербовали на три вечера в разных местах, даже за городом... Анна Николаевна пишет из Ниццы, что настроение подавлено окружающей нищетой, вся беспечная курортная жизнь замерла от недостатка иностранных приезжих, всюду отзывается злосчастный кризис и безработица. Пишет, что пробовала делать кукол, но нет сбыта... Темно и тепло, идет снег. Наш маленький люд задерживается с санками до часу дня, потом они занимаются и играют, очень весело и шумно. Всех оживил приезд Мары. Теперь мы и Юрия видим чаще. Наш вернувшийся полярник Алек тоже не забывает бабушку. Школьные каникулы Катюша провела разнообразно: была в театрах, в опере, на вечерах у друзей...» (1935 год).

«Осень продолжает плакать над нами... Читала Вальтер Скотта из времен Кромвеля и поражалась тому, как мало изменилось человечество за четыреста лет».

«Уже несколько лет, как я не рискую одна без провожатых ездить в Географическое общество. Сейчас эти поездки мне стали и с провожатыми недоступны. Я лишаюсь единственного места, где еще смутно проглядывалось прошлое и убеленные сединами сверстники еще говорили знакомые фразы знакомым языком...» (1936 год).

Все четверо бабушкиных внуков, около нее живших, столь горячо ею любимых, все четверо, включая тогда маленького Диму, ожиданий ее не обманули: все стали учеными, каждый — специалистом в своей области. Они живы и благополучны. Все. Кроме Алека.

* * *

Ей были дороги и мы, три внучки, которых она не забывала, несмотря на тысячи «нас разделяющих верст», и которым она постоянно писала, но по доброй воле отвечала ей только Муся, знавшая бабушку, любившая ее и тосковавшая по ней...

«Сегодня день рождения Таточки, дорогая Катя, как я помню этот день, мой приезд в Питер, и как я попала как раз к ее первому крику. Как мало времени, как много перемен!..

Получила сегодня большое письмо из Циндао от Муси. Она замечательный маленький философ и все больна, бедняжка!» (1932 год).

«Лучшие пожелания ко дню рождения, дорогая моя Катя! Храни тебя Господь, и да будет это новолетие счастливее прошлого! Я бы хотела, чтобы вы с Иосифом Сергеевичем разъехались в разные города, чтобы он не мозолил глаза своей упитанной бездеятельностью, всегда за чужой спиной. У нас здесь много разошедшихся браков, но все мужья платят на содержание детей, это строго взыскивается... Я была у обедни в Страстную субботу, но к заутрене идти побоялась, хотя так люблю шумную, радостную ночь, когда толпа со свечами тесно окружает церковь, так красиво мелькают дрожащие огоньки, так все глаза устремлены к паперти, где покажется крестный ход...» (1931 год).

Сквозь эти тысячи резделяющих верст бабушка делала попытки учить нас иностранным языкам, — разбирая ее письма, я вижу, что часть их написана по-английски и несколько по-французски... Бабушке необходимо было быть в курсе нашей жизни, наших интересов, и это ей удавалось, благодаря моей матери. Мы же с сестрой не писали. Мы отписывались. Больно и стыдно сегодня читать мне бабушкино письмо, адресованное нам с сестрой и написанное по-французски. Вот оно в переводе:

«Последнее письмо из Харбина я получила очень давно, хотелось бы знать: по вине почты или по вашей? Я знаю,

мои дорогие внучки, что вы обе очень заняты, но, мне кажется, открытка не отняла бы у вас много времени, а бабушку бы — успокоила. А ведь я все лето не видела ваших почерков! Надеюсь, ваша летняя поездка в Барим была удачной. Очень огорчена тем, что ваша мама не смогла уехать из города, чтобы отдохнуть от пыли и шума. Куда же вы переехали из школы? Много думаю о вас, так хочется, чтобы работа, которую вы будете делать, была бы вам по душе, чтобы вы стремились в ней к совершенству, находили бы радость. Вот Катюша поговаривает о химии, как о специальности, не знаю, насколько это привлекательно, но во всяком случае очень полезно и в большом требовании теперь...» (1934 год).

Ее постоянно тревожило наше будущее... Вот выдержка из письма, адресованного моей матери:

«И все я думаю о тебе, о девочках... Какое лишение именно для растущих ныне не иметь родины, как неизбежно это приводит если не к трагедии, то к поверхностно-циничному отношению к жизни. Ведь юному существу так трудно, минуя родину, связать свою судьбу с мировым целым! У нас теперь каждый из подрастающих видит в личном своем достижении, в полноте своих осуществленных сил вместе с тем служение родине. Как пустынна жизнь без этой здоровой связи с таким конкретным, как родная страна!» (1932 год).

В июле 1948 года, через двенадцать лет после кончины бабушки, я вошла в ту комнату, где Ольга Александровна провела последние годы своей жизни. Комната при кухне, длинная и узкая, с высоким петербургским окном, выходившим на запад, на крыши домов, на Суворовский проспект, по-летнему пустынный. Вот здесь, за этим столом, бабушка писала нам свои письма... Впрочем, тогда я их еще толком не читала, в них не вникла, это было у меня впереди...

В те июльские дни я познакомилась с Димой и Катей, которых прежде знала лишь по фотографиям, и с двоюродным братом Юрием, которого почти не помнила. Вот Алека, приезжавшего к нам в Харбин, я хорошо помнила. Но Алека не было.

* * *

Семья распалась летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, когда бабушка Ольга Александровна с дочерьми и внуками жила на даче под Самарой. Туда однажды явился мой отец и увез свою семью на восток. Незадолго до кончины бабушка писала моей матери: «Я люблю вспоминать Наталочку, когда мы жили на даче под Самарой и ходили гулять на широкое поле аэродрома, и она по простору зеленого луга катилась, как белая пушинка, как давно это было! Рада, что могла посмотреть на девочек в 1925 году! Скажи им, что бабушка много мысленно с ними и ценит всякую весточку...»

В моей же памяти от того грозного, переломного, насыщенного событиями лета остались только груши, только нянины попреки: опять вся измазалась, не напасешься, да разве это отстираешь, и господи боже мой! Видимо, был хороший урожай груш, мы их ели, их соком пачкались. Восемнадцатый год! Создание Красной Армии, угроза интервенции, начало гражданской войны, восстание в Ярославле, убийство Мирбаха, последние дни царской семьи, убийство Урицкого. А в моей памяти кроме няниных попреков да дурацких груш — ничего!

В том восемнадцатом году мать рассталась со своей семьей, чтобы, вернувшись через тридцать семь лет, застать в живых лишь младшего брата и сестру.

От следующего лета в колчаковском Омске уцелели уже какие-то картинки, без особой, впрочем, между собой связи, то, как я впервые прочитала на вывеске слово «аптека» и впервые услыхала слово «взаймы». (Няня: «Пойди к соседям, попроси взаймы четыре картофелины». Я пошла, вернулась: «Не дали!» — «А ты сказала: «взаймы»?» — «Не сказала». Господи боже мой! Няня отправилась к соседям сама, вернулась с картофелинами, и я решила, что «взаймы» — волшебное, двериотпирающее слово...) При звуке фамилии «Трубочкин» (где-то я услыхала ее!) сразу возникло пред-

ставление о трубочках с кремом, и я ужасно жалела, что не нашей семье принадлежит это прекрасное имя...

Воистину — счастливая, невозвратимая пора детства! ТАКОЕ делалось кругом, а в моей памяти груши, да картофелины, да аптека, да слово «взаймы», да «сладкая» фамилия... Впрочем, как горела свеча, и стучали в дверь, и возникла на пороге чужая дама и измеряла маме температуру, а на стене шевелилась огромная тень, и потом маму одевали и увозили, а я орала и рвалась за ней — это помню ясно.

Мы уехали, а бабушка с другими внуками и дочерью остались в Самаре. Что с ними было дальше? Об этом расскажет Муся. Дело в том, что, разбирая материнский архив, я наткнулась на небольшой черный альбом с медной застежкой, внутри — исписанные карандашом страницы. Почерк был мне знаком, я силилась вспомнить — чей? — не смогла, стала читать. Оказалось: дневник Муси и начатые ею воспоминания детства.

«Я часто ходила с бабушкой на базар. Одна баба говорила другой: «Ты что, родимая, картошку по тысяче продаешь, нешто бога не боязно?» А другая отвечала: «Погодь, погодь, скоро три тысячи будет!» Бабушка прятала хлеб в шкаф, а я воровала и не оставляла никому ни корочки... Мы уехали из Самары в Москву, к дяде Павлу. В теплушке ехали бабушка, дядя, тетя, я, собака и корова. От Самары до Москвы ехали два месяца. Прицепят, бывало, к нашему товарному поезду паровозы с одной и с другой стороны, чтобы знать, какой сильнее. Такой грохот поднимался, такие толчки, что мы все падали на пол, а корова мычала на весь поезд. Или отцепят нас от состава совсем и увезут на запасный путь, и там мы стоим неделю, пока опять не прицепят... В Москве бабушка, дядя Павел и я жили в комнате с маленькой печуркой, на которой готовили обед, когда он был. Хороши были те вечера, когда бабушка брала меня куда-нибудь с собою. Огни, витрины магазинов, большие дома, гремящие трамваи, звон колоколов... На Покров надели на меня коричневое платье, старые сапоги, длинную шубу, повязали бабушкиным

шарфом и повезли в приют. Там какие-то женщины раздели меня и посадили в ванну, в которой купалось еще несколько детей. Потом нарядили меня в длинное, деревенское платье. Бабушка, просидев со мной часов до десяти, ушла, перекрестив меня, надев на шею медную иконку, которая у меня до сих пор. В слезах я заснула. Проснулась в больнице. Фельдшерица обходила больных и мерила температуру. У меня оказалось 40 градусов. По ошибке меня положили в заразный барак. Но через месяц я была здорова, и меня перевели в приют на Воробьевых горах. В приюте было голодно, дети ходили бледные, многие падали в обморок. Бабушку я не видела два месяца: она не знала, куда меня перевели, и все меня искала. Потом мы с бабушкой уехали в деревню, к тете Маре».

(Мусина и моя тетка Марья Дмитриевна в 18-летнем возрасте влюбилась в крестьянского сына и сошлась с ним. По тем временам происшествие было скандальное. В дневниках матери я нахожу слова «история с Марой» — и никаких подробностей. По рассказам знаю, что бабушка Ольга Александровна отнеслась к случившемуся с ей свойственной мудростью: никаких упреков, никаких слов, которыми все равно ничему уже не поможешь и ничего не изменишь... Лишних слов бабушка вообще произносить не любила, называя их «бессмысленным сотрясением воздуха». Она, прежде всего, обвенчала молодую пару, а затем, когда у них в 1910 году родился сын Юрий, отправила их в Америку учиться сельскохозяйственным наукам. Тетя Мара и ее муж Василий Андреевич пробыли в США года, кажется, три, а Юра оставался в России, на попечении бабушки. Затем вернулись и стали жить и вести хозяйство в маленьком бабушкином имении Холмы...

В то время, когда бабушка привезла Мусю к тете Маре, она с мужем и сыном жила в деревне, в крестьянской избе, имений больше не существовало.)

«Зимняя лунная ночь. Медленно шли мы с бабушкой по снежному полю. Мы только что слезли с поезда, который не доходил до деревни. Вещи оставили на вокзале, за ними по-

том ездил дядя Вася. Вдали показались огоньки, потом мы увидели гумна, амбары, занесенные снегом. Околица. Старый плетень. Залаяла собака, застучали крючки и запоры. Тетя Мара очень обрадовалась, увидев мать. Мой двоюродный брат Юра поцеловал меня и крепко ущипнул за руку. Дядя Вася поднял меня наверх, потрепал добродушно за уши и опустил на пол. Потом мы легли спать. Конец зимы и лето пролетели незаметно, а в августе тетя Мара и бабушка уехали в Петроград. Меня оставили в деревне. Дядя Вася, Юра и я переехали на фабрику[1], где школа, куда тетю Мару назначили заведущей. В нашем доме было четыре небольших комнаты и стеклянная веранда, которая выходила в поле. Из окон был виден лиственный лес, уже начинавший желтеть. Недалеко было магометанское кладбище без крестов, с причудливыми плитами. А если пойдешь в другую сторону, там тоже лес, а на горе стоит дом, совсем развалившийся и старый. В этом доме жила когда-то вся папина семья Воейковых, а теперь он стоит дряхлый, молчаливый. Кругом него мрак и беспорядок, будто здесь стоит гроб, который не опустили в землю. Я ходила смотреть на этот дом, и все мне чудились чьи-то голоса и музыка, а под ногами шелестели опавшие листья, и я понимала, что ничего этого нет, а может быть, никогда и не было...

Бежишь вниз по тропинке от этого мрака и тишины, и вот опушка леса, и овраг, и показывался куст желтой розы, плетень и большой старый сад. Так я любила этот сад! Ветхая избушка сторожа, огромные яблони, красные сладкие арбузы, желтые, душистые дыни. За садом — пруд, наполовину заросший камышами. По вечерам оттуда слышалось кваканье лягушек. Это мои самые лучшие в жизни воспоминания.

В начале сентября вернулась тетя Мара и привезла с собой моего брата Алека. Сначала я его дичилась, а потом очень полюбила, он всегда за меня заступался, когда мы дра-

---

[1] Суконная фабрика в Самайкине, которую мой дед Д. И. Воейков продал купцу Акчурину.

лись с Юркой. Мальчики поселились в шалаше, чтобы караулить сад, домой приходили только, чтобы переодеться и взять хлеба. Я часто к ним ходила, мы уплетали арбузы и дыни. Иногда мальчики мазали меня арбузными корками и выгоняли из шалаша. А иногда мы сидели дружно и разговаривали, и потом братья провожали меня домой. В конце осени Алек уехал, стало пусто и скучно. В школе начались занятия. Листья опали, пошли дожди, лес стоял хмурый. Оттуда слышался вой волков и свист ветра. Иногда я и Юрка, иадев валенки и шубы, шли в лес, чтобы срубить дерево. Юра заставлял меня держать его, а сам, взмахнув топором, рубил под самый корень. Слышался стон и шелест веток, когда птица перелетала на другую ветку, а потом опять тишина. В лунные ночи тетя Мара брала меня и Юру кататься на санках с горы. Усевшись на маленькие, узкие санки втроем мы мчались прямо на пруд, иногда дорогой кто-нибудь падал, мы летели кубарем, а на душе было весело и светло. Потом наступило лето, а осенью меня увезли в деревню Томышево, к Юриной бабушке Давыдовне, и отдали в деревенскую школу. Длинные зимние вечера, за окном метель, мы с Давыдовной сидим в натопленной избе с керосиновой лампой. Давыдовна пряла, а я читала и делала уроки. А в трубе выл ветер, будто просился в комнату. В Рождественский пост Давыдовна не давала скоромного, а когда я хныкала и не хотела есть постное, она доставала кринку молока, краюху хлеба и говорила: «На, ешь, холера, прости меня господи!» Я ела и болтала ногами, а Давыдовна все ворчала: «Вот те язык отрежут, басурманка!»

На Страстной уже стаял снег, зазеленела трава, прилетели скворцы, запели жаворонки. С деревенскими девушками я ходила в церковь говеть. Перед исповедью я встала перед Давыдовной на колени и просила прощенья. Она учила меня, что говорить батюшке: «Коли спросит — грешна? Так и бай: грешна, батюшка, грешна, да гляди не соври, слышишь, чего баю?» В тишине церкви, в старых иконах было что-то торжественное и великое. Никогда не забуду этой первой испо-

веди и чувства, которое я после нее испытала. Сколько раз потом я была у исповеди, но это чувство не возвращалось, и никогда потом жизнь не казалась мне такой радостной и легкой. Летом я ходила на гумно смотреть, как молотили бабы. Когда заходило солнце, я стояла у ворот и ждала, когда пастухи пригонят стадо. Потом, загнав корову и овец в хлев, сидела на крыльце. Подоив корову, мы с Давыдовной пили парное молоко с черным хлебом.

Прошла еще одна зима, и ранней весной приехала тетя Мара и сказала, что я еду к папе в Китай. Приходили бабы, говорили: «Она там в золотых сапогах ходить будет да белые калачи есть, вот те счастье сиротское на голову валится!» Тетя Мара ехала со мной в Петроград. Подали тарантас, положили вещи, стали прощаться с дядей Васей и Юрой. Ехали медленно, вброд переехали речку. На востоке показалось зарево, оно разгоралось все больше и больше. Кучер сказал сердито: «Горит где-то!» Я прижалась к тете. На душе была тревога, тоска, было жаль чего-то невозвратимого. В Петроград мы приехали в серый весенний день. Воздух, талый снег, огромные дома — все было серое, мокрое, но приятное. Вошли мы на седьмой этаж, где жили бабушка, дядя Дмитрий с женой тетей Алиной и маленькой дочкой Катюшей. Я полюбила их. Вечером мы все собирались в гостиной, и тетя Алина садилась за рояль. Я, слушая, думала о своей матери, которую не помнила, мне так хотелось, чтобы она была рядом. Ложась спать, я плакала, и тетя Алина приходила утешать меня. В Петрограде я вновь встретила своего брата Алека и его мать тетю Надю. Иногда я целую неделю у них гостила. Тетя Надя была удивительный человек. В большой комнате, посадив меня на диван, она читала мне сказки или учила делать гоголь-моголь. Мне казалось, что от нее пахнет интересными историями и чем-то мягким, приятным, чего я не находила в других людях. Алек таскал меня на плечах, учил танцевать вальс и польку или водил меня по городу и рассказывал историю Петрограда.

Приготовления к Пасхе, в квартире пахнет вкусным. Мы с

бабушкой и Катюшей ходили в магазины покупать сахарные яички. Их нельзя есть, но они такие красивые — синие, зеленые, с ленточками, звездочками. Дома мы с Катюшей лизали кастрюли и ложки, нюхали испеченные печенья. На Страстной бабушка часто ходила в церковь. Я помню ее лицо, когда она, оперпись на свою палочку, молилась Богу. Слезы медленно катились по щекам и капали на пол, а в глазах было столько веры, столько твердой, несокрушимой веры... Я тогда была совсем девчонка, мне еще десяти лет не исполнилось, я не понимала бабушку, не понимала ее жизни, ее веры, ее доброты, ее любви к людям...»

На этом обрываются Мусины воспоминания детства, так ею и не оконченные.

Ранней осенью 1924 года Муся с бабушкой и Алеком приехали в Харбин. С Мусей я тогда едва успела познакомиться, дядя Шура сразу увез детей к себе, на станцию Эхо. Муся была худенькая, мрачная, взгляд исподлобья, но, вероятно, уже тогда хорошенькая — позже она стала настоящей красоткой. Мы подружились с ней следующим летом, когда бабушка, моя мать и мы с сестрой жили в Эхо. Муся была тихой девочкой из задумывающихся, я же — громкой, непоседливой, чрезмерно живой, однако мы привязались друг к другу. Она была куда меня умнее, развитее, взрослее. Возрастная разница между нами так ничтожна, что ее и нет почти, не в этой разнице дело, а, видимо, в Мусином жизненном опыте... Когда следующей осенью бабушка и Алек уехали обратно в Россию, нас с Ольгой вновь перевели в нашу «детскую» и поставили туда третью кровать для Муси. В Эхо не было средней школы, поэтому Муся и не могла жить у отца круглый год. Но с нами она провела всего, кажется, две зимы. Врач нашел у нее туберкулезные палочки, мать испугалась, что мы с Гулей можем заразиться. Дядя Шура, наезжавший в Харбин из Эхо, снимал в Модягоу комнату у двух старушек, там, под их присмотром, стала жить Муся.

Эту девочку в который уже раз за ее короткую жизнь отрывали от тех, к кому она едва успевала привыкнуть, при-

бязаться, увозили, перемещали, ставили в новые условия... Много лет спустя я прочитала в ее дневнике: «Ни детства нормального, ни отрочества у меня не было. Как собаку, не имеющую хозяина, меня передавали из рук в руки...»

Муся поступила в харбинскую гимназию «имени Достоевского». Кое-как с переэкзаменовками переходила из класса в класс. Убеждена, что начитанностью и развитостью Муся превосходила многих своих сверстниц. А вот училась — плохо.

Я вижу ее в форменном коричневом платье с черным передником. Прямой пробор темных волос, косы уложены на ушах корзиночками, бледная, грустно-серьезная, сероглазая, очень хорошенькая. В нашей школе когда звенел звонок на переменку, мы вырывались наружу, как пробки из шипучего вина, бегали, скакали, орали, лишь в последних классах остепенились. А вообразить Мусю бегающей, скачущей и орущей — невозможно. Легко вообразить ее на уроке: сидит, глядит в одну точку, упорно думает о чем-то своем, постороннем, и учитель, заметив этот отсутствующий взгляд, произносит: «Воейкова!» Она не слышит. Ее толкает соседка по парте. Муся встает. «О чем я сейчас рассказывал?» — спрашивает учитель. Муся молчит. Ей ставят в журнале двойку.

Уже в те отроческие годы ее беспокоили вопросы о смысле жизни, о старости, о смерти, о том, что такое счастье... Эта погруженность в себя мешала учиться. И тлевшая в ней болезнь — тоже мешала.

В переходном возрасте почти все дурнеют. Я, например, была особенно дурна: длинная, нескладная, в веснушках, и вечно я что-то роняла, разбивала, натыкалась на мебель... Возглас матери: «Из тебя даже горничной хорошей не выйдет!» И мой оскорбленный ответ, что я в горничные не готовлюсь... А Муся и в этом невыгодном возрасте ухитрялась быть и хорошенькой, и грациозной. В нее влюблялись одноклассники, старшеклассники и даже студенты. Писали записки, назначали свидания, провожали после школы домой. Все это тоже отвлекало от учения. К тому же один из старшеклассников, музыкант школьного оркестра (звали его Алек-

сей, и, кажется, он играл на виолончели), пользовался Мусиной взаимностью. Влюбленные встречались в харбинском питомнике, сидели на скамейке, держась за руки. Летом пришлось расстаться, Муся уехала к отцу на станцию Эхо, Алексей остался в Харбине. Переписывались. Если писем долго не было, Муся сама бегала на почту, возвращалась оттуда бледная, погружалась в себя, от всего отключалась. Было лето, парк, широкая река, свобода от школьных занятий, и всем нам так мало лет! «Муся! Идем купаться!»... «Муся! В пятнашки!» — «Не хочется». В сумерках она сидела над рекой, обхватив руками колени, и все думала, и все думала...

О чем они писали друг другу — четырнадцатилетняя девочка и семнадцатилетний мальчик? Клялись в вечной любви? Спрашивали друг друга, что такое счастье, как нужно жить и есть ли бог? Муся-то, я уверена, именно такое и писала, а насчет Алексея — не знаю. Я видела его не больше двух раз. Высокий, худой, очень блондинистый — брови и ресницы белые. Мне он показался и некрасивым, и незначительным, я удивлялась про себя, каким образом он мог внушить Мусе столь сильное чувство.

Близких подруг у нее не было. Кроме меня. Но я не была ей ровней — на волнующие Мусю вопросы со мной в те годы побеседовать было нельзя. Я нуждалась в ком-то, кому могла изливать душу и просить советов, — тут Муся была неоценима. Ее же привлекали во мне веселость нрава, легкомыслие, мне удавалось и рассмешить Мусю, и в игру вовлечь — вернуть ее, короче говоря, к своему возрасту. Но ведь и ей требовалось изливать душу, искать с кем-то вместе ответы на волнующие ее вопросы, и, быть может, Алексей показался ей наиболее развитым из ее поклонников. Убеждена, что Муся наградила его множеством придуманных достоинств. А для него эта хорошенькая серьезная девочка оказалась не в подъем. Рассуждай с ней о высоких материях и держи ухо востро: скажешь не так или попробуешь отделаться шуткой — в серых глазах удивление и упрек. И письма она пишет длинные-длинные! Тут и описа-

ние природы, и мысли, и рассуждения о том, что любовь — это талант, а талант дается не каждому... Отвечать тоже приходится длинно и на уровне. Школьные сочинения — и то легче писать!

Это лишь мои догадки, но думаю, именно так и было, именно этим «не в подъем» объясняется отсутствие писем от Алексея следующим летом. Быть может, нашел себе кого-нибудь попроще... Муся страдала и уж совсем перестала есть — аппетит у нее вообще был скверный. И тогдашняя жена дяди Шуры Вера Федоровна, всегда ходившая в старых блузках и залатанных свитерах, восклицала: «Опять ни черта не ест! Александр Дмитриевич! Спуститесь с вершин, вспомните о нас, простых смертных! Ваша дочь не притронулась к супу!» Дядя Шура, на обеде присутствовавший, но как бы не присутствовавший, моргал, стараясь усвоить, ЧТО ему сказали, усваивал и начинал вяло пилить дочь: «Надо есть... врач велел... Ну через «не могу»... Ну хоть несколько ложек...»

Я тем временем была влюблена в студента, с которым познакомилась на даче своей школьной подруги. Любовь была совершенно безответной. По примеру Муси я вела дневник, вписывала туда цитаты, касающиеся любви, и даже пыталась стихи сочинять. Неразделенное чувство нисколько мне, однако, не мешало есть, веселиться, шуметь на переменках и получать сниженные оценки по поведению.

Люди, которым суждено недолго жить, рано взрослеют. Времени отпущено очень мало, столько надо успеть в эти сжатые сроки! Все было уплотнено в Мусиной торопливой биографии...

«Жизнь моя какая-то неправильная, — писала она в дневнике,— я не успела побыть девочкой и быстро развилась в девушку, не успела побыть девушкой, стала замужней женщиной. Все слишком быстро, и я знаю, что это — плохо».

Весной 1930 года Мусин туберкулез обострился. Она не сдала экзаменов за шестой класс и была отправлена отцом в легочный санаторий горного курорта Ляошань. Там Муся

познакомилась с Александром Михайловичем Киселевым, владельцем аптеки из Циндао. Циндао — небольшой курортный город на берегу Желтого моря — когда-то немецкая концессия в Китае. Мусе едва исполнилось шестнадцать лет, Киселеву было тогда около тридцати. Я никогда не видела Киселева, не знаю, почему он был совершенно одинок, каким образом досталась ему в собственность аптека.

Фотография в семейном альбоме: Муся и Киселев, только что поженившиеся. Темные, глубоко посаженные, пристальные глаза, прямые брови, тонкие губы — что-то в этом человеке незначительное, болезненное, внушающее жалость. Рядом — Мусино прелестное лицо. Снимок сделан в фотографии, куда обычно молодые заезжают после венчания. Жених, как водится, в черном костюме при белом галстуке бабочкой, невеста в фате, и цветы в руках. А выражение лиц — необычное. Тоска в Мусиных глазах, невесел и ее муж. Будто оба знали, что ничем хорошим все это не кончится...

Свадьба была осенью 1930 года. Той осенью Мусе предстояло сдавать экзамены, чтобы перейти в последний, седьмой класс. А ей так не хотелось! Ее б не принуждать. Ее бы снова отправить в легочный санаторий — дядя Шура уже лишился опытного поля в Эхо, занимался питомником в Сяолине, но жить и содержать дочь — было на что. Но всем, включая мою мать, казалось, что перед Мусей альтернатива: либо экзамены, либо замужество. Дядя Шура беседовал с дочерью на тему: если нет желания учиться, а встретился хороший человек — ну что ж! Быть женой и хозяйкой — доля почетная. Полагаю, что моя мать во все это как следует не вникла, спохватилась позже, а тогда ей было не до Муси.

Год как ушел отец, мы доживали последние месяцы в нашей квартире на Гиринской улице, новая жена отца требовала церковного венчания, и тем летом шли переговоры о разводе. Требовалось доказать вину одного из супругов, отец не желал брать ответственности на себя, предпочитая виноватить бывшую жену, — короче говоря, много было

тогда у матери унизительной суетни. Ей удалось отправить нас с Ольгой на месяц к друзьям в горное местечко Маоэршань. В наше отсутствие приезжала Муся советоваться с отцом и вновь уехала — выходить замуж. Дяде Шуре следовало, конечно, самому съездить в Циндао, но он не мог оторваться от своих ботанических дел! Лишь справки были наведены через каких-то знакомых, каждое лето отдыхавших в Циндао. Выяснено: Киселев человек порядочный, обеспеченный, имеет квартиру над аптекой...

Мусе должно было казаться (и казалось!), что никому, в сущности, дела до нее нет, всем она в тягость, и лишь только подвернулся человек, согласившийся взять на себя заботы о ней, как ее радостно ему спихивают. Сплавили. Отделались. Умыли руки.

Это позже моя мать опомнилась, это позже она говорила брату: «Но как ты мог? Ты обязан был хотя бы поехать туда, обязан был познакомиться с Киселевым! А главное: зачем было торопиться? Чепуха какая-то! Она же его не любит, это даже по фотографии видно! Бедная девочка!»

Мать сознавала свою вину перед Мусей, о вине этой помнила всегда, не потому ли всю жизнь хранила черную, карандашом исписанную тетрадь с медной застежкой, дневник «бедной девочки»?

Как очутился он у матери? Не знаю. Думаю, что после смерти Муси Киселев отправил дяде Шуре ее письма и тетради. Быть может, мать когда-то увидела на столе брата среди сухих растений, бумаг и лужи от пролитого чая — эту тетрадь. Выяснила, что Александр Дмитриевич не знает, что с этой тетрадью делать, и взяла себе. И хранила до смерти. Как память о Мусе. Как упрек себе.

Но ни одного прямого упрека по адресу дяди Шуры или моей матери в тетради нет. За исключением вот этих строк:

«Часто вижу во сне, как укор, что я не кончила школу... Все вспоминаю осень тридцатого года. Весной я не сдала экзамены, надо было их сдавать осенью, а мне так не хотелось! Но почему папа, почему тетя Катя не заставили меня?

Конечно, все можно свалить на то, что я — больна, а значит, жизнь моя только и годится на то, чтобы выйти замуж и бездельничать. А меня гнетет, меня давит безделье. Учиться хочется. Что-то делать полезное хочется!»

Вот другие отрывки из дневника Муси.

ГОД ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

16 октября. Снова хочу писать дневник. Но из этого, видимо, ничего не выйдет. Вот сейчас в комнату вошел муж. Я понимаю, что он должен знать обо мне все. Но у каждого человека есть такой уголок души, куда он не хочет никого пускать. Но даже не в этом дело, потому что: ну, о чем мне писать? О том, что у нас с утра до вечера играет виктрола [1], о том, что торговля в аптеке плохая, о том, что я постоянно грызусь с Шурой, о том, что пустота ужасная, и все серо, и ровно ничего не происходит! Боже! Вот уже первые шаги в жизни сделаны, сделаны глупо, ненужно, и кто в этом виноват? Я раньше говорила, что человек сам своей жизни кузнец. А теперь? Через несколько лет я буду настоящей «тетей», буду бегать, разносить сплетни, если буду здорова — нарожу детей, растолстею. Стоит ли жить для этого? Никаких желаний не осталось, никакой мечты. Впрочем, нет. Я хотела бы быть самостоятельной, зарабатывать деньги, это ужасно — за каждым грошом тянуться к мужу...

24 октября. Получила письмо от Алексея. Для чего? Зачем? И сразу столько воспоминаний. Костюмированный вечер в школе, духовой оркестр, вальс, холодная зимняя ночь, скользкий тротуар, опера «Фауст», санки, четвертый класс, питомник, неумелое пожатие руки, вымазанной чернилами, огромные послания, кино... А потом — то лето. Как я мучилась, как ждала письма, как молилась и плакала. Теперь я замужем, хоть мне так мало лет, но я взрослая женщина, и вот вдруг — письмо. И на душе смятение.

---

[1] Патефон.

1 ноября. Жить можно только тогда, когда есть твердый фундамент, здоровое начало. А у меня ничего: ни здоровья, ни знаний, ни таланта — ничего. Часто думаю: возможна ли любовь в браке? По-моему, нет, невозможна. Дружба, привязанность, уважение, что угодно, но не любовь. Любовь такое хрупкое чувство, оно бьется от ежедневных прикосновений. Безусловно, до свадьбы или недолго после нее бывает любовь, но в том-то и штука — определить момент, когда она переходит в привязанность, в дружбу. Если супруги смогут привязаться друг к другу, уважать друг друга — то брак счастлив, а если нет — происходят разные недоразумения. Если мы с Шурой теперь сумеем подружиться — все будет хорошо. У нас обоих неважные характеры. Шура — хороший человек, заботится обо мне, но у него нет легкости, мягкости, нежности. Я так одинока, я, естественно, тянусь к нему, а он не понимает, чуткости ему не хватает. Папа и бабушка редко мне пишут. И Тата не пишет... Облетели листья, но осень еще не ощущается, а зимы настоящей здесь не будет. Я же так люблю зиму, холод, когда воет ветер и хлопья снега стукают о стекла окон...

15 ноября. Накопилось множество мыслей, я бы хотела их высказать, но некому, и они умрут. Вчера пришло письмо от бабушки. Это ужасно, что я никогда ее не увижу, ведь ей 72 года! Бабушка удивительный человек. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь дурно о ней отозвался. Она всем помогает, для всех находит утешение, и так добра, и так мудра! ...Недавно мы с Шурой праздновали годовщину нашей свадьбы. Семнадцать лет мне, и уже год, как я замужем!

4 декабря. Никто не пишет, забыли! А иногда такая тоска о бабушке, о папе, о Тате, обо всех... Самое главное в жизни — научиться молчать, закусить губы и молчать. Сгонять чувства на дно души. Ведь никому, в сущности, дела нет до того, что ты чувствуешь. У тысяч людей чувства посильнее, посерьезнее моих, но они молчат.

20 января. Вчера было Крещение, но у нас не было праздника. Рождества тоже не было. Я плохая хозяйка, не умею создать дома уют, праздничное настроение. Шура, как и я, вырос без матери, вырос не дома, у него тоже нет традиций, ничего такого теплого, уютного, родного... Я часто вижу во сне, что еду в путешествие и не захватила нужных вещей. Это связано с моим чувством, что я пошла в жизнь и не взяла с собой того, что требуется. Ни нормального детства, ни нормального отрочества не было у меня... Если собака переходит из рук в руки, она никого не слушается и глупеет. Человек тоже. У меня нет ничего, заимствованного от одного человека, все от разных! А теперь я ничего не могу заимствовать от Шуры. Я понимаю, что ему самому надо откуда-то брать, а не давать. У него и у меня — пусто. Поэтому-то у нас нет праздников, нет в доме уюта, хотя мы оба этого хотим.

1 февраля. Сегодня почему-то вспоминается Эхо, мое последнее лето там. Я приехала в мае. Цвели яблони, жасмин, сирень и миндаль. Мое любимое местечко было у оврага, где стекала вода с огорода. Хорошо было сидеть на досках и думать. Папин дом какой-то таинственный, в нем столько уголков, куда никто не заглядывал... Вспоминаю свои молитвы, свои просьбы Богу о письме. Прогулки за версту на почту — я не верила почтальону. Много писем высыпали из мешка на пол, и все другим, все не мне... Помню прогулки по сопкам, пионы, красные лилии в коричневых крапинках. И свой отъезд помню. Накануне я прощалась с Эхо. Была луна. Бродила по огороду около оврага. Кричали лягушки, пахло сыростью. Ледник, забор, кусты смородины, далекий вид речки, сопки, и все залито луной. Помню дорогу к вокзалу через парк... А осенью 1924 года, папа, Алек и я в плохоньком платье шли по тому же самому парку, шли от вокзала, и я не знала, куда парк ведет... Тогда мы с Алеком приехали к папе. Всего семь с половиной лет назад, а кажется — целая

жизнь! Раньше я писала матери Алека, тете Наде, все спрашивая ее: что, что такое счастье? Теперь понимаю, что нет такого счастья с цветом, с весом, с запахом. А есть люди, которые умеют или не умеют воспринимать счастье... Написала папе, что я — плохая жена. Носки не штопаю, кашу не варю, сижу сложа руки и все думаю, думаю...

26 марта. Наконец-то получила письмо от Таточки! Она так редко мне пишет теперь. И письмо скучное. Раньше она была теплая, светлая девочка, я всегда к ней прибегала, когда мне бывало тяжело и грустно. С ней рядом становилось веселее, легче. Такие мы с ней разные, а вместе нам бывало хорошо. Теперь она стала взрослой, сухой. Или — другое. Мы давно не виделись, у нее своя жизнь, свои интересы, и ей просто скучно писать мне...

13 апреля. Мне восемнадцать лет! Вчера была в церкви, а молиться — не могу! Раньше со слезами стояла перед иконой Божьей матери, и так ясно, так хорошо становилось на душе. А нынче лезут всякие мысли, и ничего светлого не нахожу в себе. Скверная я стала. Быть может, люди с годами черствеют? Нет! Моя бабушка всегда умела молиться. Она не хотела здесь с нами жить. Папа и тетя Катя так умоляли ее остаться, не уезжать. Она говорила, что ей нравится Эхо, и дом, и парк, но я-то знала, что ей плохо. Спросила ее как-то: «А Таврический сад лучше, да?» Она ответила: «Я там, Муся, всю жизнь прожила». Она хотела домой. Они умоляли ее, а она говорила: «Я там нужнее». Когда она уехала, я даже плакать не могла. Сидела и сидела, уставясь в одну точку. Нет, все мои горести, все мои беды— все чепуха по сравнению с вечной неутихающей тоской по бабушке, по России.

22 апреля. Скоро Пасха. Самое безжалостное, что есть в жизни, это время. Оно идет. Будь ты счастлива, несчастлива — ему дела нет. Оно идет и идет. И уносит твою жизнь, твою бесполезную жизнь. Идущую без толку жизнь. Шура хороший человек, но мы такие разные! Например, я читаю Мережковского «Микель Анджело», мне хочется поговорить об

этой книге, а Шура даже не знает, кто такой Микель Анджело. Надо, чтобы женщина сознавала, что человек, которого она любит, выше, умнее ее и старалась бы до него дотянуться. Иначе — плохо.

1 сентября. Господи, помоги мне! Качусь куда-то вниз, не за что зацепиться. С ужасом думаю о наступлении нашей сырой зимы. Шура будет ходить из угла в угол, вздыхать, сидеть у печи, а я читать книгу за книгой, до головной боли. Будет выть ветер, сырость, тоска. Часто вспоминаю Сяолин, папин старый дом в лесу, там осень, пахнет прелым листом. Небо бледно-голубое, прозрачное, и тишина, тишина кругом. А тут сумерки. В аптеке играет виктрола. На дворе за окном плачет китайчонок. Папа мой любил сумерки. Сидел и думал о чем-то. Иногда я садилась к нему на колени, прижималась к чуть колючей щеке. Так хочется провести рукой по его мягким, седым волосам.

23 сентября. Ужасно наблюдать наступление осени. Видеть пустеющие улицы, голый пляж, закрытые кафе, идет зима с однообразными пустыми днями. По улицам будет гулять ветер, забираться в щели, выть, стонать в трубе. Я устала. Я ужасно устала. Быть может, потому, что физически чувствую себя очень скверно. Буду ли я здоровой, принесу ли хоть кому-нибудь пользу? Апатия. Пустота.

ГОД ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

29 января. А иногда вот так, как сегодня, когда радостно светит солнце и колокола в кирке звенят нежным серебряным звоном,— мне ужасно хочется жить. И неприятные мелочи жизни, и моя болезнь — все кажется преодолимым. Нет, я хочу быть здоровой, хочу!

2 апреля. Лежу в постели, болит бок. Нет, я знаю, моя болезнь не оставит меня. Я скоро умру. Но раньше, когда я себя плохо чувствовала, я хотела умереть, а теперь я жить хочу, и это ужасно... Меня берет тоска, когда я думаю о папе. Он потерял свой любимый питомник в Сяолине, потерял

службу. И теперь, когда ушла от него Вера Федоровна, он совсем один. Кто заботится о нем? Бедный мой папа! Как сурова жизнь к такому умному, глубокому человеку. И ведь он столько всего знает, столько знает, так неужели это никому не нужно?

26 мая. Пасха прошла хорошо, а потом я снова заболела. Боль в груди, задыхания. Я увидела, что смерть близка, а во мне все кричало: я жить, я жить хочу! Потом начала выздоравливать. Лежала в кресле, вокруг хорошо, весна, ландыши, акации, небо голубое, птицы поют, и такая была радость, что я живу, дышу, все это вижу! Весна, девятнадцать лет и знать, что ты умираешь! Господи, на все твоя воля, дай мне силы примириться с этим!

ГОД ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

15 февраля. Старость это не морщины, не седые волосы. Старость — это равнодушие. Мне девятнадцать лет, но я вижу, как во мне все умирает. Совсем недавно еще хотелось выздороветь, бегать, смеяться, танцевать. Недавно еще был бунт: как же так, умереть в девятнадцать лет?! А сейчас все безразлично. Во мне уже наполовину нет жизни.

24 февраля. Неужели я не умерла от голода в Самаре, от тифа в Москве только затем, чтобы умереть от чахотки в Циндао? Я ничего, ничего не сделала в жизни! Любила музыку, хотела писать, писала плохие рассказы, поняла, что я бездарность, и все-таки писала! И теперь вот — этот дневник, который веду, сама не зная зачем... Нет, нельзя умереть, ничего в жизни не сделав! Ну, хватит, хватит. Тысячи людей умирают молодыми, и мир от этого не переворачивается.

4 марта. А ведь жить, просто жить — хорошо! Смеяться, читать, слушать музыку, смотреть в окно. Сегодня такой ветер, что кажется, что он снесет дом. Дождь. Сырость. У меня опять жар.

21 марта. Иногда тоскую об Эхо так, как можно тосковать

о человеке. Вижу все закоулки парка и папиного дома, цветник, веранду, кусты смородины, дорожку около оранжереи, ведущую в овраг. Ничего этого я больше не увижу. Как не увижу Россию. Как не увижу бабушку.

29 марта. Скоро Пасха, Вербная суббота, а я не пойду в церковь. Скоро мое рождение, мне будет двадцать лет, а я все так же буду лежать в постели. Мне все хуже. Температура. Кровь горлом. Сырость, холод, неделями нет солнца. Лежу и думаю о папе, о бабушке, о моем детстве в России. Вспоминаю тетю Катю, Таточку и Гулю — хочется проститься с ними, ведь я очень скоро из жизни уйду.

25 мая. Уже цветут акации, а я все больна. Почему я не могу уйти из жизни сама? Зачем мучаюсь? Трусость? Или верю в чудо, верю, что еще поправлюсь? Не знаю. Одно знаю: я слишком много ною и хныкаю. Часто думаю: как бы поступила на моем месте бабушка? Она ведь никогда не хныкала, никогда не жаловалась. И плачущей я ее не видела. Она только в церкви плакала, когда молилась, опираясь на свою палочку...

На этом дневник обрывается. Муся скончалась двадцатого июля 1934 года, спустя почти два месяца после этой последней записи.

А мы с матерью и сестрой жили тем летом в одном из пустых классов Городской школы. Первую половину июля Ольга и я провели в Бариме, где наша подруга Женя Роджерс сняла полуразвалившийся домик. Вскоре после того, как мы вернулись в Харбин, я увидела во сне Мусю. Впрочем, не увидела, лишь услыхала ее голос, меня зовущий. Будто я бегу среди каких-то высоких домов, бегу на этот зов, но Мусю нигде не могу обнаружить. Я бы забыла об этом сне, если бы на другой день не пришла телеграмма о Мусиной кончине.

Я плакала, но сильного горя не испытывала, пустоты в моей жизни эта утрата не образовала. Я не видела Мусю че-

тыре года — большой срок для человека моих тогдашних лет — и отвыкла от нее. Единственно, что угнетало меня, это чувство вины. Я редко писала ей, я редко думала о ней. Да и всегда мы в чем-то виноваты перед своими ушедшими близкими...

А спустя два с половиной года — я уезжала в Шанхай. Пассажирские пароходы, курсирующие между Дайреном и Шанхаем, часа на три останавливались в Циндао — вот так, проездом, я побывала в этом городе. Аккуратный, чистенький, немцами построенный городок, и, кажется, черепичные крыши. За те десятилетия, что прошли с той поры, я повидала множество городов, они заслонили собой промелькнувшее Циндао — в крышах поэтому я не уверена. Лишь ощущение тоски осталось в памяти.

Зимой в курортных городах с закрытыми кафе и пустыми пляжами всегда тоскливо, я же была там именно зимой, в сырой, пасмурный, ветреный декабрьский день. Я легко нашла дом с аптекой, где жила Муся, долго глядела на него с противоположного тротуара, стараясь угадать, у какого из окон второго этажа чаще всего сидела моя покойная двоюродная сестра...

На пароходе думала: зайду, познакомлюсь с Киселевым. А тут, глядя на дом, на дверь аптеки, поняла — не зайду. А вдруг Киселев за это время женился вторично и мое появление будет совсем некстати? Да и к чему? Совестно беспокоить человека только из-за того, что мне любопытно взглянуть на него. Зайти в аптеку, притворясь покупательницей, вроде бы за аспирином? Но у Муси было полно моих фотографий, Киселев мог узнать меня...

И я топталась на другой стороне тротуара, глядя на окна второго этажа. Дом белый, ставни зеленые, а впрочем, и в этом я не уверена! Почему? Я тогда впервые рассталась с матерью и сестрой, ехала одна в Шанхай, с собой было очень мало денег, я не знала, что сулит мне завтра, будущее и пугало, и привлекало меня. И я все думала о себе и о Мусе, которую уже ничего не ждет, которой нет. Этим я была пере-

полнена, не потому ли не увидела города на берегу Желтого моря, где Муся провела последние годы жизни и где карандашом в тетрадь писала о своей тоске и о своем отчаянье.

* * *

Вспоминая ту девочку, какой была когда-то моя сестра, я прежде всего вижу серо-голубые, наполненные слезами глаза и дрожащие губы. Я ее часто обижала, о чем теперь горько сожалею, тогда же не жалела ее ни капли. Я была полна собой, своими невзгодами, мне и в голову не приходило интересоваться тем, что думает, что чувствует живущее рядом со мной существо.

В детстве я любила рассказывать ей фантастические истории. Говорила, например, что в стене над моей кроватью, где отвалился кусок штукатурки, живут крошечные человечки, карлики. Ночью, когда все спят, карлики превращают меня в такое же маленькое существо, как они сами, я иду к ним в гости и с ними пирую. Я подробно сообщала, какие там подают пирожные, конфеты и каких сортов мороженое. Разумеется, я заставляла сестру божиться, что о моих ночных отлучках и пирах она никому не скажет. Она божилась. Умоляла: «Вожжьми меня шшобой!» — она долго говорила неправильно, щипящие вместо свистящих, «р» вместо «л». Я обещала попросить карликов, затем врала, что они принять ее не могут: живут над моей кроватью, поэтому знаются только со мной. Серо-голубые глаза немедленно влажнели, я быстро добавляла, что снова буду просить карликов. Наконец умильные приставания Гули мне надоели, я сообщила однажды, что карлики переехали. Увидев, что сестра сейчас заревет, добавила: «Они в нашем садике закопали клад». Не помню, что именно я врала о содержании клада, помню лишь, что среди перечисленных мною предметов была шкатулка из зеленого, синего и красного стекла. Потом меня все-таки несколько тревожила совесть, когда я видела, как сестра моя, маленькая и

толстая, деловито ковыряла землю в нашем палисаднике игрушечной лопаткой и при этом пыхтела.

Няня умерла, родители часто отсутствовали по вечерам, мы оставались с кухаркой. Кухарки жили на кухне и часто менялись. Лучше всех была Маруся: невысокая, плотная, с гладко причесанными соломенными волосами. При Марусе кухня была чистенькая, уютная, кровать застлана стеганым одеялом из пестрых кусочков. На кровати раскладывались карты; мы с Марусей играли в подкидного дурака и в шестьдесят шесть — это, разумеется, если родителей не было дома... Но у Маруси был пьяница муж, устраивавший иногда скандалы под кухонным окном. Стучал в стекло, орал: «Выдь, поговорим! Выдь, сказано!» И добавлял разные непонятные слова. Его поведение Маруся объясняла мне тоже непонятно: «Не сплю я с ним, вот и злобствует!» Если отец был дома, он прогонял пьяницу, но если отца не было, то Марусин муж шумел долго, и мы с Гулей плакали от страха. Из-за этих скандалов и пришлось с Марусей расстаться... Была еще Надя, крутившая роман со столяром, он иногда посещал ее по вечерам, если родителей не было дома, и Надя просила нас: «Вы папе-маме-то не говорите, что Илья Петрович заходил!» Мы не говорили. Кончилось тем, что Надя пыталась отравиться, чего-то глотнув. Видимо, это случилось в воскресное утро, ибо все были дома. Надю не могли дозваться, отец пошел на кухню посмотреть, что с ней, затем поднялась суматоха, мать отправила нас в детскую, затворила дверь, но мы все равно слышали топот ног, кем-то произнесенное слово: «Носилки», фразу: «Слева заходи, так не пройдут!» А главное — Надин истошный вопль: «Через любовь погибаю!» Были и другие кухарки, я уж и не помню всех...

Мы с Гулей сидим вечером не в детской, а в столовой, сидим в креслах друг против друга и ждем чего-то, то ли ужина, то ли чтобы кухарка велела ложиться спать. Молчим, а за окном тьма, а в доме тишина. Я внезапно объявляю: «Знаешь что? Я — сумасшедшая!» — «Нет!» — поспешно говорит Гуля, и на ее пухлой мордочке появляется сложное выра-

жение: мольба и страх одновременно. Она уже испугалась, но просит дальше ее не пугать. «Нет, да!» — восклицаю я, после чего закатываю глаза, скашиваю их, начинаю трястись, подвывать, и Гулино умоляющее: «Не надо!» меня еще больше раззадоривает... Кончается это Гулиным ревом и появлением на пороге кухарки с криком: «Угомону на них нет!»

До сих пор не знаю, как переживала сестра неблагополучие нашего дома, ссоры родителей, что было известно ей о романе матери. Мы никогда об этом не говорили. Обсуждать такие вещи казалось нам стыдным, невозможным. Сестре приходилось хуже, чем мне. Она была меня моложе, и наше растущее безденежье ударяло по ней, когда она находилась в более раннем возрасте.

Хуже, чем мне, сестре было и потому еще, что в ее характере не было моего легкомыслия, веселости, глуповатой восторженности, стремления постоянно чем-то и кем-то увлекаться. По характеру она была скорее замкнута, очень самолюбива, унижения от визитов кредиторов переживала, мне кажется, глубже, болезненнее, чем я. К тому же я вечно убегала из дому, а она была домоседка, домовита, хозяйственна, аккуратна — вечные ее попытки прибрать, прихорошить наши случайные жилища. С детства у нее были твердые понятия о чести семьи, о невозможности выносить сор из избы, она бы лучше отрезала себе язык, чем пожаловалась кому-то постороннему на мать, на отца, на меня. Я-то душу облегчала, я-то жаловалась...

Из-за разницы возраста и характеров мы не были дружны, а, скорее, друг друга раздражали. Ольга придавала большое значение умению вести себя, хорошим манерам, постоянно указывая мне на их нарушения: «Не горбись за столом!», «Не говори так громко!», «Как ты держишь нож?»

Рассказывая что-либо, я любила украсить рассказ подробностями, нередко придуманными, с единственной целью сделать свое повествование либо пострашнее, либо посмешнее,— заинтересованные лица подруг подхлестывали меня, я увле-

калась, и тут слышался мрачный голос девочки Гули: «И вшё она врет!» Не скрою: в эти минуты мне хотелось ее убить. Но я, в свою очередь, неоднократно давала ей поводы (и, кстати, более обоснованные!) для таких же преступных желаний.

На свой день рождения Ольга пригласила двух-трех одноклассниц. Среди них должна была впервые посетить нас девочка из благополучной семьи, дочь преуспевающего коммерсанта, владельца крупного харбинского магазина. Мы жили тогда в доме Ягунова. Ольга накануне выстирала скатерть, утром ее гладила, пекла сладкий пирог, были извлечены, начищены, положены на стол остатки фамильного серебра — чайные ложки и маленькие ножи с вилками, предназначенные для фруктов. Красовалась на столе и серебряная, необычной овальной формы маленькая кастрюля с длинной деревянной ручкой — в ней когда-то варили нам манную кашу, а сейчас в нее были насыпаны конфеты. Я подозревала, что эти хлопоты были вызваны желанием не ударить лицом в грязь перед девочкой из богатой семьи. Кастрюлька и прочее должны были продемонстрировать, что мы знавали лучшие времена. И я подавала реплики такого рода: «Не забудь задрапировать умывальник какой-нибудь красивой тканью, ну, в крайнем случае маминой бархатной накидкой! А то твоя Мирра увидит умывальник в комнате и станет нас презирать!» Или: «Слушай, а где папин рисунок гербов? Вот бы его повесить на стену!» — «Мама! Скажи ей, чтобы она отстала!» Мать — строго: «Оставь девочку в покое. Не порти ей удовольствие!»

С меня взяли слово, что за чаепитием я буду вести себя пристойно, сестру не дразнить, гостей не обижать и вообще поменьше разговаривать. «Если ты так не можешь — лучше уходи!» — молила сестра. Я ответила, что могу, и намерена была слово сдержать.

И вот явились Гулины одноклассницы, принаряженные, с подарками, и самый лучший подарок принесла Мирра Фукс (тот самый клетчатый шарфик, из-за которого мы позже подрались!), и одета была всех лучше, в прелестном платьице

с вышивкой, и лакированные туфли, и тонкие чулки, и мне сразу почудилось, что она дерет нос и задается,— в этом, впрочем, я тогда подозревала всех богатых... Сидела я поначалу на диване с книжкой, всем видом показывая — никому не мешаю, читаю себе! — меня представляли: «Моя старшая сестра!» Я любезно улыбалась, улыбались мне. Шелестела бумага, разворачивались подарки, Гуля восхищенно восклицала, девочки щебетали, я сидела тихо, сестра, однако, о присутствии моем не забывала, изредка опасливо в мою сторону косилась... «Настоящий шотландский, папа привез из Лондона, но не моя расцветка, мне идут теплые тона!»

С этого и пошло. За столом я сказала: «Фира, возьмите конфетку!» — «Мирра!» — поправила сестра. «Как? Ты же всегда говорила: «Фира Мукс?» — «Неправда! Я говорила Мирра Фукс!» — «Да? Ну извините меня, Фирочка. То есть: Миррочка!» — «Пожалуйста»,— отозвалась Мирра... Что-то еще я отмочила, не помню уж — что, помню лишь, что Ольга толкнула меня ногой под столом, а я — громко: «Это ты меня толкнула?» Она — голосом почти плачущим: «Я не торкара!» В минуты волненья она, как в детстве, внезапно путала «р» и «л», свистящие и шипящие. Я — кротко: «Не торкара? Кто ж, интересно, торкнур?»

Не горжусь этим, напротив. Рада была бы взять все обратно, но ни слов своих, ни поступков обратно не возьмешь. Сестра потом плакала, мать меня ругала долго и справедливо.

И такой случай вспоминается. В хорошую погоду вечером харбинцы любили собираться «около Чурина» — крупный универсальный магазин в центре города. Молодежь гуляла взад-вперед, пожилые — сидели на скамейках. Мы с Ольгой очутились там однажды случайно, просто шли мимо, но, влившись в толпу гуляющих, сестра приосанилась, придирчиво меня оглядела и зашептала: «Не говори так громко! Не маши руками! Почему ты такая растрепанная?» — «А! — сказала я.— Ты меня стесняешься? Иди вперед. Мы незнакомы!» Дала ей отойти, потом крикнула: «Барышня!» Все стали оглядываться, оглянулась испуганно и Ольга. «Барыш-

ня, вы мне когда десять рублей отдадите? Брали до завтра, а вот уж месяц...» Она кинулась бежать от меня, а потом жаловалась матери: «Я никогда никуда с ней больше не пойду! Мама! Скажи ей!» Мать мне много чего сказала в тот вечер...

Как-то я случайно подслушала разговор матери с ее приятельницей, кажется, с Вероникой Николаевной: «Иосифа Сергеевича не вижу,— говорила мать,— даже на улице не встречаю, хотелось бы забыть о нем, но, увы, Наталья унаследовала некоторые неприятные его черты и вечно напоминает мне его своими выходками!»

...Летними воскресеньями харбинцы семьями выезжали на реку Сунгари, ездили пикником на весь день, как-то отправились и мы с корзинкой на извозчике, мы с Гулей, тогда маленькие, сидели на скамейке спиной к лошадям, отца этот семейный выезд, видимо, раздражал, и, когда мы проезжали по людной Китайской — главной улице Пристани,— он приподнимался на сиденье, широко улыбался и, обращаясь к незнакомым людям на тротуаре, громко объявлял: «А мы на Сунгари едем!» — «Ося, прекрати,— умоляла мать.— Прекрати немедленно!»

Как отец, я любила эпатировать, никого не щадить ради красного словца и быть застольным весельчаком. Сестра же, вслед за матерью, внешности, декоруму, чтобы все было «как у людей» — придавала огромное значение...

Сестра была очень хорошеньким светловолосым ребенком, с солнечной улыбкой, а к двадцати годам превратилась в эдакую царь-девицу — высокую, здоровую, кровь с молоком, русую, с прекрасными серо-голубыми глазами. Вскоре после моего отъезда в Шанхай Ольга вместе с Женей Роджерс, к тому времени осиротевшей (мать умерла от инфаркта, отец от рака), уехали в Пекин. Сестра там была гувернанткой (чтобы не сказать — нянькой!) в английской семье, Женя давала уроки. Впервые очутилась Ольга без матери и без меня, и по письмам ее, сохранившимся в материнском архиве, я вижу, как она без нас тосковала, как жаждала от нас вестей!

Я писала ей редко и коротко. Я пыталась завоевать Шанхай, а это мне никак не удавалось, и не до Гули мне было. А вот Женя, которая по возрасту была ближе ко мне, дружила не со мной, а именно с Гулей, относясь к ней куда нежнее и внимательнее, чем относилась я, и в их трудные годы в Пекине заменила ей старшую сестру.

Летом 1939 года Ольга приехала в Шанхай к матери и ко мне, а Женя отправилась в Италию по зову какой-то дальней тетки. Началась война. Женя, как британская подданная, была интернирована, а затем, вместе с другими англичанами, выслана «на родину», в Англию. Эту «родину» Женя, родившаяся в Москве, на Сивцевом Вражке, увидела впервые... Поначалу ей там трудно пришлось, затем работу она нашла, и сейчас — на пенсии. Мы расстались с Женей в декабре 1936 года, когда я уехала в Шанхай, а встретились вновь в январе 1967 года в Лондоне. «Не прошло, боже мой, и сорока лет!» — сказала я, и мы обнялись. Женя была совершенно седая.

А сестра моя в октябре 1942 года уехала из Шанхая в Индокитай, где знакомый матери, добрейший, милейший старый француз мосье Массне, нашел для Ольги какую-то секретарскую работу. Работала она недолго, вскоре вышла замуж за французского офицера Пьера Д. и поселилась с ним в городке Юэ. В первых числах марта 1945 года сестра поехала к друзьям в Сайгон: цель поездки— покупка приданого для будущего ребенка, сестра была беременна. Поехала налегке, с чемоданчиком, не рассчитывая пробыть в Сайгоне больше недели. Вернуться к мужу, в свой дом, суждено ей не было. На город Юэ напали японцы. Пьер был убит, дом разграблен, сожжен. Мы с матерью долго не имели от Ольги вестей, наконец поздней осенью пришло письмо. Оно сохранилось: «Не знаю, с чего начать... Пьера убили девятого марта, Вероника родилась первого сентября...»

Через год Ольга вновь вышла замуж за морского офицера, а позже инженера Мориса Л., они переехали в Париж, в январе 1953 года у них родилась дочь, названная в честь нашей матери Катериной. Когда мы с мамой провожали Ольгу в Ин-

докитай, никому из нас, разумеется, и в голову не приходило, что мы расстаемся почти на двадцать лет!

А случилось именно так. Я уехала в СССР с репатриацией в декабре 1947 года, а через семь лет в Москву приехала мать. С Ольгой мы постоянно переписывались, но увиделись лишь в марте 1961 года, когда она и ее девочки приехали в Москву как туристки.

Встречать их в Шереметьево я отправилась одна. За полгода до этого у матери был сердечный приступ, предстоящее свидание очень волновало ее, погода в тот день была скверная — и дождь, и снег. Решено было, что гостей мать будет ждать дома.

Самолеты из-за границы прилетали тогда туда, где сейчас аэродром для внутренних линий. В те годы можно было видеть и приземляющийся самолет, и людей, из него выходящих. Затем прибывшие шли в таможню, проходя мимо встречающих, отделенные от них лишь низенькой загородкой.

На аэродром я явилась за час до нужного времени. В авоське была книжка, которую я собиралась читать в ожидании, уютно сидя в каком-нибудь кресле, но книжку так и не открыла, в аэровокзальных креслах мне тоже не сиделось... Одно время я торчала наверху, на втором, что ли, этаже, где в зальце со стеклянными стенами, на полукруглом диване расположилась семья — двое детей, их мать и какая-то женщина, то ли подруга матери, то ли родственница. Семья была одета во все заграничное; на мальчике лет трех — комбинезон с капюшоном, похожим на шлем, голубой, блескучий материал, видимо, что-то синтетическое, и везде молнии, и мальчик производил впечатление нездешнее, эдакий малютка марсианин. Семья встречала папу из Парижа, которого год не видела, и мать с приятельницей все приставали к юному марсианину с вопросом: «Валерик, а ты папу не забыл?»

Потом я пила черный кофе в тамошнем кафе, курила, выходила наружу пройтись, затем снова зачем-то пила кофе. Жужжание разговоров, звон посуды время от времени проре-

зались механическим голосом. Голос объявлял об отлетах и прилетах, я собиралась прилежно за ним следить, но как раз сообщение о прибытии самолета «Эр Франс» прослушала, все ныряла в себя, удивляясь той внутренней дрожи, какая бывала у меня перед экзаменами и перед выходом на сцену. Вынырнуть заставила меня суматоха, сопровождаемая шумом отодвигаемых стульев, и тут за стеклом двери кафе проплыл шлем несомого на руках марсианина, и я поняла, вскочила, кинулась наружу.

Самолет уже приземлился. Дальнозоркими глазами я вижу человечков, от него идущих, вот они ближе, но лиц не различишь, но уже видно, где мужчины, а где женщины, и видно, что у женщин непокрытые головы... Моей старшей племяннице было тогда пятнадцать лет, младшей — только что исполнилось восемь, по этой-то девочке, которая ростом должна от всех отличаться, я собиралась издали узнать сестру... Но долго не было видно никаких детей, наконец, уже сравнительно недалеко от себя, от загородки, к которой мы, встречающие, приникли, я увидела девочку в пестрой косынке на голове, рядом — высокая женщина в меховом пальто. Подняла глаза, увидела худощавое, красивое, незнакомое лицо, вновь стала высматривать девочку, еще одну девочку, другой девочки не было, что-то внутри толкнуло меня, я опять взглянула на даму в меховом пальто с растрепавшимися от ветра светло-шатенистыми волосами, быстро приближавшуюся к загородке, ко мне, а дальше — туман, застлало глаза — так поразило меня, что я, пусть на мгновенье, но сестру свою не признала.

И вот мы чмокаем друг друга над загородкой, улыбаясь, произнося какие-то чепуховые ненужные слова, а старшая племянница любопытно и застенчиво глядит на меня из-за материнского плеча, а маленькая вытягивает шею, чтобы и ее поцеловали, и произносит: «Я — Катя!»

На лице сестры я вижу знакомое, напоминающее нашу мать выражение растроганности и одновременно желание эту растроганность спрятать за усмешечкой, я вижу глаза ее, ма-

неру морщить нос, я вижу ее прежней, заграничный облик уже не мешает этому, и позже я уже никогда не могла — хотя из любопытства иногда и пыталась — увидеть ее чужой и незнакомой.

* * *

Бабушка верно предвидела, что из «представителей третьего поколения» выйдет «пестрая толпа, смешение племен, наречий...». Но мечтала о том, что ее «ростки принесут свои плоды не на чужбине, на родной почве». Ну что ж. Так и случилось. Лишь моя сестра от родной почвы оторвана, и дети ее — французы.

Разными дорогами шли по жизни семеро внуков Ольги Александровны, но вот светлого детства, беспечной юности не выпало на долю никому из них. Каждому, однако, удалось свои испытания преодолеть, а к склону лет достигнуть относительного благополучия, ну и — устойчивости, если вообще можно говорить об устойчивости в нашем, раздираемом противоречиями, мире, в наши времена... Каждому. Кроме Муси. И кроме Алека.

МОЯ НЕВЕДОМАЯ ЗЕМЛЯ

Любительские фотографии в альбоме матери: я, облаченная в белый медицинский халат, счастливо улыбаюсь, прислонясь к стволу березы. Лето, зелень. Сад при Институте ортопедии и восстановительной хирургии в Казани... Мы с дядей Иваном Дмитриевичем Воейковым сидим рядком на диване, фон — настенный ковер. Москва. Комната дядюшки в Гагаринском переулке. Снова я, во весь рост, снимали издали, лица почти не видно, зато хорошо виден фон — петергофские фонтаны.

Эти фотографии (их много!) и письма, написанные мною матери в годы нашей семилетней разлуки, позволяют мне яс-

но вспомнить то далекое время. Мать сохранила не только фотографии и письма, но и открытки, опущенные в почтовые ящики во время долгого теплушечного странствия из Находки в Казань.

Советское правительство взяло на себя расходы по отправке на родину бывших эмигрантов. Уезжающие (две с половиной тысячи семей) были разделены на пять групп. Первая покинула Шанхай в августе 1947 года. Последняя — 30 ноября. Я уезжала с этой последней группой. Мы ехали пароходом до Находки, а оттуда железной дорогой в глубь страны.

Первое письмо датировано 6 декабря 1947 года.

«Пришли вчера поздно вечером, увидели огоньки. Сейчас утром стоим в бухте, еще не пришвартовались. Красиво и сурово: джеклондоновский вид — свинцово-зеленое море, сопки, покрытые снегом. Плыли хорошо, если не считать двух первых дней: была сильная качка. Почти все женщины и многие мужчины лежали, болея морской болезнью. Похвастаюсь: я, хоть и чувствовала себя скверно, весь тяжелый понедельник была на ногах, даже работала на машинке в салоне парохода, машинка ездила по столу, а я старалась не глядеть в иллюминатор — там то море появлялось, то небо. Я обязалась выпустить стенгазету к пяти вечера вторника и — выпустила! Сама написала туда лишь маленький фельетон, занята была тем, что умоляла работать остальных, собирала разбежавшихся художников... Холодно. Всего 11 градусов мороза, но открытое море, ветер. А вообще, мамочка, все хорошо, у меня светлые надежды на будущее. Ведь я еду в страну, где от энергии, активности и труда человека зависит все!»

«*12 декабря...* Живем в Находке без особых удобств, но прилично. Но рада, что тебя тут нет. Летом здесь должно быть превосходно, а зимой не так уж весело. К морозу привыкла, почти не мерзну. Старикам и детям наша жизнь в бараках все же тяжела. То, что для меня интересное приключение, для тебя было бы нелегким путешествием. Морально

чувствую себя прекрасно. Выпустила здесь стенгазету. Верю в социализм. Верю в себя».

В Находке мы непредвиденно задержались — уехали оттуда лишь в новогоднюю ночь 31 декабря. Это объяснялось сильными снегопадами, которые препятствовали движению железнодорожных составов. Мы пережили в Находке денежную реформу, отмену карточек и впервые приняли участие в выборах. Тяжелый багаж, сундуки и ящики огромных размеров (некоторые везли с собой мебель и даже рояли!), стоял на пристани под открытым небом, наши мужчины, охраняя эти вещи, дежурили круглосуточно, по очереди. Бараки были деревянные, сравнительно светлые, с двухъярусными нарами, в передней печка-плита. Топили ее дровами, и было тепло. Обжились. Расстелили на нарах свои одеяла, стало даже уютно. Непереносимой была лишь уборная — два дощатых промерзших строения, каждое на десяток «персон»... Погода стояла ясная, морозная, утром из всех труб шли розовые дымки. Здешний поселок с рынком находились далеко, бараки стояли в чистом поле, где беспрепятственно гулял ветер с моря, и было радостно открыть обитую войлоком дверь, очутиться в тепле, а на плите кипел чей-то чайник — чай мы пили постоянно.

В Находке нам дали список городов, где местные власти должны были позаботиться о репатриантах, обеспечить их работой и, на первое время, жильем. Все эти города, за исключением Казани, были уральские и сибирские. Мы сами выбирали город, где хотели бы поселиться. Старики, женщины с малыми детьми и те, кто был слаб здоровьем, отправлялись из Находки обычным железнодорожным составом. Остальные ехали в теплушках.

«*14 января 48-го года.* Пишу на ходу поезда. Отправлю письмо из Омска, где мы будем, может быть, завтра утром. Нас в теплушках двадцать человек, плюс вещи. Тяжелый багаж едет в других вагонах. Спим бок о бок на нарах. С погодой везет! Так тепло, что мы с Юрой и Ромой два раза ехали на площадке вагона. Имена у станций зловещие: «Зи-

ма», «Тулуп», а температура — семь градусов! А говорят, бывает и 40 и 45! Едим варенец, простоквашу, масло... Денег у нас хватает... Много говорю с местными жителями. Все очень довольны денежной реформой и отменой карточек. Красота вокруг удивительная. Леса. Поля. Деревни, занесенные снегом. У меня чувство, будто все это я уже видела, все мне знакомое, все родное. Не волнуйся обо мне. Каждый день благодарю бога, что я поехала, что я в России».

(Рома, брат моей школьной подруги, знаком был мне с детства. Его семья — беременная жена и теща — уехали из Находки раньше нас, обычным классным вагоном. Рома с тех пор так и живет в Казани, он известный там врач, сейчас отец взрослых детей. С Юрой мы подружились в Шанхае в годы наших «возвращенческих» настроений. В середине пятидесятых годов Юра из Казани переехал в Москву, его ценят как первоклассного переводчика на английский язык. И он тоже отец взрослых детей.)

Были мы молоды, совершенно здоровы, трудности пути не смущали нас, все было интересно — мы впервые видели страну, в которой родились. Воспринимали ее, однако, поразному. Пейзажи напоминали мне картины русских художников; бревенчатые избы, синеющий вдали лес, снежные поля — вызывали литературные ассоциации, я растроганно шептала блоковские строки: «Приюти ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя!»

С Юрой дело обстояло иначе. Он, воспитанник тяньцзинского католического колледжа, в то время английский язык знал лучше, чем русский. В Шанхае, где Юра служил в иностранной фирме, кто-то дал ему прочитать «Манифест Коммунистической партии». Отсюда все и пошло. Юра стал читать исключительно марксистскую литературу, это стало его религией. У него был темперамент проповедника и нетерпимость фанатика... Помню, как я была поражена, услыхав от него, что Уинстон Черчилль — дурак. Да. Дурак. Логика была такова: капитализм обречен, мир идет к социализму, вот ход истории, и глупцы те, кто этого не видят. Русской лите-

ратуры в католическом колледже не «проходили», она Юру миновала, да и вобще его рационалистическому складу искусство было чуждо. Волновавшие меня леса, поля и избы Юру не трогали. Он не в Россию ехал. Он ехал в страну, которая первая из всех стран мира решилась перейти от слов к делу, на практике испробовать великую международную систему — социализм.

А Рома? Он был ироничнее и сдержаннее нас. Его реакции, его впечатления в памяти не удержались.

«Много беседую с местными жителями»,— сообщила я матери. Интересно, что именно я имела в виду? На пути мы встречали лишь замотанных платками баб, выходивших к эшелону с кусками замерзшего молока и кастрюлями вареной картошки. Глядели на нас изумленно: одеты мы были престранно... Летом 1947 года в Шанхае по дешевке распродавалось американское военное обмундирование — полушубки, грубые рыжие полуботинки, брюки защитного цвета, а также зеленые армейские одеяла и полотенца. На многих из нас были удобные в пути, теплые легкие полушубки, внутри мех, сверху брезент, а на спине намалеваны черные несмываемые буквы: U.S.N. (Юнайтед Стейтс Нейви — флот США). Женщины в брюках, невиданная обувь, эти буквы на спинах — было от чего прийти в изумление. Старушка, у которой я покупала однажды молоко (ах, чудесная старушка, морщины, выцветшие голубые глаза, а под вязаным платком еще и белый!) прошамкала: «Милые ж вы мои! Вы кто ж будете? Не французы?» — «Какие французы? Русские мы, бабушка, русские!» — твердила я, с наслаждением повторяя слово «русские» и едва удерживаясь, чтобы не обнять старушку. «Откуда путь держите?» — «Из Китая».— «Ишь ты! А хлеб белый там есть?» — «Есть, бабушка».— «Чего ж уехали?» — «Но... Но мы в России хотим жить!» — я тут несколько сникла, меркантильность собеседницы огорчила меня — разве хлебом единым? «Так, так»,— неопределенно пробормотала отсталая старушка...

В Свердловске мы стояли пятеро суток, большая часть ре-

патриантов нашей группы там оседала, две или три теплушки, направлявшиеся в Казань, отцепляли, прицепляли к другому составу, перегоняли с одних путей на другие. Утром мы выскакивали из теплушки на паутину рельс. В этом уральском городе поздно рассветало, лишь взглянув на небо, мы видели — светает, а среди товарных составов темно по-ночному, мы брели в потемках, держась за руки. В темном лесу бродили неизвестные личности, жаждавшие чем-нибудь поживиться у странных приезжих. Нас окликали: «Граждане! Продать ничего не желаете?» Мы желали. В крупные города наш эшелон попадал обычно ночью, до Свердловска городов при дневном свете мы не видели, только деревни, станции, полустанки. А тут, погуляв в первый день по улицам, нам, всем троим, захотелось вкусной еды, музыки и вообще красивой жизни... Вот мы однажды и продали бродившим среди составов личностям свои наручные часы. Юра и Рома сделали это, не дрогнув, а я заколебалась — как же теперь без часов? Покупатель ободрил меня словами: «Ничего, гражданочка, новые будут. В своем отечестве не пропадете!» Очень пришлись мне по душе эти слова, я не раз цитировала их в письмах к матери. Я в своем отечестве. Я не пропаду.

«22 декабря 48-го года. Свердловск... Семнадцатого декабря были отменены карточки, жизнь на глазах становится легче, лучше...» (С чем, интересно знать, я сравнивала? Что я знала о жизни при карточках?)

«Какая должна быть здоровая экономика, чтобы после такой войны так скоро, так ощутимо облегчить жизнь людей! Магазины Свердловска завалены продуктами: сыр, масло, варенье, конфеты, хлеб, мясо... Итак, обилие — это первое, что нас радостно поразило. Второе — истинная свобода и демократия. Мы, репатрианты, полноправные граждане нашей страны и можем свободно разъезжать по всему Советскому Союзу. Мы как все, мама! Не будет больше комплекса неполноценности, который нас мучил в Шанхае, где мы были «граждане без национальности», «белые второго сорта»...»

Однако с самого начала подразумевалось, что мы, приехав

в страну, становимся полноправными гражданами, а беспрепятственное передвижение граждан по территории своего отечества не заслуживало, думается, такого восторга и удивления. Дело тут было в том, что мы (во всяком случае Юра и я) не считали себя равными советским гражданам. Ведь мы выросли и сложились в условиях капитализма, а здешние люди воспитаны передовой системой социализма. Значит, нам предстояло много над собой работать, чтобы достигнуть уровня советского человека. И вдруг нам говорят, не дожидаясь, пока мы дорастем: вы, как все, поезжайте куда хотите, живите, где понравится. Ну, правда, было добавлено, что в городах, перечисленных в списке, нас сразу пропишут, дадут общежитие и работу, а в городах иных — прописки, жилья и работы придется добиваться самим, о том, что такое «прописка», мы имели, между прочим, представление самое смутное. Но это пустяки! Главное то, что мы свободны ехать куда хотим, между нами и здешними людьми не делают разницы. Это-то я и называла «свободой и демократией».

О советском человеке у Юры были представления, впрочем, несколько преувеличенные. Юра полагал: украсть этот человек не может. Зачем, скажите, красть в обществе, где нет безработицы, где каждый может честно заработать? Беспокойство репатриантов о своих чемоданах казалось Юре проявлением невоспитанности и политической отсталости... Сам он, помогая во время погрузок и разгрузок, свои вещи оставлял напоследок, бросал как попало, не оглядывался на них, и один чемодан у него таки исчез. Это Юру огорчило, но позиций его не пошатнуло: из каждого правила есть исключения, и не будем забывать о пережитках капитализма в сознании людей... Я, в своем увлечении теорией, так далеко не заходила, за своими вещами приглядывала...

«Третье, от чего я в восторге (писала я матери), это доступность образования, поощрение культуры. Знаешь, даже в небольших селах — прекрасные библиотеки, журналы, все, что хочешь. А уж в Свердловске — трудно описать, как здорово! Мы походили по библиотекам, посидели в читальном

зале. Сколько людей учится! Платить за учение не надо, наоборот, учащимся платят стипендии. Приехав в Казань, я непременно поступлю в институт. Ты так всегда хотела, мама, чтобы у меня было высшее образование. Оно будет у меня!»

Мы долго ехали. До Казани наши теплушки доскрипели, дотряслись лишь в последних числах января. Нас поместили в Дом колхозника, предварительно освободив его от других постояльцев, и выдали безвозмездные ссуды: семейным тысяча рублей, одиночкам — шестьсот. В общежитии было тесно, рядами, как в больнице, стояли койки, но чисто и тепло. Вечером уборщица приносила огромный самовар, ставила на стол, и к этому времени на деревянной лестнице слышались тяжелые хромающие шаги. К нам шел представитель Совета Министров Татарской АССР — товарищ Колесов. Ему было поручено заниматься нашим трудоустройством.

Нелегкое поручение! Столкнулись два мира, две системы. Среди приезжих были люди, ставившие Колесова в тупик. Он переспрашивал, страдальчески морщась: «Кто? Кто? Извините: не понял!» — «Брокер!» — с достоинством отвечал мужчина средних лет. «Как?» — «Ну — брокер! Маклер, что ли, по-вашему. Комиссионер!» — «А что именно... Чем именно вы занимались?» — «Покупал. Продавал. Перепродавал. В общем: крутился!» — «Крутился...— растерянно повторял Колесов.— Куда ж мне вас?» Или: «Имела салон дамских нарядов!» — «Портниха?» — оживлялся Колесов. «Почему портниха? Имела свое дело. А иголки в руках и не держала никогда!»

Врач. Инженер-электрик. Дамский мастер. Слесарь. Часовщик. Маникюрша. Это было понятно, Колесов светлел лицом, тут же, за столом у самовара, писал бумажки, ставил печать. «Завтра пойдете в такую-то больницу, вот адрес, в институт, в парикмахерскую, в часовую мастерскую — вас возьмут на работу!» Но бывало, что радость Колесова длилась недолго. Маникюрша на другой же день швыряла бумажку на стол. «Не приняли?» — «Очень даже радостно приняли, толь-

ко за эти деньги я работать не буду. Копейки за маникюр платят! Найдите мне другое что-нибудь!»

Колесов замолкал. Сидел понурившись, опершись на палку двумя руками, положив на них подбородок... От друзей-шанхайцев, приехавших в Казань с предыдущей группой, нам с Юрой было известно, что Колесов — старый большевик, ходит на протезе — потерял ногу в гражданскую войну. Мы Колесова очень уважали. А когда он так сидел, понурившись, жалели и любили... Крупный, седой, с простым русским лицом, небольшими внимательными серыми глазами — Колесов был человеком добрым, тем труднее ему с нами приходилось. Его уже нет в живых. Я всегда вспоминаю о нем тепло...

Юра и я решили, что мы обузой Колесову не будем, сами найдем себе работу. Но где тот участок, на котором мы сможем беззаветно трудиться, принося пользу стране?

Это и было главной темой наших споров во время многосуточного пребывания на верхних нарах теплушки, где невозможно было читать (трясло, подкидывало), а сидеть — лишь согнувшись в три погибели... За мной был десятилетний опыт работы в печати, а летом 1946 года лучшие мои фельетоны и публицистические статьи, публиковавшиеся в шанхайской просоветской газете «Новая жизнь», вышли отдельной книжкой. Но Юре и заикнуться нельзя было о том, что я бы хотела продолжать заниматься журналистикой. Впрочем, я и сама понимала: рано. Это позже, когда я кончу филологический вуз, вникну в советскую жизнь. А пока у меня есть хорошая профессия: стенография — в годы войны в Шанхае я брала уроки у старушки, когда-то стенографистки Государственной думы. И на машинке я печатала с пулеметной скоростью... Однако Юра считал, что нам следует идти работать на завод. Надо изживать привитые капитализмом недостатки, а в здоровом рабочем коллективе процесс изживания пойдет быстрее. Тесное общение с рабочим классом даст нам куда больше любых институтов. Я ловила Юру на противоречии: «Нам? А стране? Ты же твердишь, что сперва о стране, не о себе надо думать! Какую пользу я принесу

на заводе, если ничего не умею делать?» — «Научат! Научишься! Я для начала готов хоть кирпичи таскать!»

В теплушке полутьма, единственное крошечное оконце замерзло, говорим мы шепотом, полулежа, я устаю от этого прямолинейного, ригористического мышления, спор надоел, я уже не спорю, я отругиваюсь: «Вот ты и таскай, а я не буду!» Минутами я ненавижу Юру. В его присутствии нельзя пожаловаться на холод, на жажду, на неудобства пути. Такое называется «хныканье». Хнычет, как известно, обыватель, который дальше носа своего не видит, обобщать неспособен, а лица, политически подкованные, должны служить обывателю примером, а не ныть вместе с ним. Даже невинные восклицания типа: «Чаю хочется!» — осуждались Юрой. Очень был строг! В Казани он пошел на завод, именно на кирпичный, собираясь таскать кирпичи (слово и дело у этого человека не расходились!), но вмешался Колесов, Юру в рабочие не взяли, а посадили в контору помощником бухгалтера. Позже Юра стал преподавать английский язык в средней школе. А пока работал на заводе, находившемся где-то на окраине, и там, при заводе, жил, мы виделись не часто. Однажды, поймав себя на том, что я об Юре не скучаю, сильного желания видеть его не испытываю, вспомнила с усмешкой Шатова и Кириллова из «Бесов»... Встречаться им не хотелось, ибо «слишком долго уж они «пролежали» вместе в Америке».

Твердо решив не быть обузой Колесову, я однажды утром взяла свою портативную пишущую машинку и двинулась в путь. План такой: я иду по улице Баумана (главная улица Казани), захожу в учреждения и предлагаю свои услуги в качестве стенографистки-машинистки. Первым на пути моем возник банк. Я потребовала провести меня прямо к директору. Очень удивились, но провели. Директор, моложавый блондин, смотрел на меня во все глаза, пока я втолковывала ему, что знаю стенографию, могу быстро, слепым методом, печатать на машинке и сейчас ему это продемонстрирую. Я поставила машинку на стол для совещаний, проворно сдернула чехол и сказала: «Говорите что-нибудь!» Директор смотрел онемело.

Затем дар речи вернулся к нему, он что-то заговорил, я застучала на машинке. Потом произошло следующее. Директор снял телефонную трубку, набрал номер и — радостно: «Вань? Ты? Слушай! Ко мне тут одна пришла... Ну, из этих, из приезжих... На машинке печатает — ты не поверишь: цирк! Говорит, будто знает еще и эту... стенографию. А? Тебе ж нужна была? Вот я и пошлю. Мне-то пока ни к чему, а ты хватай, пользуйся моей добротой, ха-ха!»

Я очутилась в учреждении, именуемом военкоматом. Там меня ждали. Сотрудники столпились в дверях, глядя на демонстрацию быстрого печатания на машинке слепым методом. Думается, они были мне благодарны за этот аттракцион, скрасивший их рабочие будни. Меня хотели тут же оформить, но опомнились, переглянулись. А направление? Я догадалась, что «направлением» называется бумажка с печатью, выдаваемая Колесовым. Обещала принести бумажку завтра.

Я шла по улице Баумана и улыбалась. Бог ты мой, не успела я выйти, как устроилась на работу. И вспомнились мои первые недели в Шанхае, сомкнутый строй серых зданий на набережной, бронзовые львы Гонконг-Шанхайского банка, лестницы, лифты... К директорам меня там не допускали. Отказывал («Машинисток не требуется!») кто-нибудь из мелких служащих. Незадолго до моего отъезда из Харбина «старшая мадам Бринер» (мать моей подруги Ады Бортновской) подарила мне пальто под леопарда, и еще была на мне фетровая коричневая шляпа с зеленым перышком. В Харбине казалось, что я прекрасно экипирована, а в Шанхае под прищуренно холодными взглядами служащих иностранных фирм я ощущала себя дурно одетой, жалкой провинциалкой... После четвертого или пятого отказа я уходила в своем дареном пальто и в шляпе с перышком и, минуя лифт, шла вниз по лестнице, в лифте люди, а лестница пустынна, там я могла не заботиться о выражении своего лица, там могла даже громко всхлипнуть... Строгая обстановка была в иностранных фирмах, шуршат бумаги, стрекочут машинки, на тебя, вошедшую, и глаз никто не поднимет, все заняты... А тут, в Ка-

зани, так все славно, так по-домашнему, к стулу никто не пришит, все бросили работу, глядели, как я печатаю... И этот телефонный разговор: «Вань? Ты? Слушай!»...

Вокруг говорят по-русски. Русские буквы вывесок. И полицейские здесь русские или татары (но все равно, свои, свои!), а не аннамиты в шлемах, как на Французской концессии Шанхая, и не чернобородые индусы в чалмах, как на сеттльменте... Впрочем, полицейские называются тут «милиционеры», не забыть бы! Я шла и улыбалась. Я в своем отечестве. И здесь во мне нуждаются. Ведь не успела я выйти... Вечером похвастаюсь Колесову: «А я уже устроилась!»

Но к вечеру я поостыла. Меня терзали сомнения. Работать придется ежедневно с утра до пяти вечера, жалованье триста рублей. Здесь самая дешевая квартирная плата в мире, так. Но мне-то, но нам-то комнату придется снимать, а за снимаемую частным образом комнату просят двести в месяц. За угол — сто. Я уже прицениваласъ. Хотелось поскорее уйти из общежития, надоело все время быть на людях, дверь бы за собой наконец закрыть! Закроешь тут дверь на триста в месяц! И я не пошла на другой день в военкомат.

Вместо этого отправилась в Институт ортопедии и восстановительной хирургии. От Ромы, получившего работу по медицинской линии, услыхала, что институту требуется стенографистка.

Я сижу в просторном кабинете (три окна, ковер во весь пол), а напротив за большим письменным столом — директор института. Черные с проседью волосы, живые умные глаза, смуглолиц, широкоплеч, крепко скроен, чистейший подкрахмаленный белый халат — хирург, заслуженный врач Татарской АССР Лазарь Ильич Шулутко. Приятный, низкий интеллигентный голос. Стенографистка нужна позарез, но, увы, такой штатной единицы институт не имеет. Меня могут оформить на должность медицинской сестры. Я ничего этого не понимаю и не пытаюсь вникнуть. Я чувствую доверие к этому человеку, мне нравятся его руки, широкие, смуглые, чисто промытые, с квадратными ногтями, умные, умелые ру-

ки. В тот момент я знала лишь, что этот человек — директор института, а о том, что он хирург и заслуженный врач, узнала позже. Всю жизнь я ощущаю уважение и симпатию к людям, которые что-то умеют делать первоклассно. Видимо, это я почувствовала в своем собеседнике, и этим объяснялось мое к нему доверие... А он тем временем говорил, что я буду получать в месяц триста сорок рублей, на которые мне не прожить. «Но вы будете заняты у нас немного, не чаще раза в неделю, и найдете работу по совместительству. И вас будут приглашать записывать совещания в другие учреждения за сдельную оплату. В Казани стенографистки дефицитны — вы будете хорошо зарабатывать!»

Все так и случилось. Вскоре я устроилась по совместительству в Казанскую консерваторию, подвернулось и много другой работы — я записывала обсуждение спектаклей в казанском ВТО, лекции в Медицинском институте, совещания в Ветеринарном институте. Я была нарасхват. Зарабатывала больше тысячи рублей в месяц.

Но пришло это не сразу. Первые два-три месяца, кроме скромной зарплаты медицинской сестры, не было ничего, были зато вещи, охотно принимаемые на продажу комиссионным магазином. Американский полушубок, одеяло и еще разные вещи, без которых я могла обойтись, помогли мне перенести первые месяцы.

Найти комнату оказалось куда труднее, чем работу... Кончилось тем, что я сняла угол за сто рублей в месяц.

«*19 февраля 1948 года.* У меня так много радостных впечатлений, мамочка, что просто не знаю, с чего начать. Атмосфера города такая умная, культурная, все учатся, в театрах полно, в читальных залах полно! Люди милые, внимательные. В моем Институте ортопедии для сотрудников дают прекрасные обеды, значит, не нужно возиться дома с готовкой. Все ко мне очень хорошо относятся. Я уже помогала редактировать здешнюю стенгазету, в следующий номер, освоившись, что-нибудь напишу сама... Нашла комнату. Она, правда, проходная, но я отгорожусь занавеской, и будет полкомнаты. За-

то люди, у которых я буду жить, очень милые. Бабушка-старушка, дочь-вдова и 12-летний мальчик Женя. Простые, славные люди. Мне тут будет хорошо».

Эти простые, славные люди занимали половину деревянного домика, каких в те годы много было в Казани. Удобств, конечно, никаких. Кухня и две комнаты. В тупиковой помещались мать с сыном, в проходной — мы с бабкой. Бабка спала па сундуке, справа от входа, у окна, я же, отделившись занавеской, жила в левой, безоконной части комнаты. Там, вдоль стены, стояла походная, из Шанхая привезенная кровать, хозяйский стол и стул. Одежда висела на гвоздях, вбитых в стену, белье лежало в чемодане, а сундук, с основным моим имуществом, оставался на кухне.

Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная и бойкая на язык старуха, работавшая где-то уборщицей. Дочь ее Дуся (вдова или мать-одиночка, я так и не выяснила) работала «плановиком», слово для меня непонятное. Понятно было лишь то, что Дуся занималась конторским трудом, что удивляло меня. Женщина она была темная, даже читала с запинками, книг в жилье не водилось, за исключением Жениных истрепанных, чернилами залитых учебников.

В письме от начала марта я отзывалась о моих хозяйках уже куда сдержаннее: «Работой я довольна, а вот с бытом скверно. Уж очень шумно. Мать и дочь часто пререкаются, и обе кричат на Женю (малоприятный мальчик!), все это происходит под радио, которое я умолила их выключать хотя бы по вечерам, когда они спать ложатся. Читать, думать, писа́ть очень трудно».

Мать и дочь начинали «пререкаться» (как я мягко выразилась) с шести утра — вставали тут рано. Их голоса и радио будили меня. Дочь называла мать «хрычовкой» и «старой каргой», старуха живо парировала удары, применяя слова, для печати не всегда пригодные. Бывало, что обе, соединив усилия, ругали не друг друга, а Женю. За двойку. За дыру в штанах. За потерянную варежку. Слышались уже не только голоса, по и рев, и глухие удары — Женю били. Все это шло

на фоне бодрых звуков, доносящихся из черной тарелки на стене: утренняя зарядка, веселая музычка...

По вечерам тоже кричали. Мать и дочь вообще не умели разговаривать нормальными голосами. К счастью, спать укладывались рано.

Февраль. На улице мороз. Черная ночь за маленьким замерзшим окном. Кряхтит, бормочет старуха на своем сундуке, но наконец затихла. Я вынимаю вилку из розетки радио. Я выговорила себе это право с тем, чтобы в полночь, когда передачи кончаются, снова вилку втыкать. Без меня тут тарелка говорила, пела, играла всегда, под это они засыпали, странные люди! Тишина наконец. Господи. Тишина. Мое недолгое счастливое время. Я почти счастлива в эти часы. После бараков Находки, после теплушечных нар, после тесноты общежития — свой угол, отделенный занавеской. Моя кровать, моя настольная лампа, уютно освещающая стол, книги, фотографию мамы в деревянной рамке. Я ложусь спать в полночь, в моем распоряжении два часа тишины, как бы умнее истратить это богатство, чтобы ни одна из ста двадцати минут не пропала даром? Запишу впечатления дня. Потом почитаю.

Бывало, что летели прахом и эта два часа. Кто-то ломает входную дверь. Бабка: «Господи Иисусе Христе!» Дребезжит оконное стекло, выбить его, что ли, хотят? Дуся: «Ой? Что это?» Голос не испуганный, скорее кокетливый, Дуся-то знает, кто ломится в ее жилье. «Мама! Отвори!» — «Сама отворяй, бесстыжая!» Отворяет все же бабка: ей проще. Она спит, почти не раздеваясь, укрывшись полушубком. Тяжелые мужские шаги.

Дусиного возлюбленного звали Федя. Являлся он, к счастью, редко. А лицо его я видела всего один раз за те пять месяцев, что провела в этом углу. Идучи однажды через комнату, Федя споткнулся (был нетрезв) и, удерживая равновесие, вцепился в мою занавеску. Веревка оборвалась, Федя грохнулся и, сидя на полу, уставился на открывшуюся его взору картину. Необычность моего одеяния (китайский

стеганый халат), книги, лампа, раскрытая пишущая машинка — поразили Федю до остолбенения. Дуся и бабка помогали ему подняться, а он бормотал, тыкая в мою сторону пальцем. «Чё это, а? Чё это?»

Иногда, вернувшись «домой», я заставала Дусю то в моей блузке, то в моем свитере, то в моей юбке. «А чего тут такого? Не украла ж я! Вот вам ваша кофта целая и нигде не пятнышка! Разок надела, ничего от нее не убыло!» Не могла же я сказать Дусе, что мне неприятно надевать после нее блузку. Брезгую? Оскорбительно! И я лишь бормотала, что нехорошо брать вещи без спросу.

Но я сама была повинна в этой бесцеремонности.

По сравнению с некоторыми шанхайцами, привезшими с собою много носильных вещей, мебель и рояли, я была бедна. Но по сравнению с Дусей и бабкой — богата до неприличия. Мне было стыдно своего богатства. Я не делила со здешними людьми трудностей, выпавших на долю страны, не перенесла страшной, столько жизней унесшей, всех разоривней войны. Я не запирала сундук. И потому что опасалась обидеть замком хозяек, и потому что ощущала свою вину — не делила, не переносила. Первый месяц, что я тут жила, от меня только и слышали: «Нет мыла? Возьмите мое! Мне в Шанхае говорили, что тут трудности с мылом, я много привезла!», «Нет сахара? У меня есть!», «Пусть Женя наденет мои варежки, у меня две пары!»

Сначала брать стеснялись. Потом стесняться перестали. Вскоре в обращении Дуси со мной я ощутила снисходительность, чтобы не сказать фамильярность, говорили со мной добродушно, но — свысока... (Спустя двенадцать лет, в августе 1960 года, в глухой деревне под Костромой, куда мой муж поехал на охоту, а я из любопытства с ним, я видела, что тамошние жители точно так же обходились с местным дурачком Пашей — добродушно, но свысока...) Вот Дуся и стала брать мои вещи, не считая нужным ни спрашивать, ни извиняться. А чего извиняться перед юродивой, у которой все нараспашку, которая сама лезет все предлагать, и будто по-

стояно в чем-то оправдывается? Уже стоило мне отвернуться, как мальчик Женя поспешно хватал и заглатывал бутерброд, приготовленный мною для утреннего чая. Я беспомощно начинала: «Но, Женя! Но послушай!»...» Меня пренебрежительно обрывала Дуся: «Неуж для ребенка вам куска хлеба жалко?»

Хуже было с бабкой. В перебранки матери и дочери я не вмешивалась, но однажды, когда Дуся заорала: «И когда ты сдохнешь, старая карга?», не стерпела, кинулась защищать старуху, она вам мать, она старый человек, и как не стыдно? Вместо ответа Дуся быстрым движением извлекла из кармана старухиного полушубка какие-то вещи: с ужасом я узнала свои чулки, два маленьких полотенца и шелковую комбинацию. «Видели? Мать! Воровка она, и больше она никто!» Старуха, на секунду растерявшаяся, опомнилась и с живостью обозвала дочь женщиной легкого поведения, выразив это понятие односложно и энергично. Дуся не осталась в долгу. Я же крепко задумалась.

После того как старуха спустила на рынке мою лучшую юбку, я стала жить тут как на вокзале. Уходя в институт, снимала висящую на гвоздях одежду, прятала в сундук, сундук запирала. По дороге на работу покупала бутылку молока и булочку — в жилище своем я перестала есть, возвращалась туда лишь вечером. Я не обязана была являться в институт ежедневно, но являлась, а куда мне было деться? В научной библиотеке у меня был свой стол, там я и сидела. После окончания рабочего дня шла к своим друзьям в гостиницу «Казань».

В октябре 1947 года с третьей группой репатриантов из Шанхая в Казань в полном составе приехал джаз-оркестр. Сколько-то музыкантов было присоединено к оркестрам ресторанов гостиниц «Казань» и «Татарстан», трое или четверо влились в эстрадный ансамбль кинотеатра, а еще несколько человек стали играть в оркестре Театра оперы и балета.

Не на это рассчитывали приезжие. Они, знавшие друг друга с юных лет, годами игравшие вместе сначала на школьных и студенческих вечерах в Харбине, затем в ночных клубах Шанхая и Циндао, надеялись так и остаться единым оркестром. Но городу Казани некуда было деть джаз из девятнадцати человек. К тому же шла зима 1947/48 года, и такие западные затеи, как джаз, не были нужны народу. Позже джаз народу понадобился, но это произошло спустя много лет, когда оркестр почти распался, уцелело лишь его ядро из шести человек. Ядро обросло местными, здешними музыкантами, и ныне это один из популярнейших в Советском Союзе эстрадных оркестров, гастролирующий по стране и за рубежом.

Душа оркестра, его создатель и дирижер — Олег, брат его, саксофонист Игорь, и трубач по имени Виталий были моими близкими друзьями. Мы немного знали друг друга по Харбину, но сблизились, подружились в Шанхае в годы войны.

Олег, Игорь и Виталий, а также еще несколько музыкантов джаза, были активными членами «Союза возвращенцев». У «Союза» был свой печатный орган: десятидневная газета «Родина». Музыканты поддерживали газету и деньгами, и трудом. Они в нее писали и ее печатали, качая ногой, по очереди, педаль примитивнейшей печатной машины «американки». Не на их ли деньги и была эта «американка» куплена? Без музыкантов не было бы газеты «Родина». Но ее не было бы и без Николая Петереца, журналиста-профессионала. Он был редактором. Он писал основные статьи. Он и жил в том жалком помещении, где находились редакция и типография газеты. До возвращения на родину Петерец не дожил. Умер во время войны.

* * *

Мне придется из Казани вернуться на время в Шанхай, рассказать о Петереце, иначе многое в нас, тогдашних, не будет понятно читателю...

В «Союзе возвращенцев» я не состояла, в «Родине» участия не принимала, познакомилась с Петерецом и музыкантами лишь летом 1941 года. Газета «Родина» с первых же дней войны превратилась в ежедневную газету «Новая жизнь». Финансовую поддержку этой газете оказывали советские граждане: среди лиц, имевших советские паспорта и живших в Шанхае, было немало состоятельных людей.

Петерец редактировал ее до смерти. Он умер рано, не дожив до сорока лет. Сведения мои о его молодости скудны. Насколько мне известно, в двадцатые годы он сугубо отрицательно относился к советской власти, а в тридцатые годы стал ее любить. В молодости пописывал стихи. Образованный, начитанный, памятливый человек. Слеплен из того теста, из какого лепят фанатиков.

Внешне очень непривлекателен: узкоплеч, хил, колченог, и со зрением неладно. Глаза его косили и казались странными из-за сильно увеличивающих стекол очков. Копна серо-коричневых волос, худые, желтые от курева, с длинными ногтями пальцы, мятые штаны с мешками на коленях, грязные, обтрепанные воротнички и обшлага... В плохих романах такой наружностью обладают персонажи отрицательные. А этот был вполне положителен: и добр, и честен, и образован. Но — фанатик. Всегда им владела «одна, но пламенная страсть»!

Видимо, в начале тридцатых годов Петерец из Харбина переезжает в Шанхай и работает там в газете, которую я условно назову «Шанхайские новости», а владельцу дам вымышленную фамилию Аверкин. От других эмигрантских изданий газета «Шанхайские новости» отличалась тем, что никаких выпадов против СССР не допускала. Аверкин был журналистом опытным, вкусы читателей знал и сумел сделать свою газету популярной. И дельцом он был опытным: сотрудников эксплуатировал нещадно. Петерец там и писал, и редактировал, а получал ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Рассказывали: Аверкин любил прогуливаться по редакции в халате (жил в том же помещении), а летом — в одних

трусах, обмахивался веером, называл сотрудников «мои рабы» и приговаривал: «Куда б вы делись без меня? С голоду бы подохли! Старайтесь, а то выгоню!» Черты самодурства не были чужды Аверкину.

А Петерец? Сидел, вероятно не поднимая головы, в худых желтых пальцах сигарета, и пальцы эти дрожали от ненависти, от сознания бессилия. Деться некуда. Ничего не умел Петерец, кроме журналистской работы, иностранных языков не знал, о физическом труде и речи быть не могло — хил, колченог. Только и оставалось, что стараться для Аверкина.

Еще в сороковом году Петерец поражал всех, кто читал газету «Родина», своим знанием трудов классиков марксизма, которых цитировал беспрестанно. Видимо, эту работу по освоению трудов классиков марксизма Петерец начал в те годы, когда работал на Аверкина.

Я вижу, как этот человек возвращается ночью в свой сарай (это непременно был либо сарай, либо бывший гараж, либо еще что-нибудь, едва для жилья приспособленное!), греет на спиртовке воду, заваривает крепчайший кофе, курит, читает, запустив пальцы в нечесаную копну волос. Пыльная без абажура лампочка освещает грязный пол, паутину в углах, железную койку с набросанным на нее тряпьем. А Петерец читает, изредка поднимая голову, устремляя невидящий взор на стену в пятнах сырости, и его бедные близорукие косящие глаза наполняются слезами чистейшего восторга. Теперь он знал, что капитализм обречен, должен исчезнуть, а с ним исчезнут эксплуататоры, и крупные акулы, и мелкие гады типа Аверкина. И главное знал Петерец: социализм не утопия, не мечта человечества, а реальность. Социализм есть, существует, победил! Отныне все помыслы бедного Петереца были устремлены к стране победившего социализма, к земле обетованной. Впрочем, нет. Петерец уже не был бедным, хотя какое-то время еще работал на Аверкина. Петерец был богат. Душа его, жаждавшая веры, веру обрела.

«Союзы возвращения на родину» стали возникать в местах эмигрантских расселений после опубликования Консти-

туции 1936 года. Таких, как Петерец, изучающих марксизм и стремившихся именно в страну победившего социализма, было, полагаю, немного. Люди просто хотели домой. Давно хотели, но — боялись. И вот появилась Конституция, где ясно сказано, что всем гражданам СССР даны равные права, лишенцев больше нет, пролетариат простил и бывших собственников, и даже тех, кто против него сражался...

Появление Конституции выбило почву из-под ног эмиграции, восклицал Петерец в газете «Родина», а позже, уже в «Новой жизни», утверждал, что героизм, проявленный советскими людьми в их борьбе против немецких фашистов,— лучшее доказательство правильности расширения демократических свобод, дарованных Конституцией.

Я бы, разумеется, не вспомнила, что именно восклицал и что именно утверждал Петерец, не сохранись у меня посмертного сборника его статей, изданного в Шанхае в 1946 году. Сейчас, просматривая этот сборник, я понимаю, почему в свое время я со скукой читала Петереца, с трудом продираясь сквозь нагромождение бесцветных газетных фраз, а продравшись, облегченно вздыхала — какие-то мысли автора уловить удалось. Теперь я вижу: этот человек с его одержимостью был мне органически чужд. Но тогда я и себе не смела в этом признаться. Внутреннее отталкивание от печатных произведений Петереца объясняла лишь одним: не доросла, не доучилась.

В передовой статье одного из первых номеров «Родины» эта газета обещала читателю помочь понять всю правду об СССР. Петерец и друзья его, увезенные из России в детстве, никогда в СССР не жившие, полагали, что они эту правду знают. Петерец утверждал, что разговоры о необходимости личного присутствия в стране продиктованы невежеством и ленью — нежеланием вдуматься, вникнуть, вчитаться. Надо изучать классиков марксизма и регулярно знакомиться с советской печатью. Каждому слову этой печати Петерец и его единомышленники верили свято. Иностранной и эмигрантской — не верили. Эта печать, говорили они, лжет и клеве-

щет, ибо многих социализм пугает, а отсюда — ненависть к стране победившего социализма.

В общество этих энтузиастов я попала летом 1941 года, а первая статья моя появилась на страницах «Новой жизни» в январе следующего года. Начиналась она так:

«Наше детство прошло в том, что мы — бежали, и глагол «бежать» был одним из первых слов, услышанных нами в этом мире... Мы играли на железнодорожных насыпях с другими детьми, которые тоже бежали. Мы лепили снежную бабу в каком-то сибирском городе. Омск? Иркутск? Мы нигде не задерживались долго. Взрослые повторяли знакомые слова: «Они близко. Надо бежать!» Кто были эти «они»? Нас тогда это мало интересовало...»

В статье я поминала няню с ее неизменным: «И куда вы меня, барыня, завезли?», рассказывала о том, как мы, молодые эмигранты, плакали на советских фильмах... «Мы видели на экране здоровые, веселые лица людей нашего возраста, нашего поколения и горестно недоумевали, почему мы не там, не с ними, а сидим здесь и печатаем английские письма на английских машинках... Мы начали протестовать. Мы говорили: «Россия есть!» — «Нет, нет, нет!» — страстно кричали представители старшего поколения, и эта страстность казалась нам подозрительной. Мы думали: «Они не могут простить большевикам своей утерянной привольной жизни, не могут забыть, что в гражданской войне их разбили, не могут примириться с тем, что «там» обходятся без них... И все мы были похожи на Катю из чеховской «Скучной истории», а старшее поколение на старого профессора. Мы говорили им: «Вот вы прожили долгую жизнь. Вы страдали. Вы много видели. Скажите ж нам, что нам делать, как жить?» — «Право, Катя, не знаю»,— смущенно отвечал старый профессор. И тогда мы отошли от них и пошли своей дорогой».

Мать и сестра снимали тогда комнату в пансионе некой княгини Ухтомской. Я жила отдельно. О том, что я собралась идти «своей дорогой», я мать не предуведомила, появление статьи было для нее неожиданностью... В пансионе Ухтом-

ской жили в основном люди аристократического происхождения, были и титулованные — графиня Нессельроде, барон и баронесса Меллер-Закомельские, причем баронесса была урожденной герцогиней Лейхтенбергской. Баронесса занималась вязаньем, графиня гадала на картах и давала уроки французского языка. Князь Ухтомский служил во французском консульстве на какой-то мелкой должности, боюсь, не швейцаром ли? Барон... Не помню уж, что делал барон. Помню, что все они нуждались, с трудом платили за пансион, громкие имена не вязались с внешностью этих людей, плохо одетых и жалких. Вежливые, тихие, уснащавшие свою речь французскими фразами — все они преображались и сверкали глазами, стоило при них произнести слово «большевик»... Мать сказала мне: «Я в твои дела не вмешиваюсь, но на все, знаешь ли, есть манера! Не худо было бы меня предупредить. Вечером в пансионе все на меня набрасываются, а я даже не знаю, о чем идет речь!»

Вскоре матери и сестре пришлось из пансиона переехать, их жизнь там сделалась невыносимой. В Шанхае кипели страсти, с первого дня войны эмигранты разделились на «оборонцев» и «пораженцев». Вторая моя статья называлась «В защиту оборонцев!» и кончалась словами Лермонтова: «...насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом!»

То было началом моей громкой деятельности в «Новой жизни», куда я, вплоть до отъезда в СССР, писала фельетоны и публицистические статьи... Однажды молодой человек, который ухаживал за сестрой Ольгой, пригласил ее ужинать в «Офицерское собрание». Поужинать им не удалось. Молодого человека отозвали в сторонку и попросили удалиться, выразив удивление, что он позволил себе привести в эти белые стены «сестру коммунистки»... Короче говоря, матери и сестре солоно приходилось из-за меня. К счастью, мать в то время от эмигрантских учреждений не зависела, преподавала историю в английской школе «Томас Хэнбери скул». А сестра в октябре 1942 года уехала в Индокитай.

А какая я была «коммунистка»? Понятия не имела о том, что означает это слово, равно как и слово «социализм». Эта серость, эта отсталость огорчали Петереца и его друзей. Я все порывалась называть СССР — Россией, меня одергивали, объясняли, почему это неверно, и наконец дружно взялись просвещать. Почему-то первой книгой, которую дали мне, была работа Плеханова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Я не поняла там ничего, начиная со слова «монистический». Дали что-то другое, попроще, не помню уж — что именно. Зато очень помню, какое впечатление произвел на меня рассказ о Девятом января 1905 года. Плакала, читая. Они идут к Зимнему, безоружные, полные доверия к царю, а их встречают огнем! Но как случилось, что я узнаю об этом впервые на третьем десятке лет своей жизни? Ведь в школе мы проходили историю России! Выходит, умалчивали! Выходит, лгали!

То, что не умалчивали, не лгали, а просто не фиксировали на этой истории нашего отроческого внимания, не приходило мне в голову. И того я не знала тогда, что в памяти человека застревает лишь то, к чему его интерес уже пробужден, что ему самому хочется понять...

Я была крайне взволнована. Царь-то, оказывается, был слаб, труслив, ничтожен, правительство его продажно, без революции обойтись нельзя было, революция в этих условиях — дело праведное! Кого-то надо было упрекать в том, что я столь долго пребывала в заблуждении и невежестве. Кого? Мать, конечно!

Я врывалась к ней вечером, заставала ее за грудой ученических тетрадей и — с порога: «Тебе известно, что происходило 9 января 1905 года?» Мать поднимала усталые близорукие глаза. «О чем ты? А-а. Разумеется, известно. Дальше что?» — «А почему я этого не знала?» — «Неужели? (В голосе легкая насмешка.) Боюсь, ты и сейчас многого не знаешь. Разденься, сядь, успокойся. Чаю хочешь?»

(Я думала: вылитый профессор из «Скучной истории»!

«Давай, Катя, чай пить». Ответить им нечего, вот они и пристают с чаем! Завезли! Обманули!)

«Но ты признаешь, что революция была необходима, что без нее Россия обойтись не могла?»

Не помню уж, что отвечала мне мать. Помню лишь, что до спора со мной, как всегда, не снисходила. Мой вспыхнувший интерес к политике рассматривала как очередное увлечение.

А я уже читала Ленина (был такой красненький двухтомник избранных сочинений, продававшийся в магазине советской книги Шанхая), открывала для себя бездну нового, с изумлением узнала, что революций было две, одна «буржуазная», другая «социалистическая», небось с буржуазной такие, как моя мать и многие здешние эмигранты, еще примирились бы, а вот социалистическую встретили в штыки!

Мои новые друзья во главе с Петерецем были довольны: я делала успехи. Еще недавно я смотрела на вещи примитивно: Германия напала на Россию, я русская, я с теми, кто хочет победы России. Поэтому-то и пришла в советскую газету. Стихийный патриотизм, которым нечего гордиться, ибо он нет-нет да и толкнет человека в сторону великодержавного шовинизма. Туда меня он и толкал подчас, и я, с помощью моих наставников, его преодолевала, всеми силами стремясь любить страну победившего социализма... Следующая моя статья (эпиграф: слова Лежнева из тургеневского «Рудина»: «Россия без каждого из нас обойтись может...» и т. д.) кончалась так:

«Война раздвинула границы России, приблизила ее к нам. Благодаря заговорившему в нас голосу крови — мы стали задумываться о многом. Через любовь к России мы пришли к пониманию СССР, к великому уважению к этой стране. Мы ясно увидели свое будущее. Оно с Россией. Обойтись без нее мы не смогли».

К зиме 1947/48 года, ко дню своего отъезда из Шанхая, я была уже достаточно подкована политически, хотя далеко

не так, как мои друзья музыканты, верные ученики и последователи Петереца. Поминали его и цитировали постоянно и всё огорчались, что он не дожил до счастливых дней возвращения.

* * *

Музыканты поселились в общежитии актеров оперы, в здании гостиницы «Казань». Ход через двор, захламленный и грязный, затем служебная «черная» лестница, а наверху (третий, кажется, этаж) широкий коридор. С одной стороны окна, с другой — двери, прямо — общая уборная. Жили тесно. Олег и Игорь делили комнату со своей матерью. Виталий — с братом-скрипачом, женой его и двумя детьми. Была ли тут кухня или все стряпали па керосинках у себя — не помню. По сравнению с тем, что имела я, условия тут были прекрасные: водопровод, центральное отопление. Душевых и ванн не было, ходили в баню. Я тогда впервые познакомилась с банями, понравились они мне позже, в Москве, «Сандуновские», с бассейном, а в Казани тех лет терялись часы на очереди перед баней, внутри же — теснота, духота, запахи скверного мыла, размокших мочалок... Смутные очертания голых распаренных тел в облаках пара напоминали мне какие-то картинки, не иллюстрации ли к дантовскому «Аду»?

В гостиницу «Казань» я являлась ежедневно, часам к пяти, Игоря уже не было, он играл в кино, уходил туда к первому сеансу. Мы с Олегом и Виталием сидели в просторной, обычно пустой гостиной, комната отдыха постояльцев — столы, покрытые чем-то зеленым, журналы, газеты, настольные игры. Мы делились впечатлениями дня, читали газеты, обсуждали прочитанное — наш долг быть в курсе жизни страны. Если мы чего-то не понимали, нам немедленно все разъяснял Виталий. Этот был слеплен из того же материала, что Юра, ригористический, рациональный ум, искусству чуждый. Еще тогда я удивлялась несовместимости Виталия с музыкой и права оказалась, вскоре он музыку бросил («Рабочие нужны стране больше, чем музыканты!»), пошел в

электросварщики, совмещал работу с учением в институте и сейчас инженер, живет в Свердловске. Олег все огорчался, что народу не нужен джаз, не мог понять, чем дурна музыка джаза, родившаяся из негритянского фольклора. Виталий и это умел объяснить. Он не был так резок и нетерпим, как Юра, из себя не выходил, собеседника старался убедить, а если тот уж очень упорствовал — посмеивался снисходительно.

Мы стремились видеть хорошие стороны во всем, с чем сталкивались. Своих хозяек, свой быт я описывала в тонах юмористических, об украденной юбке упомянула мимоходом (не мещанка я, чтобы придавать значение юбкам!), про себя же, однако, юбку очень оплакивала. Меня не то что жалели, но признавали: с жильем не повезло, надо искать другое. А пока терпеть, не хныкать. Страна еще не оправилась после войны. Всем живется нелегко, а нам, приезжим, чем-то и труднее, чем здешним жителям, но это только справедливо. Ничего, ничего. Мы дома, в своем отечестве, выбьемся, надо верить в страну, верить в себя, учиться, работать, брать пример с советских людей.

В те первые трудные месяцы казанской жизни — что бы я делала без друзей своих? Общение с ними вселяло бодрость, не допускало до расслабляющей жалости к себе... Мы пили вечерний чай в буфете гостиницы, а затем я провожала Олега и Виталия до оперного театра.

На улице мороз. В Шанхае зимы были теплые, сырые, мы радуемся морозу сухому и трескучему, это прекрасно, это куда полезнее здоровью, чем сырость! Зимой в Шанхае дожди, а тут снег, много снега... И я вспоминаю: на днях, в очереди, услыхала, как кто-то радовался обилию снега, снежная зима нужна для хорошего урожая. А я никогда прежде не знала о влиянии снега на урожай! И вообще не интересовалась тем, что происходит на полях Китая — урожай ли, недород ли... Там я была пришлой, чужой, жизнь страны, ее беды, ее войны, ее трауры и праздники — задевали, разумеется, и нас, жителей случайных и временных, задевали рико-

шетом, эдакое похмелье в чужом пиру. А тут все касается меня непосредственно. Моя страна. Мои соотечественники, с которыми я отныне все делю. И сознание связанности моей судьбы с судьбами этих женщин в платках, мужчин в полушубках и валенках — тронуло, умилило... (Годы спустя, то на эскалаторе московского метро, то в большой очереди — а вокруг русский говор — меня внезапно обжигало сознание моей принадлежности стране, общей судьбы с людьми, ее населяющими, и каждый раз умиляло, до увлажнения глаз...) Той казанской зимой я впервые узнала это чувство, мне хочется рассказать о нем друзьям, они понимают меня, они испытывали нечто похожее...

Идем через сквер. Тут каток, веселые голоса, даже музыка — очень бодрит! Выходим на улицу Куйбышева, поднимаемся к Большой Галактионовской — тут мой институт, а неподалеку Театр оперы и балета... Смотрите! Сколько мы тут ни ходим, а ни разу не встретили нищего. В Шанхае же на каждом углу — калеки, лохмотья, протянутые руки... Смотрите! Все встречные одеты пусть некрасиво, но тепло, оборванцев тут нет!.. Ярко освещенный подъезд театра. Прощаемся. Музыканты с черными футлярами под мышкой исчезают за дверью, я иду обратно на улицу Куйбышева, «домой». Горят редкие уличные фонари, встречных мало, улицы пустоваты, а не поздно, восьмой час вечера, как тихо в этом городе, как непохоже на город...

Наступают самые трудные часы моей казанской жизни, часы вечернего одиночества. Иду через двор по тропинке, протоптанной в снегу, стучу в бабкино замерзшее окно. Ничего, ничего, ничего. Все-таки свой угол. Моя кровать, книги, машинка. Печка топлена. Тепло, даже — уютно. Зажжем настольную лампу. Ничего, ничего. На кого они кричат: друг на друга или на Женю? Не вслушиваться. Попробовать читать. Скоро они откричатся, лягут, выключу радио, буду писать. Счастье, что стук машинки спать им не мешает, впрочем, им ведь и радио не мешало. Ничего, ничего. Я тверда. Дух мой бодр.

«Быт мой нелегок (пишу я матери), но внутренне мне легко. Потому что я знаю: человеку, умеющему и желающему работать, открыты все пути. Тут много тяжелого — послевоенные трудности. Но это преодолимо. Сколько мне надо учиться! Я должна постичь как следует марксизм-ленинизм, без этого не станешь советским журналистом, и хорошим человеком тоже не станешь... Читаю «Былое и думы» Герцена. Потрясающая книга! Многое мне было бы понятпее, если б я раньше читала ее!»

В другом письме я требую, чтобы мать регулярно покупала «Литературную газету» («...там много интересного, много умного и правильного!») и почему-то набрасываюсь на Андре Моруа: «...буржуазная мелкотравчатая поверхностная культура, песок в глаза среднему интеллигенту. Его «биография» это несерьезные анекдоты о великих людях, помесь исторических фактов с бульварной литературой... Так спадают с моих глаз эти покровы буржуазной культуры, гниющей культуры, мама! У нас тут так: если знание — то знание истинное, никаких красивых фраз для прикрытия своего невежества!.. Чувствую, как умнею. Грущу лишь о тебе, о том, что Гуля наша — иностранка, о том, что пришлось разлучиться...»

Ответы матери на мои письма не сохранились — это она всё хранила, я же норовила все выбрасывать. Она писала о своей жизни, о друзьях, в обсуждение Герцена и «Литгазеты» не вдавалась, игнорировала. Лишь однажды не стерпела, осадила меня — это письмо я хорошо помню! Андре Моруа мать защищать не стала, она просто удивилась развязности моих суждений. «Уверена ли ты, что умнеешь? У меня этого впечатления не возникло. И не находишь ли ты, что уже время остепениться, поменьше восклицать, побольше размышлять? Желаю тебе трезвости, ты не девочка».

Да уж какая девочка! И я, и друзья мои вступили в четвертый десяток. Юре, самому из нас младшему, скоро должно было стукнуть тридцать. За нашими плечами жизненный опыт, включая сюда неудачные романы, несложившиеся бра-

ки и разводы. Прожито почти полжизни! Свежесть наших восприятий не возрастом объяснялась, а биографией.

Письмо матери задело меня, потому и запомнилось. Утешалась я тем, что мать сама продукт «буржуазной культуры», к тому же — человек пожилой. Глупо было затевать с нею этот разговор. У меня есть другие собеседники, готовые осуждать Андре Моруа... Подозреваю, что с произведениями этого писателя музыканты знакомы не были, но это не помешало бы им возмущаться — достаточно и того, что он представитель «буржуазной культуры». Мы были тогда такие отважные, такие смельчаки, очертя голову кидались рассуждать о чем угодно, брались с чужих слов и обвинять и оправдывать, и клеймить и восторгаться...

Да, письмо задело меня, ибо я ощущала справедливость материнских слов. Но ругала себя лишь за одно: за характер. Идиотский нрав! Вечно лезу проповедовать, вечно стремлюсь навязать другому то, во что верю сама. Пора научиться сдержанности.

Самобичевание не помешало мне, однако, возобновить проповеди в письме к сестре, в Париж... Ее муж, недавно демобилизованный морской офицер, в те годы и работал, и учился, жили они бедно, но той зимой стало им легче, и сестра радостно сообщала, что они, впервые за много лет, собираются отдохнуть в Ницце, на Лазурном берегу.

Париж. Ницца. Лазурный берег. Как «громы медные» прозвучали в ушах моих эти слова той казанской зимой, в том домишке, в том углу у занавески. Завидовала ли я сестре, которая видит Париж и скоро увидит Ниццу? Вероятно — да, хотя и себе в этом не призналась бы. Я сама выбрала свой путь, для меня он единственный, другого не могло быть, эта вера держала меня и, добавлю, не покинула до сегодня. И в своем ватном халате, под бабкин храп я вставляла в машинку новый лист сквернейшей бумаги оберточного типа, телесного цвета, с неровно обрезанными краями,— бумагу выдавали в институте... Того письма нет, сестра ведь тоже все выбрасы-

вала, но я помню его, из-за Ниццы, вероятно, и помню... Я радовалась за Ольгу, это прекрасно — повидать Лазурный берег, но не надо забывать о тех, у кого этой возможности нет. Ссылаясь на заметки нашей печати, я информировала сестру о положении французского рабочего класса и умоляла ее не «обуржуазиться»...

Но сохранилось письмо, отправленное мною в те же дни Катерине Ивановне Корнаковой. Я послала его на адрес матери, а она, перед тем как передать, сняла копию.

Корнакову я видела за несколько дней до моего отъезда: Бринеры устроили мне прощальный ужин, пригласив мою мать, Аду, еще каких-то друзей. На людях, на шуму, в присутствии Бориса Юльевича, Корнакова казалась веселой, спокойной, а в передней, прощаясь, шепнула мне: «Зайдите еще раз утром, как сможете, ладно?» Я обещала. И не зашла. Ясно видела, как все будет: халат, четвертинка и — слезы. Нечто подобное было за неделю до прощального ужина — я забежала к Катерине Ивановне на минутку, а просидела чуть не два часа. Разговорились за четвертинкой, почти как встарь, но от выражения ее глаз щемило сердце. И вспоминались мне тогда слова Цветаевой: «Русской ржи от меня поклон, ниве, где баба застится...» Корнакова поклонов не передавала и вообще больше слушала, чем сама говорила, время от времени повторяя: «Только бы вам в Москву попасть, Наталья, в Москву бы!» А в глазах — загнанность, безнадежность, тоска... Несмотря на уйму предотъездных дел, я могла бы выбрать часок, чтобы забежать к ней,— но не забежала. Себя щадила. Рядом была мать, которую страшил мой отъезд,— как я смеялась над этими страхами! — мать, изо всех сил старавшаяся быть такой, как всегда, чтобы никаких жалких слов, чтоб ни слезинки, и это удалось ей. Но годы спустя, стоило мне закрыть глаза, как я видела ее напряженно-спокойное лицо на шанхайской пристани, от которой под музыку и радостные клики отходил наш пароход. И вот уже лица не различишь, и фигура ее в сером пальто потеряла очертания, и берег все дальше, бежали по небу низкие облака, на реке дул пронзи-

тельный ветер, а я думала: какое у нее лицо сейчас, когда она знает, что я ее больше не вижу?

Я писала Корнаковой:

28 февраля 1948 г. Катерина Ивановна дорогая, знаю свою вину: обещала зайти и не зашла. Очень замоталась последние дни перед отъездом. Но ведь мы с вами простились! Еще раньше простились, до этого ужина на людях. Помните, как однажды днем, недельки за полторы до моего отъезда, мы с вами сидели вдвоем и так хорошо говорили! В том числе о людях «русских-русских» и «русских-нерусских»... Мне здесь все близко. И эти домики, и зимние закаты, и санки с бубенчиками, и старинные пузатые комоды, которые я видела в одном доме. Все тут мое. И народ мой и в горе, и в радости. Мне кажется, что по складу своему — я здешняя. Я больше подхожу сюда, чем к людям, от которых уехала. Уж вы-то это понимаете! Вы, которая так никогда и не сжилась с теми людьми... Ужасно правильно, что я приехала, все время это ощущаю!»

Кому я адресовала эти строки с сильным налетом литературщины? Человеку, в чужую почву не вросшему, от этого страдавшему, от этого погибшему. Корнакова и без меня знала, что не «сжилась» и не «вжилась», — это письмо могло лишь обострить ее неутихающую боль. Но я не думала о ней. О себе думала, в себя была погружена... «Народ мой и в горе, и в радости»! Ничего я об этом народе не знала, ни к чему привыкнуть еще не успела, в новую жизнь не вжилась, многое тяготило меня. Не отсюда ли взялись в письме «красивости» и восклицательные знаки? Убеждая других — убеждала себя.

В те ночные часы я пыталась и дневник вести, записывая мысли, родившиеся во время бесед с друзьями, впечатления дня... «Лотки на улицах. Не страшно купить пирожок с такого лотка, ибо все государственное, продукты на лотках не хуже, чем в магазинах. И, кроме того, знаешь: дороже с тебя не возьмут, не обжулят. Цены везде одинаковые!» Или: «Только люди, рисующие себе будущее «огромным академическим пайком» (Маяковский), могут думать лишь о правах, о при-

вилегиях, а не о долге. Новый советский человек предъявляет иные требования к себе и к другим!»

Я взвинчивала себя этими писаниями, щеки мои горели, тяготы быта, убогость жилья, безденежье — все пустяки, все преодолимо! Я ложилась спать, уважая себя, с миром в душе. Но вот из сладкого небытия меня вырывали громкие голоса хозяек и музыка радио. У потолка уже горела лампочка, седьмой час утра, но за окном ночь, печка остыла, холодно, подтыкаю со всех сторон одеяло, поворачиваюсь лицом к стене, пытаюсь снова нырнуть в сон, но не удается, действительность вцепилась в меня, держит на поверхности. Грязные, отставшие от стены обои, закопченные углы потолка, мимо занавески ходят, переругиваются, хлопает входная дверь, звякает на кухне ведро, бабка ходила за водой, вода ледяная, ею надо будет сейчас умываться у примитивного умывальника, а до этого еще выскакивать на улицу в мороз — и не до сна! И не хочется жить. Господи, что я тут делаю, в этом ужасном углу, рядом с людьми, с которыми нет и не будет общего языка? Зачем я здесь? Вспоминаю ванную с белым кафелем в однокомнатной квартире, где, после развода с мужем, я жила одна, и страшный вопрос — а надо ли было все бросать и ехать сюда? — обжигает меня, и глаза горячеют от слез... Никогда не созналась я ни друзьям, ни матери в письмах в этих приступах слабости, делала вид, что никаких сомнений не испытываю. Но испытывала. Беззащитен человек, насильственно вырванный из сна в утренние, предрассветные часы...

Очень запомнился мне вечер, когда я, вернувшись в свое жилье, застала у хозяек гостя, родственника из деревни. Гостя угощали, выпивали, хохотали и даже, кажется, пели, чему гремящее радио не препятствовало нисколько. Мне бы вот, жаждавшей общения с народом, который мой «и в горе, и в радости», с ними бы, за стол (приглашали!), поговорить бы, выпить, спеть. Но нет! Потопталась на пороге, соврала, что еще куда-то надо идти, и ушла, решив — вернусь, когда гость уйдет и все лягут спать. Что гость не уйдет, а останется ночевать, причем положат его на пол поперек нашей с бабкой

комнаты, головой к окну, ногами ко мне, и ступни его в толстых деревенских носках займут и мою площадь под занавеской (длинен был гость!),— это не пришло мне в голову. Я ушла, захватив с собой книгу для чтения. Куда ж ушла?

А в кафе. Убеждена была, что подобные учреждения, где люди пьют кофе, читают газеты, беседуют с друзьями, имеются в каждом городе. Ну, я готовилась к тому, что кафе будет плохонькое, неуютное, без мягких кресел, нечто вроде буфета в гостинице «Казань», но что никаких кафе тут не водится — к такому готова не была. Уныло брела со своей книжкой вниз по улице Куйбышева, и наконец желанная вывеска: «Чайная». Ага. Они, значит, тут не кофе, они чай пьют.

Клубы махорочного дыма, громкие голоса, запахи алкоголя, мокрых валенок, мокрой овчины. Я дрогнула на пороге, но все же вошла. Увидела слева от двери, в углу, свободный столик, села. Никто не снимал верхней одежды, не сняла шубы и я. Стойка, за стойкой толстая женщина, она ни к кому не подходила, шли к ней, сами несли за свои столики стаканы, тарелки. Но ко мне женщина подошла, видимо из любопытства, от удивления. «Чего вам?» Я попросила чаю и что-нибудь к чаю. Думала: принесут расписной фаянсовый чайник, ну и баранки,— это мне мерещились русские трактиры, описанные в литературе. Но принесли на тарелке два граненых, косо стоящих, друг к другу прислоненных стакана, наполненных мутной светлой жидкостью, легкую до невесомости алюминиевую мятую ложку, а на второй тарелке два куска грубо накромсанного черного хлеба. Мутная жидкость вкусом чай не напоминала, но была горячей и сладкой. Входная дверь скрипела, распахиваясь, врывался морозный воздух, в облаках пара появлялись люди в тулупах, стеганках, дверь на пружине захлопывалась со звуком пушечного выстрела. Я уже заметила, что была тут единственной женщиной (не считая той, за стойкой), и чая тут, кажется, не пили. Но никто не приставал ко мне, никто не пытался сесть за мой столик, никто не обидел меня. Вероятно, кидали в мою сторону изумленные взгляды, кивали на меня здешней тете

Клаве или тете Маше, а она шептала: «Сам, что ли, не видишь? Из этих она, из приезжих! Сидит вон, чай пьет, надо же!» Казанское население знало о существовании странных приезжих, узнавало их на улице по необычной одежде. И кто знает, может быть, на заводских собраниях рабочих и служащих информировали: дескать, приехали к нам, есть распоряжение на работу их брать, относиться по-хорошему, но кто знает, какие они из-за границы прибыли, там увидим, а пока поосторожней с ними...

Меня обходили сторонкой, и никто не пытался заговорить со мной. И я сидела в этом дымном и чадном, набитом людьми помещении в одиночестве, как если бы вокруг моего столика был очерчен магический круг, через который и самые пьяные переступить не решались, а может быть, сильно пьяных и не было в тот вечер. Их бы я запомнила, а у меня, кроме общей атмосферы этой чайной, в памяти не удержалось ничего, ни одного лица, ни одной фигуры. Отделенная от народа, который «мой и в горе, и в радости», прозрачной, но непробиваемой стеной, я была погружена в себя. Книжку свою так и не вынула, читать не хотелось, да и темно в углу. Плакала. Старалась лишь не всхлипывать громко, а могла бы и громко — голоса, смех, скрипение и выстрелы двери. Слезы капали в чай, мочили хлеб. Боже мой, а надо ли мне было ехать сюда? Зачем я здесь? Что я делаю здесь?

Вот, кажется, именно после этого вечера, после ночи, в течение которой я часто просыпалась, с тоской глядя на смутные очертания чужих ног под моей занавеской, я поведала о тяжестях своего быта Лазарю Ильичу Шулутко. Сидела в его кабинете, печатала на машинке, а он, диктуя, расхаживал взад-вперед, однажды остановился, участливо всмотрелся в мое лицо, спросил: «А живется вам как?» Я рассказала, как мне живется,— рассказ этот, думаю, напоминал старую солдатскую песню: «Очень чижало, ну, в общем — ничего!» Шулутко вздохнул, головой покачал. Надо искать комнату. А пока вечерами можно пользоваться институтской научной библиотекой и здесь, а не в углу у бабки, проводить вечера. Гар-

деробщице будет велено давать мне ключ, и тут, в тишине, я смогу и писать, и читать, и возвращаться в жилище свое только на ночь.

В письме от 18 марта я писала матери:

«Встаю в семь. Моюсь, одеваюсь и, захватив бутылку молока, иду в институт. В кабинете физкультуры занимаюсь гимнастикой натощак. Затем иду в библиотеку. Там еще пусто. На подоконнике между рамами лежит мой пакетик масла, там же я и недопитое молоко держу — это мой холодильник. Завтракаю и сажусь за работу. Раз или два в неделю в институте бывают совещания, научные конференции, я записываю выступления, а на следующий день расшифровываю. Потом хожу по нашим профессорам и врачам, они читают и исправляют, если я где наврала. Все вокруг стараются мне помочь. Народ в институте великолепный. Молодые женщины, опытные хирурги, бывшие на фронте, убеленные сединами профессора и чудесная старушка доцент, маленькая, некрасивая, в очках, с такими добрыми и умными глазами. Она работает над докторской диссертацией, проводит утра в библиотеке. Итак, утром расшифровываю. Но бывают утра пустые, все сделано, новых совещаний нет.

Тогда я тренируюсь в стенографии, пишу письма, читаю. В час тридцать обед. Обедаем внизу в большой столовой с огромными окнами и столами, покрытыми клеенками. Сидят врачи в белых халатах и шапочках, я тоже в белом халате. Если нет совещаний, я могу идти домой. Но не иду. Читаю. Иногда немного гуляю. А к четырем-пяти иду в гостиницу «Казань». Вечером, проводив Олега и Виталия в оперу, возвращаюсь в библиотеку, где теперь постоянно живет моя пишущая машинка. Домой ухожу к десяти вечера, когда мои прекрасные хозяйки ложатся спать. У музыкантов бывают свободные вечера, их мы проводим вместе, ходим в кино и уже были раз в здешнем драматическом театре. Жизнь моя скучновата, зато полезна. Много времени для писания, чтения, размышления. Хотела поступить на вечерние курсы марксизма-ленинизма, но не приняли, принимают лишь с осени. Если мне не

удастся попасть в филологический вуз, поступлю на курсы. Так что все очень хорошо, милая моя мамочка!»

Мне и в самом деле было хорошо в этом институте, где все, начиная от директора и кончая гардеробщицей, дружелюбно ко мне относились, старались облегчить мои первые шаги в новой, непривычной жизни... Позже, уже живя в Москве, я несколько раз ездила теплоходом по Волге, и, попадая проездом в Казань, мчалась на Большую Галактионовскую. Открывала дверь, меня охватывал особый, присущий лечебным учреждениям запах, сразу вызывая в памяти ту первую, трудную зиму, но грусти не будил, напротив, было весело думать, насколько жизнь моя с тех пор изменилась к лучшему... Под белыми шапочками врачей знакомые лица, и все мне рады, все меня помнят, и я бежала на второй этаж, обнималась с секретаршей директора Марьей Борисовной, иногда узнавала, что Шулутко на месте нет, он в отъезде или на совещании («так будет жалеть, что вас не видел!»), и я знала, что это не из вежливости сказано, он и в самом деле будет жалеть, он был ко мне расположен, как мы всегда бываем расположены к тем, кому сделали добро. В свои приезды в Москву Лазарь Ильич звонил мне, бывал в гостях. Его уже нет в живых. Столько лет прошло с той казанской зимы, нет в живых, вероятно, уже многих сотрудников этого института, о котором я до конца дней своих сохраню нежную и благодарную память.

Научная библиотека — комната просторная и светлая, три высоких окна. Стены в книжных стеллажах. Справа от входа, спиной к стеллажам сидел старичок библиотекарь. На той же линии у самого окна — столик, отданный в мое распоряжение. Я проводила здесь дни и вечера. Я фактически здесь поселилась. Машинка моя не покидала этот стол, ящики забиты моими бумагами, книгами и даже такими предметами, как мыло, крем, одеколон, полотенце. А на подоконнике между рамами красовалась бутылка молока, пакетик масла. Окончательно тут прижившись, я стала вывешивать за окно и колбасу, и иные скоропортящиеся продукты. Директор в библио-

теке почти не появлялся, нужные ему книги, вероятно, приносили ему в кабинет. Но однажды директор появился: сопровождал гостей из Москвы, которым демонстрировал институт — водил по палатам, по ординаторским, показывал отделение патофизиологии, помещавшееся в особом домике во дворе. Дошла очередь до научной библиотеки. Прекрасное помещение! Светло, чисто, тепло, тихо. Можно проводить часы, трудясь над диссертацией, а можно забежать на минутку, за справкой, библиотекарь немедленно отыщет нужную книгу, а забежавший, иногда присев, а иногда на ходу, книгу перелистает, найдет что надо, убежит...

С вежливостью, ему свойственной, директор представил гостям библиотекаря, представил меня (наша стенографистка!), и тут взгляд его, внимательный, хозяйский, желавший убедиться, что краснеть перед гостями за беспорядок в помещении не придется, остановился на окне. Бутылка молока. Рядом пакетик. На веревке, прикрепленной к форточке, еще пакетик, слегка колеблемый мартовским ветром. Вполне естественно, даже мило, эдак заботливо для тех времен, когда холодильники еще не стали предметом привычного домашнего обихода и за всеми окнами жилых помещений непременно что-то висело. Но в библиотеке! Да еще научной! Глазами директора я оценила все неприличие этой бутылки, этих пакетов, собственным телом заслонить бы окно от взоров гостей (они, на мое счастье, увлеклись беседой с библиотекарем!), но я приросла к полу, двинуться не могла и, вероятно, сильно покраснела. По моим заграничным понятиям, человека, спутавшего деловое помещение с жилым, следовало либо уволить, либо, в лучшем случае, прочитать ему строгую нотацию на тему о том, что всему свое место. Я воображала такие язвительные слова: «А раскладушку свою вы еще сюда не принесли?» Никакой нотации, никаких упреков не последовало и позже. А в тот день директор, кинув взгляд на окно и все поняв, сразу отвернулся, подошел к гостям, заговорил с ними, увел их... Как же я была ему благодарна за это!

В библиотеке ежеутренне проводила несколько часов до-

цент Наталья Алексеевна Герасимова. Та самая, о которой я писала матери: «Некрасивая старушка с добрыми и умными глазами». Полагаю, что «старушке» было тогда немногим больше пятидесяти. Понятия о старости смещаются, в двадцать лет для нас стары сорокалетние, в тридцать — пятидесятилетние. Герасимова трудилась над диссертацией, прилежно исписывая страницу за страницей. Невысокая, с крупной не по росту головой, с крупными чертами лица, будто вылепленного наспех, небрежно, кое-как, она ходила вперевалку и напоминала мне медвежонка... Я стучала на машинке, расшифровывая очередную стенограмму, в медицине была невежественна до изумления, даже слово «травма» узнала тогда впервые! Расшифровка терминов то и дело ставила меня в тупик, я обращалась к Герасимовой, частенько этим злоупотребляла, но никогда ни в тоне голоса ее, ни в лице не проскальзывало и намека на раздражение. А я, ставя себя сегодня на ее место, раздражалась бы. Дескать, мало того, что эта чертова стенографистка стучит под ухом на машинке, нет, ей еще поминутно помогай, подсказывай, бросай ради нее свою работу, едва вникнешь, как умоляющий голос: «Наталья Алексеевна! Извините, но я... »И перебита мысль. Погружайся потом вновь. Так бы, конечно, думала я, человек раздражительный, плохо выносящий помехи в работе. Что думала Герасимова— не знаю. Она сдвигала на лоб очки, с секунду глядела невидяще, мысли еще там, в работе, но вот ее маленькие глаза прояснялись, видели меня, идущую к ее столу, и она улыбалась доброй своей улыбкой: «Давайте, давайте, что у вас?» Я вообще не помню, чтобы эта женщина на кого-то сердилась, повышала голос. Такая тихая, скромная, вежливая, мухи не обидит, а дело свое, видимо, знала прекрасно, не помню, каков был ее медицинский профиль, но помню, что в институте ее очень уважали, очень с нею считались. На институтских конференциях разгорались иногда медицинские споры, Герасимова и тут голоса не повышала, но мнение свое отстаивала твердо, и я всегда была на ее стороне, хотя совсем не понимала предмета спора.

Она была уроженкой Казани, в семье ее были врачами и покойный отец, и единственный брат. Училась она в знаменитом Казанском университете, славном своими химической и лингвистической школами, по рождению, воспитанию и характеру принадлежала к той, в литературе описанной, плеяде русских врачей-бессребреников... Она делила квартиру с семьей брата, и я не раз бывала в ее комнате, тесно заставленной книжными полками и старинной мебелью,— не там ли я видела «пузатый комод»? Посредине круглый стол, накрытый не то плюшевой, не то бархатной скатертью с бахромой, а поверх настилалась белая — Наталья Алексеевна не отпускала меня без угощения. И всегда пыталась всучить мне деньги. До сих пор в ушах моих звучит этот тихий глуховатый голос: «Вам деньги не нужны ли?» Я отказывалась. Она настаивала. «Поймите, у меня лишние, они мне сейчас не нужны!» Я не выдерживала. Брала у нее то пятьдесят рублей, то сто. Мне говорили: «Вы отдавать не торопитесь. Отдадите, когда будет нетрудно». В свое оправдание скажу, что я все же торопилась. Что-нибудь продавала и расплачивалась с Натальей Алексеевной...

Я была плохой стенографисткой. Это ремесло нуждается в постоянных упражнениях, а я давно не имела практики. Я созналась в этом Шулутко во время нашего первого разговора. Он сказал: «Ничего. В штат мы вас зачислим сразу, а на совещаниях начнем занимать не сразу. Восстанавливайте свою стенографию!»

Я заставляла своих друзей мне диктовать. Писала под радио — вот когда оно, постоянно бормочущее в моем жилье, мне пригодилось. Бродила по институту, записывала разговоры санитарок, больных — при институте была клиника. Меня поразило, что Шулутко согласился платить мне жалованье даром. Не совсем, правда, даром — он вызывал меня с машинкой в свой кабинет, диктовал письма, статьи... И вот недельки через три после поступления я в качестве стенографи-

стки присутствую в конференц-зале. Сижу за маленьким столом, правее стола президиума и кафедры, на которую поднимаются выступающие. За окном — бело, метель. И в зале бело — халаты, шапочки. Присутствуют врачи из других институтов. Ловлю на себе любопытные взгляды. Легко вообразить, какие слова шептались в белых рядах: «Из этих, из приезжих!» — «Да пу? То-то я смотрю, какая-то она не такая!» Моя персона явно уводила внимание присутствующих в сторону. Но вот раздался баритон Шулутко, открывающего совещание, я хватаю карандаш, погружаюсь в блокнот, в стенографические закорючки. Шулутко говорит медленно, внятно, вроде бы я все записала, на кафедру поднимается врач Тарнопольский. С ним я знакома. Он ободряюще мне улыбается: дескать, о вас помню, торопиться не буду, спасибо ему, милый он человек, но вот ему что-то возразили с места, милый человек разгорячился, заговорил быстро, не успеваю, не успеваю, и что это значит — «травматизм», и что такое «филатовский стебель», и какая-то «регенерация» или «дегенерация» ткани?

Назавтра, расшифровывая свои закорючки, я пришла в ужас. Бред шизофреника, бессвязные фразы, пропуски. Какая я стенографистка? Я самозванка. Пойти и сознаться в этом директору. Лучше сразу, не тянуть. В то утро Герасимовой почему-то не было в библиотеке, но вбежал Тарнопольский за книгой. «Как дела? Справляетесь?» Я твердо ответила, что не справляюсь и справляться, видимо, не буду никогда. Ничего не смыслю в медицине. Плохо смыслю, как выяснилось, и в стенографии. Грустно, что я всех подвела.

Молодой, моих примерно лет, скорее высокий, с приятно интеллигентным черноглазым лицом и темной бородкой «априкатр»[1] — Тарнопольский засмеялся. Пустяки! Состряпаем! Все будет в лучшем виде!

И мы состряпали. Стряпал, впрочем, он, иногда заглядывая в мои отрывочные записи, чтобы вспомнить, кто за кем

[1] Под Генриха IV *(фр.)*.

выступал, а я лишь печатала под его диктовку. Происходило это в ординаторской в тот же вечер — то ли Тарнопольский дежурил, то ли задержался после работы... И все стало «в лучшем виде». Но стенограмма, конечно, не вполне внятное изложение конференции. С этим текстом уже не стыдно было ходить по врачам, просить их проверить ими сказанное.

Следующее совещание с малым числом участников, происходившее в кабинете Шулутко, я записала уже лучше, хотя своими силами все расшифровать не смогла, помогала Наталья Алексеевна.

Образовался у меня в институте и еще один друг — профессор Товий Давидович Эпштейн; этого высокого, элегантного старого человека давно уже, думаю, нет в живых... Что-то он в институте возглавлял, был у него свой просторный кабинет, где я часто сиживала. Приду со своей неточной, не говоря о пропусках, записью его выступления, он глянет — оставьте, я сделаю и передам вам в конце дня, а пока присядьте, покурите (подвигал пепельницу). Ему интересны были не только мои рассказы о жизни ТАМ, но и восприятие мое здешней жизни, слушал, откинувшись в кресле, усмехался... В моих отношениях с Шулутко был налет официальности, с ним в то время я себя просто не чувствовала, а с этим — чувствовала. Будто этого старого господина, такого вежливого, приятного в обращении, я знаю давно, знаю с детства. Он вникал в мою жизнь, рассказывал о Казани, советовал мне осенью непременно поступить в вуз. Я бывала дома у Герасимовой, была приглашаема в гости Тарнопольским и его женой, у Эпштейна же не бывала никогда, и не знаю, как он жил, какова была его семья... В конце дня я получала от него «исправленную» стенограмму. На деле же Товий Давидович свое выступление писал сызнова, это, видимо, ему проще было, чем исправлять... Так же поступали и некоторые другие врачи. Я считалась стенографисткой, но мое присутствие на совещаниях вело лишь к тому, что у врачей появилась дополнительная работа — записывать свои устные выступления, опираясь на мой приблизительный текст. Но никогда

ни от кого я не услышала слова упрека. Извинялась. В ответ говорили: «Ничего, научитесь!»

Я и научилась в результате. А как зато мне было просто записывать лекции в казанской консерватории, куда меня взяли в штат в середине мая того же года. И как просто было стенографировать совещания в казанском ВТО, где я работала на сдельной оплате следующую зиму. Помогал мне и мой литературный опыт. Среди выступавших бывали татары, не блестяще владевшие русской речью, в моей же расшифрованной стенограмме они говорили правильно, падежей не путали, моя слава стенографистки росла, я не успевала откликаться на все приглашения.

Но я всегда помнила, что это пришло благодаря терпению сотрудников Института ортопедии. Оно смущало и изумляло меня. В иностранных фирмах Шанхая стенографисткам устраивали конкурс, брали на работу лучшую, то же и с машинистками: желающих много, мест мало. Кто бы там терпел мою, с позволения сказать, стенографию? За границей человека немедленно бы уволили, если б увидели, что он не справляется: там непрофессионализма не терпели, даром денег не платили.

А здесь, пусть мало, но платили. Скоро я убедилась, что в своем непрофессионализме не одинока. В институте было две машинистки. Обе понятия не имели о слепой десятипальцевой системе, работали медленно, с опечатками... Когда я получала свою первую зарплату, меня поразила кассирша. В Шанхае кассиры обращались с пачками денег так, как опытные картежники с колодами карт: считали молниеносно, впечатление такое, что перед глазами что-то разноцветно мелькнуло, жик, готово, пачка пересчитана, разноцветно мелькает следующая. А здешняя кассирша считала неловко, по-домашнему. Возьмет пачку и откладывает в сторону десяточки, одну за другой, неторопливо; перед окошком дышит, переминается с ноги на ногу очередь белых халатов, кассирша отложенные десяточки еще раз пересчитывает, перекладывает, а как же — деньги, дело ответственное, не ошибиться

бы... Я очень удивлялась. В институте первоклассные хирурги, многознающие ученые, опытные врачи, а люди, занимающие мелкие технические должности, работают неумело, непрофессионально, кое-как...

Обе машинистки впервые в жизни услыхали от меня, что машинописи за границей учатся в специальных школах. На выпускных экзаменах требовалась не только быстрота и отсутствие опечаток, но и ритмичность, ровность ударов по клавишам, все буквы на бумаге должны были иметь одинаковый цвет. Машинистки удивились, сказали: «Ну надо же!» — и продолжали печатать по-своему. И правы были. Их переучить было уже невозможно. Но вот профессор Эпштейн и доцент Герасимова моим рассказом заинтересовались чрезвычайно, оба купили себе портативные пишущие машинки и попросили меня их учить. Годы спустя, в Москве, получая от Натальи Алексеевны напечатанные на машинке письма, я радовалась, читая в них: «Машинка экономит мне уйму времени, мне уже кажется странным, что я могла без нее обходиться».

В казанских магазинах сахару той зимой не было. Но замдиректора по хозяйственной части (пожилой, суровый, ходивший в галифе и френче) для сотрудников сахар доставал. Появлялась продавщица, столовая в эти часы превращалась в магазин, один из столов — в прилавок. Случалось это два-три раза в месяц и всегда неожиданно. В научную библиотеку врывалась либо санитарка, либо кто-нибудь из врачей: «Сахар дают!» В столовой уже толпятся белые халаты. В одни руки — полкило. «Можно, я возьму для Лидии Григорьевны? Она на операции!» — «Нельзя. Сама должна прийти!» (это произносит завхоз, наблюдающий за порядком). «А если не успеет?» — «Останется без сахара!» Для кого-то, однако, исключения делались. Для Шулутко. Еще, быть может, для трех-четырех профессоров. Но остальные, включая сюда доцента Герасимову, свои полкило выстаивали, оставив работу.

Я думала: какая дичь! Сахара должно хватить на всех, его привозят столько, чтобы досталось каждому, кто работает

в институте, по числу сотрудников привозят. Зачем же отрывать людей от дела, заставлять врачей, сестер, санитарок стоять в этой идиотской (ибо бессмысленной!) очереди? Это можно организовать куда проще, разумнее. Я придумала — как — и отправилась однажды со своим рацпредложением к завхозу. Была уже с ним знакома. Он давал мне бумажки, предъявив которые кладовщику, я получала пз склада ленты для машинки, карандаши, резинки и ту телесного цвета бумагу, на которой печатала. Завхоз моим предложением не восхитился. Сурово сказал: «Есть приказ: в порядке ЖИВОЙ очереди!» — «Но не все ли равно...» — «Не все равно! ЖИВАЯ очередь, слово вам понятно?» — «Слово-то понятно, но ведь глупо...» Меня перебили, слегка повысив голос: «Умно или глупо — не наше с вами дело. Сказано: живая очередь!»

Мне доверили перепечатывание в стенгазету заметок и даже их редактирование. Был и фельетон на тему: «Что кому снится». Кому именно и что именно снилось, я забыла, помню только, что фельетон показался мне слабым, беспомощным и начисто лишенным юмора. Что ж, понятно, перо не профессиональное. Мне бы вот в следующий номер написать. Эдакую сатирическую заметку о бесплодной растрате времени в сахарных очередях. Но я скоро одумалась. В самом деле: кроме меня, никто против этих очередей не возражает, я одинока в своем возмущении. Наталья Алексеевна с моей точкой зрения вроде бы и согласилась, но как-то вяло. Дескать: что тут сделаешь?

Виталий, Олег и начавший появляться по воскресеньям Юра (соскучился без нас на своем кирпичном заводе!) твердо заявили, что соваться с фельетонами мне рано. Мы еще не вжились, нам многое непонятно. Виталий учил, смотреть на вещи надо шире. Пусть машинистки, кассиры и еще там кто-то, с твоей точки зрения, плохо работают, пусть очереди за сахаром тебе кажутся бессмысленными, но все это ничуть не мешает твоему институту получать ежегодно переходящее Красное знамя, быть лучшим в республике. Это вот основное, а иначе можно «утонуть в болоте мелкого критиканства» —

Виталий любил такие выражения. Юра пошел дальше. Выдвинул вот какую теорию: сатира должна отмереть у нас вообще. В сатирических перьях нуждалась старая Россия и нуждается капиталистический мир. А нам эти перья ни к чему. Имеющиеся отдельные недостатки — это болезни роста. Со временем они отпадут сами собой, и сатирическим бичом тут только вред принесешь, а не пользу. (Между прочим: эту же примерно мысль недолгое время спустя я встретила в статье известного советского журналиста, ныне покойного,— дескать, чичиковы, ноздревы, собакевичи, а также городничие у нас давно вывелись, эти типы встречаются только за рубежом, и, значит, фельетонистам оттачивать перья следует в основном на заграничном материале.) Я тогда Юре возражала, цитируя Маяковского: «...чтоб критика дрянь косила!» — в ответ слышала, что слова Маяковского относятся к двадцатым годам, когда «пережитки в сознании» еще совсем не были изжиты, а сегодня, да еще после победоносной войны... Разгорячившись, Юра и дальше пошел (ах, его всегда заносило так далеко!), заявив, что чувство юмора — вредный дар. Его надо в себе гасить, бороться с ним. Я онемела от изумления и возмущения. Виталий — и тот удивился: «Ну, братец, ты загнул!» Но удержать Юру возможности не было. Возражения его лишь разжигали, он несся дальше, от грешной земли отрывался уже полностью, летел ввысь, достигал состояния невесомости... Да, да, да! Юмор толкает человека видеть во всем темные стороны, видеть недостатки в первую очередь, приводит к зубоскальству, вспомните, до чего докатился Зощенко! И тому подобное. И в том же духе.

(Забегая вперед, скажу, что дикие эти рассуждения бесследно для меня не прошли. В журнале «Крокодил», в начале 50-х годов, я писала сатирические заметки только на международные темы и очень, очень стремилась переквалифицироваться в очеркистку. По заданию журнала «Огонек» летом 1952 года я ездила в командировку в шахтерский поселок близ города Шахты, написала затем голубой очерк под дамским заголовком: «Самое дорогое!» Очерк получился бездар-

ным, беспомощным — а как я мучилась над ним, как переделывала, переписывала и как теперь рада, что топорное это произведение света не увидело. А тогда огорчалась: сколько сил на него убито, сколько мук он мне стоил. Тогда мне не приходило в голову, что эти «муки творчества» как раз и называются: становиться «на горло собственной песне».)

В том же марте меня принимали в профсоюз. Предложили подняться на кафедру и рассказать о себе. Не знаю, как тут проходили другие профсоюзные собрания, а на это сбежались все, будто в зале кино показывают. Ни единого свободного стула. В дверях тоже толпятся белые халаты... Я начинаю сухо: родилась тогда-то, там-то, из Петрограда увезли трехлетней, в Харбин попала пятилетней, там училась, в конце 36-го года переехала в Шанхай. Меня слушают напряженно, зал замер, не дышит, это вдохновляет меня, я рассказываю о своей газетке «Шанхайский базар», а затем о работе в «Новой жизни»... Когда я кончила, в разных местах внезапно вспыхнули и тут же погасли аплодисменты, видимо, правилами не предусмотренные, и голос председателя: «Вопросы будут?» Они были, кажется, но я не помню их, помню краткое выступление одного из врачей: «Человек с первых дней войны к нам пришел, с нами пошел, чего тут рассуждать? Принять ее в профсоюз, и точка!» Приняли единогласно.

Я описывала матери это собрание в таких восторженных тонах, будто меня, по крайней мере, посвятили в рыцарский орден. Я в профсоюзе! Я полноправный член институтской семьи!

Я была плохой стенографисткой, но беспокоило меня это лишь самое первое время. Верила — постигну. Поддерживало доброе ко мне отношение, добрый интерес. И я ощущала свою в институте нужность. Вот директору пригодилась моя быстрота на машинке — диктует мне письма, статьи. Я полезна Эпштейну, Герасимовой — учу их печатать. Принимаю активное участие в стенгазете. Мне было хорошо в институте.

Но вот наступал вечер. Проводив музыкантов до дверей оперного театра, я вновь шла в институт. Брала внизу ключ,

поднималась на третий этаж по пустынной сейчас лестнице, входила в темную библиотеку. В незанавешенные большие окна видны покрытые снегом крыши домов, огоньки бегущей вниз улицы Куйбышева, я зажигала на своем столе лампу, окна чернели, в них уже ничего не видно, кроме отражения зеленого абажура. Круг света на столе, углы комнаты тонут в полумраке. Откроем машинку. Поработаем. Тишина. Впрочем, изредка доносится заглушенное расстоянием треньканье гитары из какой-то палаты или слышатся отдаленные голоса, и что-то звякнуло — нянечки разносят больным ужин, и опять тихо. Та самая блаженная тишина, о которой я так мечтала в своем убогом жилище, и та, к работе располагающая, строгость уставленной книжными полками большой комнаты. Никто не мешает тебе, трудись же! Но я ловлю себя на том, что вслушиваюсь в едва различимые звуки гитары, стараясь распознать мотив. *ЭТО* тебе мешает? Нисколько. Напротив. Звуки приятны. Ну так — действуй. Читай. Мысли. Пиши. А я, вместо этого, вспоминаю ночное небо Шанхая в пляшущих разноцветных неоновых рекламах, огни двадцатиэтажного небоскреба «Парк-отеля», музыку из открытых дверей баров, подъезды кинотеатров, мчащиеся машины, а на тротуарах — люди, люди, люди, кипучая жизнь огромного города. Зеленое отражение лампы в черном стекле окна. А за ним белые крыши низеньких домов, густые улицы, деревенская тишина. Внезапно, по ковровой дорожке коридора, — тупые, ритмичные удары — туп-прыг, туп-прыг, и приоткрывается дверь библиотеки. Больничная пижама, одна штанина подвязана, у человека нет ноги, допрыгал сюда на костылях. Заглянул, смутился: «Извините!» — «Пожалуйста, пожалуйста. Да вы зайдите!» — «Нет, зачем же? Не буду вам мешать!» И дверь закрылась, и снова «туп-прыг» по коридору. Мне хочется броситься вслед, ради бога, войдите, ради бога, помешайте мне, поговорите со мной, избавьте от одиночества, от этой опостылевшей машинки, которая уставилась на меня белыми клавишами, черными буквами. Чего ей надо? Не хочу я работать, утром наработано, расшифровано, напечатано,

дальше что? Записывать впечатления дня? Надоело! Размышлять? Над чем это? Господи, какая тоска!

Спокойно. Не распускаться. Взять себя в руки!

Я беру себя в руки и отстукиваю письмо к матери.

«Это так хорошо, мам, что я в Казани! Казань — тишина, Казань — возможность думать, работать. Казань дала мне уже то, что я становлюсь приличной стенографисткой. Так что все хорошо, все полезно. Ну, сознаюсь, бывает и одиноко, и скучновато. Каждое воскресенье вижу Юру. Каждый день Виталия и Олега. Но вечерами музыканты заняты, а Юра далеко живет. Они чудесные ребята, прекрасные друзья, но едиными ими не может быть сыт человек. Мы все ведем умные разговоры, а хочется и глупых... Так что видишь, мама, я, как филатовский стебель, не прижилась еще к новой почве. Обрати внимание на роскошное медицинское сравнение. Скоро я, кажется, буду готова сдать кандидатский минимум — уже просто блещу медицинскими терминами!»...

...Лет семь спустя я услыхала от Анны Андреевны Ахматовой, что уединение и скука человеку полезны. Человек остается с собою один на один, без отвлечений, без рассеяний. Никуда от себя не уйдешь, волей-неволей в себя и вглядишься, а такое делать следует. Ахматова добавила с усмешкой: «Иногда возникают мысли».

И мне сразу вспомнилось, что мысль написать роман явилась у меня именно в один из тех казанских тоскливых вечеров... Впрочем, громкое слово «роман» мне тогда и не мерещилось, и я не уверена, позволительно ли назвать мыслью то, что во мне однажды забрезжило... Было примерно так. Сидя за столом, я глядела в черное стекло, в котором, кроме отражения зеленой лампы,— ничего, и воображала за ним эти пустынные улицы, снег на крышах низеньких домов, и в их окнах оранжевый свет, здесь почему-то у всех шелковые, оранжевые абажуры, такой у Тарнопольских, такой у Герасимовой, что она делает сейчас, пьет, верно, чай в своей комнате с пузатым комодом... Печально тренькала гитара, кто это играет, не тот ли безногий, что ко мне заглядывал? Он, ко-

нечно, потерял ногу на войне, большинство пациентов института жертвы войны, в свое время им отняли руку или ногу, но вот заболела культя, понадобилась вторая операция... И пришли мне тогда в голову строки Блока: «Да, ночные пути роковые развели нас и вновь свели, и опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли». От этих строк, как круги по воде, пошли виденья. Я вновь увидела сибирский полустанок, старушку с молоком на перроне, ее вопрос: «Чего ж приехали?», увидела замерший зал, слушающие лица на профсоюзном собрании... И внезапно мне страстно захотелось рассказать, объяснить, почему я, почему мы так стремились в Россию из чужой земли... Этот рассказ, вылившийся затем в роман «Возвращение», я начала писать тремя годами позже, в Москве, а тогда, в Казани, мысль моя, не успев расцвести, была тут же затоптана друзьями. Они темы «о нас» не одобрили. Надо идти вперед, вживаться в здешнюю жизнь, ее осмысливать, а уход в прошлое этот процесс задержит, ему помешает. И еще что-то в этом роде. Намерение рассказать «о нас» было оставлено.

Апрель. Днем пригревало, снег таял, по тротуарам круто идущей вниз улицы Куйбышева мчались, бормоча, ручьи и сверкали на солнце, я впервые видела русскую весну, мое убогое жилье после уличного сияния и света казалось особенно невыносимым. Мной «овладело беспокойство, охота к перемене мест»... Я переписывалась со своими ленинградскими тетками и с дядей Ваней, жившим в Москве, меня звали погостить. Я выпросила у Шулутко десять дней отпуска за свой счет. Матери писала: «...отпуска мне не полагается, ведь я работаю всего два месяца, но наш директор умница, не формалист, пошел мне навстречу...»

Я продала артистке казанской филармонии свое вечернее платье (шелковое, до полу, с открытой спиной), купила билет в жестком вагоне и поехала в Москву. Из письма, написанного в то время матери, я узнаю, что по дороге видела «апрельские черные с кусками снега поля, деревеньки, древний город Муром (слово-то, мама, слово какое!), и все казалось

мне близким, и все брало за душу». Но в памяти моей из этого путешествия осталась почему-то лишь станция Черусти. Поезд прибыл туда под вечер, стоял минут пятнадцать, я вышла пройтись. Ничего особенного тут не было, обычные вокзальные строения, невзрачные киоски, чахлые деревья в станционном сквере. Вечер был тих, благостен, пахло весной, и было розово закатное небо, и внезапно сердце мое дрогнуло при мысли, что я рядом с Москвой, еще каких-то три-четыре часа — и я увижу ее, увижу Москву, да может ли это быть?

* * *

Дядя Иван Дмитриевич явился на вокзал с моей фотографией, узнать меня не надеялся. И все же: дал мне пройти мимо. Я прошла было, но обернулась. Что-то знакомое почудилось мне в мешковатой, глубоко штатской фигуре, что-то напоминающее дядю Шуру, хотя тот роста огромного, этот же среднего. Лицо тоже напоминало дядю Шуру, пе чертами, чем-то неуловимым. Я сказала уверенно: «Здравствуй, дядя Ваня!»

Мы ехали в метро, и я восхищалась всеми видными в окно станциями, и особенно сразила меня строгой, элегантной белизной та, где мы вышли: «Дворец Советов». Темный, тогда еще булыжником мощенный Гагаринский переулок, справа и слева ампирные особнячки, это я в самом деле иду по Москве? Одноэтажный старый дом, крыльцо, обитая войлоком дверь, за ней просторная, безлюдная в вечерний поздний час кухня, слабо освещенная лампочкой у потолка, столы под клеенками, керосинки, кастрюли, затем темные закоулки большой коммунальной квартиры. И вот на шаги наши распахивается дверь, я попадаю в объятия седой, полной женщины в очках, которая сразу требует, чтобы я называла ее «тетя Инна» и «ты». Стол, белая скатерть, желтый шелковый абажур, у одной стены диван, у другой — кровать, два зашторенных окна, картины, фотографии, комната просторна, уютна. Меня кормят, меня расспрашивают, дядя Ваня, не в

пример дяде Шуре, собеседника видит, к собеседнику внимателен, понимает шутку, хорошо смеется. А с письменного в простенке стола глядят на меня фотографии бабушки и «дядюшки-профессора», всю жизнь знакомые, и я ощущаю родственную нежность к дяде Ване и к полной громкоголосой женщине, его жене. Спать меня укладывают на маленькой, примыкающей к комнате, утепленной веранде, и я долго не могу заснуть, и все мне не верится, что за темными, мелкими квадратами стекол — Москва. Я ее еще не видела. Я увижу ее завтра.

Одноэтажный особнячок в Гагаринском переулке принадлежал когда-то профессору Герье (известные «курсы Герье») и после революции по распоряжению Советского правительства был оставлен в собственность профессора. В 1948 году, когда я впервые переступила порог этого дома, им владела дочь Герье — Софья Владимировна. Она занимала две комнаты, в одной, просторной, жила сама, в другой, поменьше, старушка домработница. Женщина одинокая, безмужняя, бездетная, Софья Владимировна не могла избежать уплотнения, но, видимо, часть соседей ей было разрешено подобрать самой. Тут жили интеллигентные люди, под стать самой Софье Владимировне, трудившейся в те годы над составлением русско-итальянского словаря,— словарь этот вышел в 1953 году. Были здесь, однако, жильцы и иного плана, не вписывавшиеся в компанию образованных старушек и семейств, вроде моего дядюшки-агронома, его жены, художницы-иллюстраторши, и еще одного художника с женой и детьми. Каких-то жильцов, значит, Софье Владимировне подселили, ее мнения не спрашивая, власть ее над отцовским домом была призрачна, попросту нереальна, и, кроме хлопот и беспокойств, не приносила ничего. Кажется, именно в том году или годом позже, Софья Владимировна от домовладения отказалась, передав свой старый особняк государству.

Полагаю, что при жизни профессора Герье существовал парадный подъезд, выходивший на Гагаринский переулок. Но

я этой двери не помню, ее, видимо, уничтожили бесследно, превратив в часть стены. Теперь войти в дом можно было лишь через черный ход, со стороны Мало-Власьевского переулка, и вошедший попадал в рев примусов, в шипение сковородок, в кухонный чад и дым.

Комнаты квартиры расположены по правую и левую сторону кухни. Справа, напротив висевшего в коридорчике телефона (стена сплошь исписана шестизначными цифрами телефонных номеров), в большой, метров в двадцать пять, комнате обитала Екатерина Александровна Булыгина с племянницей Оленькой. Не берусь определить возраст Оленьки, уже тогда седой, из-за чего она казалась мне вполне старой, а возможно, ей и пятидесяти не было: я ведь все видела иными, чем теперь, молодыми глазами. А вот то, что Булыгиной было семьдесят семь лет, знаю точно, это сообщил мне дядя Ваня, а я запомнила.

Никогда не бывшая замужем, в дореволюционные годы начальница («maman») казанского института благородных девиц, Екатерина Александровна была женщиной роста высокого, очень худой и, несмотря на годы, прямой. Строгий, умный взгляд небольших выцветших голубых глаз. Одевалась по старинке — юбки по щиколотку, блузки с кружевцом и брошью у шеи, а седые жиденькие волосы зачесаны наверх и собраны на темени в маленький кукиш. Ей под восемьдесят, но «добытчиком» семьи была именно она (Оленька вела хозяйство), числясь в штате кафедры иностранных языков Академии наук и готовя аспирантов к сдаче кандидатского минимума по французскому и немецкому языкам. Снисходя к преклонному возрасту Булыгиной, кафедра посылала учеников к ней на дом.

Хорошо помню ее явление на пороге дяди Ваниной комнаты в следующее утро моего приезда. Утро воскресное, мы за столом. Стук в дверь. Вошла. «Сиди, Иван, сиди! Инна, не суетись, кофе я пила и вообще на минутку... (Мне.) А ну, покажись. Так. Длинная. На мать похожа. Глаза, впрочем, отцовские. Я твоего отца не любила, пустой человек. Зайди

потом ко мне. Ольга на базар побежала, а ей тоже интересно на тебя глянуть. Зайдешь?» — «Да, Екатерина Александровна». Строго: «Я тебе не Екатерина Александровна. Я тебе тетя Катя!»

За ширмочкой кровать под белым покрывалом с горой подушек, над изголовьем икона Казанской божией матери — тут спала тетя Катя, Ольга же ночевала на диванчике у стола — за этим столом ели, за ним принимали гостей. Против двери большое окно, справа от него в углу целый иконостас с неугасимой лампадой, а стена над старинным секретером сплошь завешана фотографиями и портретами. Над старцами с раздвоенными бородами, над дамами в шляпках с цветами и птицами доминировал большой, писанный маслом портрет юного темноусого военного в эполетах и золотых шнурах на выпяченной груди. Именно на нем скрещивались родственные линии Булыгиных и Воейковых, что тетя Катя в тот мой первый приход подробнейше мне растолковала. Поминалась фамилия «Мертваго», может быть, это была фамилия военного, а может, родственные связи шли по двум линиям, и через военного — и через Мертваго. Бог его знает. Я не вслушивалась. За окном весна, за окном Москва, я еще не ходила по ее улицам, а тут свалившаяся мне на голову новая тетя толкует о предках, кто на ком женился, сколько у кого было детей, я думала про себя насмешливо: «Иван Иваныч Фандерфлит женат на тетке Воронцова...» Все это я уже слышала, живя в эмиграции, и подобные фотографии в альбомах видела, не держите меня на этом островке прошлого, пустите на волю, к новому, к сегодняшнему... Сегодняшняя жизнь была, однако, тут же, рядом, давала о себе знать шумом кухни и чьим-то пронзительным женским голосом, кричавшим в телефон: «Учти, через час не придешь — все! Охотников много!» Оленька, почтительно внимавшая тете Кате, при звуках этого голоса страдальчески сморщилась, а Екатерина Александровна молвила: «Какое счастье, что я глохну!» — и затем: «Итак, твоя бабушка приходилась мне двоюродной теткой, а твоя мать, следовательно...»

Страстное желание сбежать я изо всех сил скрывала, в этой старухе, в ее ровном, не привыкшем к возражениям голосе было нечто внушавшее уважение, я держалась школьницей, лицемерно бормотала: «Да? Как интересно!» Покончив с предками, Булыгина указала мне на фотографию сравнительно молодых мужчины и женщины, загорелых, одетых по-летнему, вполне современных, сказав: «Племянник Николай (Ольгин двоюродный брат) с женой. Живут под Парижем. Небольшая ферма. Вполне устроены и жизнью довольны». Подала голос Оленька: «Ах, ма тант!» — «Перестань, трусиха!» — презрительно отозвалась Екатерина Александровна.

Смысл этого краткого диалога дошел до моего сознания позже... В те годы не было принято иметь родственников за границей. Это потом они у всех появились и к ним стали даже в гости ездить. Но Екатерина Александровна была выше этого. Несмотря на мольбы Ольги, с парижским племянником переписывалась и вообще не скрывала ничего, ни своего родства «с тем самым Булыгиным из Думы», ни своего неодобрения нынешним положением дел в России. Советское правительство она называла «они», и никак больше. Позже, когда я, поступив в Литературный институт, стала жить в Москве и часто забегала к дяде Ване, Булыгина, увидев меня в коридоре, сухо приказывала: «Зайди ко мне». Я заходила. На столе «Правда». «Ты газеты читаешь?» — «Да, тетя Катя».— «Ну, разумеется! — насмешливо.— И вообще превзошла все науки. Так вот, объясни, что это о н и опять придумали?» Тыкала пальцем в какую-то статью или заметку, и горестный возглас Оленьки: Ma tante, la fenêtre est ouverte»[1]! — «А боже мой, ну закрой его, если тебе так хочется». Я просматривала заметку — и объясняла. Меня ничто не ставило в тупик в те годы: все могла объяснить. Слушали молча, но мне становилось не по себе от пристального взгляда тети Кати, какой-то тревожащий меня огонек чудился в ее светло-голубых глазах.

Я не нравилась ей. Она ощущала мое равнодушие к пред-

---

[1] Тетя, окно открыто! *(фр.)*

кам, ее раздражала моя восторженность. Еще в то первое свидание она спросила меня: «А зачем ты сюда приехала?» Я задохнулась от изумления. Как это зачем? Чтобы жить на родине! Чтобы не быть эмигранткой! Русский человек дома должен жить, а не у французов, у американцев, у китайцев! И потом — здесь не только наша родина. Россия построила социализм, эта первая в мире страна... Начала я пылко, но под взглядом Екатерины Александровны стала увядать, хотя меня не прерывали, а когда я умолкла, было сказано: «Хорошо. Беги. Будешь писать матери — кланяйся!»

...Сохранив светлый разум, Екатерина Александровна дожила до девяноста лет и тихо скончалась в той самой комнате. Я не могла не испытывать уважения к этой старухе, независимой, не согнувшейся, работавшей чуть не до последних дней своей долгой жизни, хотя и называла ее про себя «каретой прошлого»... Случайно я подслушала как-то ее разговор с тетей Инной: та похвасталась, что я на круглые «отлично» сдала экзамены за первый курс Литинститута. «Способности явно в Воейковых,— констатировала Екатерина Александровна.— Ну, а ум — в отца. И легкомыслие в него же».

В этом доме было что-то много комнат и много жильцов. Из них, кроме Булыгиной, запомнилась мне Зинаида Михайловна Гагина, бывший член Петербургского теософского общества. Ей и тогда уже было за восемьдесят. Маленькая, худенькая, в просторных не то платьях, не то халатах, и — белые, пышные, стриженые волосы, как нимб вокруг головы. На сморщенном личике выражение доброй ко всем расположенности, доброта эта светилась и в больших голубых глазах, впрочем, в них и безумие угадывалось. Она смутно воспринимала окружающее. Меня, например, упорно считала восемнадцатилетней, как я ей ни втолковывала, что давно этот возраст миновала... В погожие летние дни она любила сидеть в саду дяди Вани. Его веранда выходила на клочок земли, отгороженный забором от двух переулков. Этот уголок дядя Ваня превратил в цветущий сад: молодые деревья, кусты сирени, черемуха, клумба с цветами, дикий виноград. Летом все это

шелестело, благоухало, изумляло прохожих. Зинаида Михайловна просиживала там часами: руки на коленях, глаза устремлены ввысь к верхушке сиреневого куста, на лице мир, тишина, покой. Иногда она что-то шептала. Молилась? Или разговаривала с цветами, с кустами? За ней являлась домашняя работница Герье — эдакая нянюшка, круглая, уютная, в белом переднике, и говорила: «Пожалуйте в комнату, вам кушать принесли».

Ни на кухне, ни у телефона Зинаида Михайловна не появлялась, с земными делами, с земной суетой она покончила. Не сеяла, не жала, в житницы не собирала, и отец ее небесный заботился о ней. Кров над ее седой головой обеспечивался Софьей Владимировной, уютная нянюшка-старушка стирала и убирала, а кормили Зинаиду Михайловну бывшие члены Петербургского теософского общества.

Ежедневно в одно и то же время скрипела дверь и на кухне появлялась высокая, худая старуха, в чем-то длинном, темном, в шляпке, а в руке — эмалированные судки. Старуха произносила: «Добрый день!», затем пересекала кухню по диагонали, разжимая тонкие уста, чтобы сказать: «Пардон!», если в кухонной тесноте кого-либо задевала. Я слышала, что старух, носивших обеды Гагиной, было три или четыре, и ходили они по очереди. Но то ли они были похожи друг на друга, то ли так случилось, что я видела лишь одну...

Дом в Гагаринском держался долго. Вокруг него в обоих переулках, переименованных, возвышенных до ранга «улиц» («улица Рылеева», «улица Танеева»), рушились старые особнячки, возникали безлично-комфортные розовые здания с лоджиями, а этот простоял всю первую половину семидесятых годов, будто забыли о нем. Лишь летом 1975 года я увидела вместо дома зеленую, травой поросшую лужайку. Мило, невинно выглядела эта лужайка под ярким солнцем, казалась маленькой, и не верилось, что на ней помещалось столько комнат, столько коридоров и закоулков и гудела голосами и когда-то примусами большая кухня... От сада дяди Вани уцелела сравнительно молодая, им посаженная береза и сирене-

вый куст, только всего. Рядом с кустом была скамейка, на которой любил сиживать вечерами мой дядюшка, и мне сразу увиделось, как он сидит тут, среди зелени и цветов, дела рук своих, седой, семидесятилетний человек. И жена его выходила посидеть с ним рядом, грузная, крупная, в сильных по близорукости очках и тоже совсем седая. Бывало, прохожие останавливались полюбоваться на эту мирную сценку и улыбались добрыми улыбками.

...Из четырех сыновей бабушки Иван оказался самым счастливым. Старшие, Александр и Павел, последние годы жизни провели в одиночестве, без ухода и заботы близких, а сами позаботиться о себе не умели. Правовед Павел Дмитриевич был, как мне говорили, кладезем юридических познаний, держал в голове все законы и прошлые, и нынешние, помнил все исключения, отступления, прецеденты. Читал на четырех, не считая русского, языках. Не человек, а ходячий справочник, в этом качестве его ценили, но началась война, не до юриспруденции тут было, да и столица опустела, и я не знаю, от какой болезни скончался Павел Дмитриевич в своей одинокой комнате на какой-то из Тверских-Ямских... В горькой нужде и одиночестве умер в Харбине и Александр Дмитриевич, плодовод, садовод, метеоролог и тоже кладезь знаний... Каковы были последние дни третьего сына бабушки, горного инженера Дмитрия Дмитриевича, где и когда именно он умер — знать мне не дано. А Иван Дмитриевич был окружен заботами жены, женщины энергичной, к жизни приспособленной, и умер в декабре 1963 года в возрасте семидесяти четырех лет, скоропостижно, от сердца. Прах его покоится на кладбище Введенские горы. На могиле серый полированный камень, на нем золотые буквы, а на кусочке земли, зажатом каменной подковкой, растут анютины глазки, посаженные вдовой.

Матери свое пребывание в Москве я описывала так:

«...Наутро, после приезда, сделала уж не знаю сколько верст пешком — глядела на Кремль, на Василия Блаженного,

на Красную площадь, ходила по арбатским переулкам. Ужасно мне понравилась Собачья площадка, дом Хомякова, старые особнячки, в которых живали и бывали Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Аксаков... Нет, должен русский человек жить там, где складывалась его история, делалась его литература! Была, конечно, в Третьяковской галерее. Дядя с теткой водили меня в МХАТ, мы видели «Пиквикский клуб» и «Школу злословия»... А метро тут какое! Каждая станция — подземный дворец!»

Но о самом главном, что случилось со мной в Москве,— ни слова.

Случилось же вот что. Однажды дядя Ваня, вернувшись с работы (был он старшим научным сотрудником в Министерстве сельского хозяйства), извлек из своего портфеля специально для меня им раздобытый проспект высших учебных заведений Москвы. Вот когда я узнала о существовании Литературного института имени Горького, где дают высшее образование литературно одаренным молодым людям. О чем-то именно в этом роде я мечтала, но надеяться не смела, такого же не бывает, а оказалось, есть, существует!

Утром я была на Тверском бульваре. Решетка, за ней сад, там в глубине желто-белый особняк, на воротах барельеф — профиль Герцена, он родился в этом доме! Тепло, апрель, лужи, голые ветви деревьев, голубое, весеннее с облачками небо: «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта...» — я шла по дорожке, ведущей к подъезду, и сердце мое колотилось.

Двери, выходящие в коридор, закрыты, идут лекции, коридор пуст, и уж не вспомнить мне, как я попала именно туда, куда нужно: к секретарю кабинета литературы Лидии Васильевне Шепелиной. Один раз тогда я ее и видела, позже она в институте уже не работала, наружность ее в памяти отложилась смутно. Помню лишь ее ко мне доброжелательный интерес и то, как она изумленно округлила глаза, узнав, что я репатриантка. О существовании репатриантов она слыхом не слыхивала, что удивило меня: казалось, что о нас,

понаехавших после войны из Китая, из Франции, все должны знать! Ошеломляющее впечатление произвело на Лидию Васильевну известие, что я нахожусь в СССР всего четыре месяца. «А родились вы где? Там?» Я — гордо: «Нет. В России». Мы беседовали приятно, ощущая друг к другу симпатию, и теперь Лидии Васильевне захотелось, в свою очередь, чем-нибудь ошеломить меня. «Идут семинары. В одной из аудиторий — Федин. Хотите взглянуть на него?» Хочу ли я взглянуть на живого Федина? «Необыкновенное лето» я читала в Казани, с «Городами и годами» познакомилась еще в Шанхае... Так хочу ли я увидеть Федина? О господи!

И я гляжу в щель двери, придерживаемой рукою Лидии Васильевны. В щелку только Федина и видно, студентов — нет, лишь голос слышен, что-то читающий, а Федин слушает, сидя за маленьким столом. Внешность Федина (выпуклые светлые глаза, назад зачесанные седеющие волосы, посадка головы) показалась мне достойно джентльменской, я видела его портреты, он похож, это именно Федин, я крайне взволнована. Мое волненье лестно Лидии Васильевне, ей хочется еще чем-то поразить это существо, явившееся в Литературный институт, подумать только, из Шанхая! Шепчет, что в соседней аудитории Паустовский, но это на меня не действует, я тогда еще не читала Паустовского, притворяюсь удивленной лишь из вежливости...

Вернувшись в Казань, я и друзьям не обмолвилась о Литинституте — сглазить боялась. Сообщила лишь (и им, и матери), что с осени непременно буду пытаться поступить в какой-нибудь филологический вуз. Поскольку друзья мои тоже собирались продолжать образование, то к вступительным экзаменам по русской литературе, истории и географии мы стали готовиться вместе. Я писала матери: «Мы зубрим все. Никогда не думала, что я такая невежда! Герцена открыла впервые лишь недавно, о Чернышевском не имела почти никакого понятия. Не человек я была, а мыльный пузырь!»

Письма мои по-прежнему полны восторгов. Я впервые приняла участие в первомайской демонстрации (шагала с сотрудниками института), впервые увидела Волгу, и впервые в моей жизни случилось так, что не я искала работу — работа искала меня. «С 15 мая,— писала я матери,— меня зачислили в штат консерватории по совместительству, как здесь говорят. Жалованье: 450 р. Летом я там не нужна, а денежки все равно будут идти, здорово, а? Три дня записывали пленум композиторов Татарии, и за эту сдельную работу получила 750 р. Какое счастье, что я выучила стенографию!»

В конце июня мне удалось наконец расстаться с бабкой и Дусей.

Надо пожить в углу, чтобы мимо тебя постоянно ходили чужие люди, чтобы весь день орало радио и ты никогда не чувствовала себя дома, чтобы оценить эту радость — вынуть и разложить свои вещи, расставить книги, а главное — дверь за собой закрыть!

Это был старинный кирпичный двухэтажный дом па улице Свердлова. Думаю, что в те времена, когда эта улица называлась иначе, на первом этаже, находившемся на уровне тротуара, была лавка, а владельцы жили над нею. Помещение лавки и было переделано в две маленькие квартиры, в одной из них я сняла комнату. Вход со двора. Открыв дверь, попадаешь на кухню, служившую хозяевам столовой. Направо дверь в мою комнату (окна на улицу, головы прохожих выше окошек), налево, отделенные от меня кухней, жили хозяйки, тоже мать и дочь, ничем, к счастью, не напоминавшие Дусю и бабку.

Мать, Анна Ивановна, работавшая в сберегательной кассе, голоса никогда не повышала, называла меня лишь по имени-отчеству (не Дуся!), честность ее не вызывала сомнений, за год жизни в этой комнате из моих вещей ничего не пропало — не бабка! Отношения у нас сложились корректно-отдаленные, мы были разделены как бы стеклянной стенкой, пробивать которую ни у меня, ни у Анны Ивановны охоты не

возникало. Что-то было в ней уклончивое, смесь робости и хитрости, такая тихая, скромная и вместе с тем — себе на уме... Дочь Валя, плотная, румяная блондинка, училась на третьем, кажется, курсе Экономического института, не напоминала мать (маленькую брюнетку) ни наружностью, ни нравом — веселая, громкоголосая, певунья и хохотунья. Но Валина шумливость, ее хохот и песни не раздражали меня, не мешали моим книжным и стенографическим занятиям, ибо в доме царила атмосфера семейного согласия, никто не ссорился, злых слов не выкрикивал, и всегда молчала черная тарелка радио в кухонном углу...

И я поначалу наслаждалась своей комнатой, хотя дверь, о которой я мечтала, долгожданная эта дверь не закрывалась. Притворить ее можно было, плотно затворить — нет. Рассохлась. Всегда щель. Хотя уборная и здесь была во дворе. И хотя за счастье своего, отдельного жилья надо было платить 200 рублей в месяц плюс шесть кубометров дров за зиму. Дровами снабдил меня институт. Сотрудники института за меня радовались, а я всем хвасталась, что вот наконец живу по-человечески, могу вечерами работать дома и в научной библиотеке теперь, спасибо, не нуждаюсь!

«26 июня... Отпуск полагается мне лишь через 11 месяцев, но добрый Шулутко позволил мне уехать 15 июля. Консерватория тоже отпускает до 1 сентября, летом я им не нужна. Часть отпуска беру за свой счет, съезжу к теткам в Ленинград, на обратном пути побуду в Москве у дяди Вани. Господи, неужели я действительно увижу Ленинград?»

Ранним июльским утром я увидела «тот город, мной любимый с детства». Я его совсем не помнила, но кровную с ним связь ощущала всегда. Тут росла моя мать, тут жила ее семья, учился в Морском корпусе отец, здесь родились мы с сестрой. Я любила этот город заочно. Знала наизусть все воспевающие его стихи, от «Невы державное течение» до строк эмигрантских поэтов... В Москве, садясь вечером в ва-

гон, я знала, что идет он прямиком в Ленинград, не следует удивляться, что именно туда я и попаду. А все же, когда утром я увидела над зданием вокзала большие буквы: «ЛЕНИНГРАД», внутри у меня что-то задрожало.

Оставила чемодан в камере хранения, пошла пешком. Расспрашивая встречных, вышла на Суворовский проспект, а дальше спрашивать никого не требовалось, надо идти, идти, пока не возникнет дом с нужным номером. Номер дома, номер квартиры я знала наизусть, я бы вспомнила их, разбуди меня ночью, я видела их написанными рукой матери на сотнях конвертов и рукой бабушки (обратный адрес) тоже на сотнях. Шла я медленно, озираясь, прохожих мало, широкая прямая улица пустынна, там, вдали, ее замыкает белый храм с куполами, это что же, это Смольный? Шла и шептала: «Я приехала к тебе, Петербург, Петроград, Ленинград. Я вижу тебя наконец!» И вот он, этот дом, и лестница, и дверь, и я звоню. На пороге пожилая женщина, смуглая, темноволосая, на мою мать похожая, лицо строго-вопросительное: дескать, кто вы и к кому в такую рань явились? Я не успеваю открыть рот, чтобы произнести «тетя Мара», как лицо ее изменилось, осветилось, мы обнялись, затем я попадаю в объятия вдовы моего дяди, тети Алины,— она выбежала из комнаты в халате, с распущенными по плечам русыми волосами, с гребенкой в руках... А вот мой двоюродный брат Дима, бывший «Бубилка», бабушкин любимец,— теперь это длинный, худой, светловолосый и голубоглазый девятнадцатилетний юноша. И кузина Катя появляется из комнаты за кухней (бывшей бабушкиной) — ученая молодая женщина, химик, кончающая аспирантуру... Еще не ушла на работу Евдокия Николаевна Урядова, медицинская сестра, всю жизнь жившая около Воейковых... Меня называют моим детским именем «Тата», спрашивают, почему я не известила о дне приезда и где мои вещи... Мы пьем кофе в большой комнате, «столовой», хотя тут же за ширмой кровать тети Алины и диван, на котором спит Дима. А еще тут буфет, рояль, книжный шкаф, кроме обеденного стола еще и письменный.

а со стен глядят на меня все те же фотографии «дядюшки-профессора» и бабушки Ольги Александровны...

В тот день я впервые увидела комнату, где бабушка писала свои бесчисленные письма: нам в Харбин, Мусе в Циндао, младшей дочери Марье Дмитриевне и сыну Павлу в Москву, Алеку и его матери в Астрахань, а также раскиданным по свету друзьям — в Симбирск, в Самару, в Ниццу, в Париж. Позже из этих писем я узнаю, что марки были главным ее расходом: «За один только месяц я опустила в почтовый ящик сорок четыре конверта... Скорее за перо, пока мой маленький деснот Дима гуляет и занят на улице всякими «туту», трамваями, собаками и голубями. Быть может, до его возвращения удастся кончить письмо, а то и еще одно написать. Мои корреспондентки старенькие и ценят ласку».

В письмах, адресованных Марье Дмитриевне, я найду упоминания о каких-то московских старушках: «Ты ничего не придумала, Мара, чтобы помочь моим двум старушкам, которые живут на Каляевской?» О старушках, живших в Ленинграде, бабушка заботилась сама: «Была сегодня у Зои Сергеевны, отнесла ей две булочки...», «Завтра думаю навестить слепую старушку, два дня собираю ей булочек, сухарей, пирожных...»

Зрение ее становилось все хуже: «Я не вижу того, что стоит на моем столе, постоянно надо ощупью проверять. Мне легче написать, чем перечесть мое писание...» В последние годы жизни она жаловалась на колено, которое «дурно выносит сиденье за столом». Эти боли заставили ее уменьшить «безмерно обильную корреспонденцию», но не прекратить.

Но в то июльское утро, когда я впервые вошла в дом на Суворовском проспекте, я не испытывала особого интереса к покойной бабушке и ее письмам. Мать требовала, чтобы я их читала, и приходилось откладывать интересную книгу и погружаться в изучение этого мелкого почерка, этих фиолетовых, друг на друга набегающих строчек. Никакого вознаграждения мои усилия не сулили — я не знала, я не помнила тех, о ком писала бабушка, ну, купили наконец валенки или

заменили, слава богу, примус на керосинку, очень рада, но мне-то, мне-то что до этого? И засело в глубине души отталкивание от этих писем, в котором я и себе не осмелилась бы признаться. С детства внушено: бабушка человек удивительный, письма ее — драгоценны, это не подлежало обсуждению...

Молодая, полная энергии, веры в себя, уверенности в том, что здесь, на этой земле, я найду наконец свое место и будет у меня высшее образование (о Литературный институт!), радостно возбужденная свиданием с Ленинградом, знакомством с родственниками и добрым приемом — ступила я в то утро на порог комнаты, где жила и умерла бабушка... «Теперь это моя комната,— говорила кузина Катя,— но все так и осталось, как было при бабушке, ее стол, ее диван, а вот ее чернильница...» Я слушала, придав своему лицу выражение вежливого интереса... Предмет, названный «чернильницей», не был похож на чернильницу. Эдакий кувшинчик восточного вида, медный с резьбой, с прямоугольной ручкой, хороших пропорций: вытянутый узкий верх, овальный низ и подставка, как бы повторяющая этот овал в расширенном виде... На откидной крышке сидела медная бабочка с медными же выточенными крылышками, внутри стеклянная чашка, сохранившая фиолетовый с ядовито-зеленым отблеском цвет чернил, которыми пользовалась бабушка...

Я повертела в руках этот музейный экспонат, поставила на место, затем выглянула в настежь распахнутое, высоченное окно, а под ним, а за ним крыши, крыши, и безоблачное небо, чудесный летний день, сейчас пойдем с Димой на вокзал за чемоданом, а потом, а потом... Медный всадник, Летний сад, Исаакий, нет, неужели я действительно в этом городе?

Через двадцать лет в одном из бабушкиных писем я прочитаю: «Июнь, а шквалистый ветер несет серые дождевые тучи, холодно, дует с моря. Наш седьмой этаж невыгодный собиратель ветров. Окно в моей комнате довольно ветхого вида, со щелями. Внутреннюю раму пришлось унести на чердак, слишком с ней опасно, чтобы когда-нибудь налетевший

буран стукнул бы это громоздкое сооружение. Открытые, они достают до моего стола. Невозможно допустить, чтобы разбилось стекло, 25—30 рублей из кармана, и очень трудно достать. Люди месяцами живут с разбитыми стеклами» (1932 год).

И должно было пройти с того июля 1948 года двадцать лет, чтобы я вошла в бабушкину комнату уже совсем с иными чувствами... Бывала я в ней часто (обе мои тетки и Катя до начала семидесятых годов жили на Суворовском проспекте), и мне легко вообразить бабушку за ее столом, отодвинутым от окна чуть не в центр этой длинной и узкой комнаты... Стол обыкновенный, не тумбы с ящиками — ножки. Потертый кожаный бювар, в стакане карандаши и перья, и медный кувшинчик-чернильница. Я вижу бабушку, склонившуюся над столом так низко, что ее нос с горбинкой почти касается бумаги, вижу черепаховые шпильки в седых волосах. Перо иногда попадает мимо чашечки, тыкается в медную стенку чернильницы, и бабушка ощупывает ее левой рукой, на безымянном пальце перстень с камеей... Рядом щебечет и требует к себе внимания седьмой внук Дмитрий, и вот заныло колено, но бабушка пишет. Она знает, что исписанные ею листки — это нити, связывающие детей и внуков, раскиданных по свету. Когда она умерла — эти нити надолго порвались...

А когда она умерла? День, месяц, год? А от какой болезни? Подумать только, я и этого не знала! О годе представление имела (кажется, тридцать шестой?), о дне и месяце — никакого, и не вспомнила бы, не найди я в материнском архиве голубоватый, порванный на сгибах конверт с полустершейся карандашной надписью: «Письмо Мары о смерти мамы. Октябрь, 1936»...

Значит — было письмо. А до него, как из письма выясняется,— телеграмма. И я еще не уехала в Шанхай, и мы жили на Конной улице, все было при мне, на моих глазах — телеграмма, письмо, лицо матери,— а я не помню ничего!

Вот панихиду в маленькой церкви харбинского женского

монастыря — панихиду помню, да и то, думается, из-за молодой монахини, поразившей мое воображение... Она возникала то у одной, то у другой иконы, поправляя клонящиеся свечи, и я, глядя на тонкие пальцы, профиль, ресницы опущенных глаз, мысленно ставила себя на ее место и содрогалась: впереди длинная жизнь, и ничего в этой жизни не будет, кроме молитв, постов, постов, молитв, господи боже, как можно пойти на такое, что может заставить человека пойти на такое? В церкви шелест, все опускаются на колени, рядом со мной оледенелое, замкнутое лицо матери, мне стыдно, что я не делю ее горя, стыдно, что думаю о постороннем, я стараюсь слушать панихиду, стараюсь молиться (но я этого никогда не умела!), пытаюсь растрогаться, выжать слезу, твердя про себя «бабушки больше нет», слеза не выжималась...

«После двух дней улучшения наступил период возбуждения и бреда,— писала моей матери ее сестра.— Она все куда-то ехала, вспоминала Волгу, перебирала все пристани, ты где-то встречала ее, она торопилась сойти с парохода, чтобы не пропустить тебя, повторяя: «Катя ждет... Катя...» Ей дали снотворного, она заснула и спала с маленькими перерывами 36 часов. Врачи предполагали воспаление легких... Через два дня принятыми мерами удалось добиться улучшения. Она пришла в себя, хотела встать, мы стали надеяться на благополучный исход. Но в ночь на 8 октября у нее поднялась икота, которую врачи не могли остановить. Сердце ослабело, дыхание становилось затрудненным... В 0 часов 42 минуты одиннадцатого октября она перестала дышать. Смерть наступила спокойно... Последние дни выражение лица ее было страдальческое, но в гробу она точно спала... Мы еще не пришли в себя, и пережитое кажется ужасным сном. В сердце пустота и холод, и окружающее так серо, так пусто без ее светлого и примиряющего взгляда».

Теперь я знаю, что судьба была милосердна к бабушке Ольге Александровне: она пережила только Мусю. Другие ее внуки и дети были тогда живы и здоровы.

Я прекрасно проводила время в своем родном городе (родном, родном, не Харбин же мне считать родным!) в том июле 1948 года. У Димы были каникулы, он всюду со мной ездил, и, если бы не некоторое беспокойство о Литинституте (примут ли?), я была бы совершенно счастлива. Вот отрывок из моего очередного восторженного письма матери:

«Мы с Димой были в Петергофе, бродили затем по садам лицея, где Пушкин «безмятежно расцветал», ездили на Елагин остров, ходили по Эрмитажу... Я смотрела на Медного всадника и думала, неужели это тот самый, который за Евгением «со звонким топотом скакал», неужели тот самый и я его вижу? Не верилось, что я хожу по набережной Невы, взбираюсь на Исаакия, гляжу на адмиралтейскую иглу, что я в Ленинграде, в моем Ленинграде! С тетей Марой и Катей были на могиле бабушки. Она похоронена в Шувалове, в удивительно красивом месте, на склоне холма, вокруг сосны, впереди озеро. День был дивный, солнечный, слегка прохладный... Дважды была в Русском музее. Шрамов войны почти не видно, полуразрушенные дома восстанавливаются, на месте совсем разрушенных разбиты скверы...»

В последних числах июля я вернулась в Москву и сразу ринулась в Литинститут. Там мне посоветовали заручиться рекомендацией какого-нибудь «писателя с именем». Мне удалось это сделать, и в августе я была допущена к экзаменам.

ИНСТИТУТ

На первых же двух — диктант и сочинение — я провалилась. Из предложенных для сочинения тем я выбрала о Маяковском, я его тогда любила и писала, помнится, вдохновенно. Но что именно писала — из памяти выветрилось. «А сочинение ваше какое-то странное!» — сказал мне директор института В. С. Сидорин, беседовавший со мной после этих позорных провалов. Я не поняла, какие «странности» имелись в виду, а спросить не решилась.

Думаю, что дело было вот в чем. В советских учебных заведениях, ни в средних, ни в высших, я не училась, Маяковского, следовательно, не «проходила», и какими словами полагалось о нем писать в то время, мне, естественно, ведомо не было.

Что касается диктанта, то причины моего провала были ясны совершенно: две орфографические ошибки и девять не туда поставленных запятых...

...Диктовали нам отрывок смутно знакомый, когда-то читанный. Тургенев? Описывалось ясное летнее утро в среднерусской полосе, лужайка, лесная тропинка, пчельник, и мелькнуло прилагательное, заставившее меня содрогнуться: «дощатый»? «досчатый»? Спокойно. Спокойно. Если сомневаешься — напиши и так, и эдак, инстинкт одно отвергнет, другое примет. Написала. Фокус не удался: инстинкт ничего не отвергал, колебался, а раздумывать некогда, и могильным холодом повеяло на меня от этого радостного солнечного утра, от лужайки, пчельника, лесной тропинки... Проза лилась тут нескончаемыми потоками, их следовало сдерживать то тире, то запятой, то точкой с запятой. Инстинкт, придушенный страхом, умолк окончательно, и не на что опереться: школьные годы давно позади, грамматика забыта... Куда-то настойчиво просилась точка с запятой, но куда, куда именно? А будь они прокляты, эти фразы длиною в полстраницы, эта неторопливая описательность классиков XIX века! И мне вдруг представился Тургенев в шлафроке, в сафьяновых туфлях, уютно сидящий за столом (в окне вид либо Парижа, либо какого-нибудь аккуратного немецкого городка), с ностальгической грустью описывающий из своего прекрасного далека скромный русский пейзаж, и я ощутила к Тургеневу глубокую неприязнь...

Аудитория невелика, светла (высокие старинные окна, за ними зелень сада), нас, сидящих за черными, учебными, исцарапанными столами, немного, каждый на виду, заглянуть бы в листок соседа (как он там вышел из положения с «дощатый», «досчатый»?), но не могу! Преподаватель, диктуя,

то и дело поднимает на нас глаза, он вскинет — а я заглядываю, позор! Не школьница. Не девчонка. Я тут едва ли не старше всех. Впрочем, не сильно старше, пришедших со школьной скамьи что-то не видать, большинству за двадцать, некоторым под тридцать, а то и больше — институт особый и время особое: совсем недавно окончилась война.

И вот, через два, что ли, дня, мы вновь сидим за исцарапанными черными столами. На моем, к примеру, чей-то перочинный нож сработал целую фразу: «Я люблю подмосковные рощи». Сколько усердия, сколько терпения, не пером писано — ножом, каждая буква усилие, какова, интересно, была цель этих трудов, испортивших казенную мебель? Я усмехнулась, помнится, не ведая, что сейчас мне будет не до смеха...

Вошли двое. Тот, кто диктовал нам и с ним — заместитель директора. В их лицах, в их поступи было что-то грозно-торжественное: суд идет! Это и в самом деле был суд, явившийся назвать имена тех, кто не вынес первых испытаний, и объявить приговор: их осуждали на недопуск к дальнейшим экзаменам, закрывали дверь в институт...

Замдиректора поднял к лицу бумагу со списком осужденных, начал читать голосом нейтрально-спокойным, и вдруг громовой удар, будто рядом разрядили огнестрельное оружие,— так выстрелила мне в ухо моя собственная фамилия. Замдиректора теперь уже беззвучно, как в немом кино, шевелил губами — я оглохла.

В том же оглушенном состоянии я вышла из института, шла по бульвару, бормоча: «Я люблю подмосковные рощи...» Шла и шла, ничего кругом не видя, надо бы на троллейбус, но я шла и шла, и к реальности, к Москве, к жаркому августовскому дню меня вернули рядом взвизгнувшие тормоза, чьи-то проклятья и лицо милиционера, передо мной возникшее. Я увидела залитую солнцем Арбатскую площадь (в те годы бестуннельную), мы с милиционером стояли в самом ее центре, автомобили огибали нас, я, оказывается, пыталась пересечь площадь по диагонали (что внесло смятение в ряды

движущегося транспорта) и едва не стала жертвой «наезда»: из остановившейся неподалеку машины мне кричали что-то неодобрительное и грозили кулаком. Милиционер жестом пресек это справедливое негодование, еще одним мановением руки приказал машине исчезнуть (она исчезла), после чего, указав мне на странность, а также недопустимость моего поведения, потребовал штраф в десять рублей. У меня не было десяти рублей. Отпустили так. Милиционер оказался душевным человеком. А быть может, вид у меня был такой, что дрогнул бы и камень.

Затем я лежала на веранде в Гагаринском переулке, лицом к стене, делая вид, что сплю, дверь в сад — настежь, мимо меня ходили на цыпочках, тетя Инна шептала: «Кажется — заснула. Пришла такая расстроенная! Провалилась на экзамене». И позже, вернувшемуся со службы дяде Ване: «Ваня, подумай! Она провалилась!» О моем позоре тетка сочла нужным уведомить всех обитателей квартиры, а также, думаю, своих знакомых, в тот день звонивших. Видимо, ей просто нравилось быть в центре внимания. Появление заграничной племянницы эдаким светом рампы высветило комнату Воейковых в коммунальной квартире, а тут племянница еще на экзамене провалилась, такое не часто случается... И общительная тетушка царила в тот день на кухне и в коридорах, принимала визиты соболезнующих соседей и вообще жила полной жизнью...

Под вечер я не выдержала, сказала, что голова болит, хочу проветриться. Тяжко было идти через кухню (сочувственные взгляды), но вот дверь затворилась, я на улице, среди прохожих, они ничего не знают обо мне. Я ходила по арбатским милым переулкам, и они сами привели меня на улицу Вахтангова. На этой улице, когда она называлась Николо-Песковским переулком, в доме, уже не существующем, родились и отец мой, и дед, и прадед... Ильины — москвичи, ну, а мне в Москве не жить, не жить, не жить. И в Литературном институте не учиться! Все кончено. Провалилась. И перед Симоновым-то как стыдно!

Симонов и был тот «писатель с именем», который рекомендовал меня в Литинститут. В то время Симонов был главным редактором «Нового мира», и я явилась туда с письмом Вертинского, моего старого друга по Шанхаю... Я ждала в редакции, пока меня примут, часа два или больше, в комнату, лишенную окон, где я сидела, выходило много дверей, из них выбегали, в них вбегали сотрудники (у некоторых гранки в руках), кипела жизнь, доселе мне неизвестная. Сотрудникам я страстно завидовала: счастливцы, работают в советской печати! Что там два часа! Я готова была тут сутки просидеть, наблюдая, изучая, впитывая. Да и куда мне торопиться? Меня приняли наконец. Взяли мою книжку фельетонов, велели вновь явиться через неделю. Явилась. Ждала. Приняли. Похвалили книжку, сообщили, что рекомендательное письмо в институт отправлено. Вот меня и допустили к экзаменам. А я, боже мой, провалилась. Стыд-то, стыд какой!

Но стыд стыдом, а позвонить Симонову я обязана, поблагодарить его хотя бы через секретаршу. Этот человек, такой занятой, тратил на меня свое дорогое время, книжку читал, письмо писал... Нельзя же молча исчезнуть.

Звонила на другой день, из автомата. Бодрым голосом сообщила секретарше, что я, увы, провалилась, и просила передать... Мне сказали: «Сейчас соединю!» Но зачем? Я просто хочу... Моих протестов либо не слышали, либо секретарши уже не было на проводе, трубка оживилась неразборчивым редакционным шумом, и чей-то смех (они там бегают с гранками, счастливцы!), и голос Симонова, уже поставленного в известность, ибо первыми его словами были: «Неужели провалились? Как же так?» А вот так. Сама виновата. Плохо подготовилась, и вот результат. Даже пошутила насчет рабы, которая сама себя бьет, ибо нечисто жнет. Довольная собой (красиво держусь!), я собиралась перейти к изъявлению благодарности, но меня перебили: «Постараюсь что-нибудь придумать». Все. Трубка омертвела.

Я вышла из телефонной будки удивленная, смущенная, растерянная. Он понял, надеюсь, что я ни на что не жалова-

лась, ни о чем не просила, единственно долг вежливости хотела выполнить? Что он хочет придумать? Что тут можно придумать? Забыть. Завтра еду в Казань.

Но в тот же день я была вызвана телефонным звонком к директору Литинститута В. Сидорину. Он предложил мне подать заявление на заочный, куда меня примут без экзаменов. Если же весной я пройду испытания за первый курс — переведут на очный. «Идем вам навстречу из уважения к вашему несомненному литературному дарованию».

И в тот вечер я, как герой пастернаковского «Марбурга», не чуя под собой от радости ног, шаталась по городу и декламировала, на все лады повторяя: «несомненное литературное дарование...», «из уважения к вашему несомненному...».

Разумеется, об этих словах узнал весь дом в Гагаринском без хлопот с моей стороны — я похвасталась лишь тете Инне. И уже кухня меня поздравляла, и коридоры выражали свое удовольствие, и вот почему так мажорно начинается мое письмо к матери от 30 августа: «Мамочка, все хорошо, меня приняли в институт! Правда, на заочный, но неважно, год не пропадет. Это правильно, что я провалилась, это хлестнуло меня по моей самоуверенности. Уж теперь-то я грамматику одолею!..»

В то раннее утро моего возвращения Казань, неторопливо просыпающаяся, своим провинциальным обликом похожая на город детства и юности Харбин, показалась мне уютной, привычной, эдаким пристанищем усталого путника. После головокружительных шести недель знакомства с Ленинградом, переходов от надежды к отчаянью и снова к надежде в Москве — тишина, покой, ясность, моя линия в жизни определилась, я знаю, что мне делать, как жить.

Стол, перед двумя маленькими на уровне тротуара окошками (за ними уже начали мелькать прохожие с усеченными головами), казался мне в то утро плацдармом будущих сражений с запятыми, с грамматикой, с другими науками, и не терпелось вынуть из чемодана, вникнуть как следует в программу предметов первого семестра — в Москве едва взгля-

нуть успела,— узнать, какие именно бои предстоят мне. От предвкушения свидания с друзьями вечером, а днем с институтом и консерваторией (всем буду хвастаться — приняли, приняли!), от радостного ожидания новой, трудами наполненной, целеустремленной жизни спать не хотелось совсем (а был общий вагон и бессонная ночь), готова была сию же минуту бежать и хвастаться, но бежать некуда, рано, все еще спят.

* * *

И наступила вторая казанская зима. Зима 1948/49 года.

С первыми же холодами на правой от входа стене моей комнаты проступила мохнатая изморозь. Когда печку топили, по стене текли ручейки. Хозяйка Анна Ивановна топила печку лишь вечером, возвращаясь с работы. Ни Вале, ни мне драгоценные ключи от дровяного сарая не доверялись. Время от времени по неизвестным причинам гасло электричество, это продолжалось час, два, а то и больше, мне же дорога каждая минута, даже секунда, то расшифровка стенограмм, то конспектирование учебников, то контрольные работы на темы, присланные институтом. «Живу в вечном цейтноте,— писала я матери,— кроме Института ортопедии и консерватории стенографирую то там, то сям, зарабатываю хорошо. Могла бы зарабатывать и больше, но тогда пришлось бы жертвовать учением. Я же, что бы то ни было, заставляю себя сидеть над учебниками ежедневно».

В казанских магазинах свечи были, я купила их много и приучила себя не впадать в отчаянье при внезапном исчезновении электрического света. Зажигала свечу. Утешала себя тем, что люди прошлого века и вообще не знали электричества, именно при свечах писали наши классики свои бессмертные произведения. Правда, им не приходилось разбирать стенографические закорючки (скудный свет свечи замедлял процесс расшифровки), но зато слепой метод печатания на машинке помогал мне в эти безрадостные часы.

Вспоминая ту зиму, я прежде всего вижу два замерзших окошка — они постоянно находились перед моими глазами. За окнами ничего не видно, они как замерзли с первыми морозами, так до весны и не отошли. «Что там, изморозь или гроза?» — мрачно думала я ахматовскими словами. А может, вьюга? Не слышно шагов прохожих, они там, верно, все уже вымерзли. На мне, поверх свитера, подпоясанный для тепла ватный халат, на руках старые вязаные перчатки с отрезанными наподобие митенок пальцами, я стучу на машинке, время от времени поправляя клонящуюся, на дно какой-то банки прилепленную свечу, иногда вскакиваю, чтобы потопать застывшими ногами, размяться, погреть руки, сунув их под мышки, на стене шевелится огромная тень, все предметы комнаты тонут во тьме, и боже мой, который час, и когда наконец вернется Анна Ивановна, да черт с ним, со светом, хоть бы печку затопили, уж что-нибудь одно, либо холод, либо тьма, это жить нельзя, когда то и другое вместе!

Чтобы радовать мать своими успехами, я посылала ей отзывы профессоров Литинститута на мои работы. Часть отзывов поэтому сохранилась. Перечитывая сегодня соображения преподавателя литературы относительно моего разбора повести Чехова «В овраге», я вижу, что меня упрекают в «чрезмерно рационалистическом подходе к творчеству». Это — результат влияния моих друзей, Виталия и Юры, постоянно учивших меня «преодолевать эстетизм» и рассматривать произведения литературы с точки зрения пользы, ими приносимой делу социализма... Между прочим, Юра, учившийся в католическом колледже, лишь недавно, в школе рабочей молодежи, начал знакомство с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Тургеневым. Достоевского не читал, имена Блока и Пастернака были для него звуком пустым... И этот человек учил меня понимать литературу! Но мне это почему-то тогда не казалось странным. Тот же Юра вместе с Виталием постоянно учили музыкального Олега «правильному отношению к музыке». И Олегу это не казалось странным. Мы с ним считались шаткими художественными натурами,

нас могло занести не туда, куда следует, мы нуждались в руководстве, и вот нами руководили...

Свидания с друзьями сократились той зимой до одного раза в неделю. Виталий и Олег проводили у меня свои свободные вечера. К нам присоединялся Юра. «Наши посиделки не потеря времени,— сообщала я матери,— мы стали даже, по предложению Виталия, планировать свои встречи. В следующий раз Юра расскажет нам о положении в Китае. Мне поручено сообщить о постепенном закрепощении крестьян в России, а Виталий собирается осветить нам аграрный вопрос конца XIX — начала XX века. Видишь, как мы потрясающе умны?»

Что и говорить: умны мы были потрясающе. И, принимая во внимание наш возраст, добавлю: умны не по летам! Виталий, к примеру, выдвинул однажды такую теорию: профессия писателя скоро отомрет. Классики минувшего века описывали, в сущности, жизнь бездельников. А в наше время нельзя описать человека вне его труда. Значит, прежде чем браться за перо, писатель обязан изучить профессию своего героя, превращаясь то во врача, то в инженера, то в токаря, то в шахтера. Это можно, но зачем? Кто лучше расскажет о труде токаря, чем сам токарь? Вывод: писатели-профессионалы нам скоро просто не понадобятся.

Лет семь спустя моя московская квартирная хозяйка нередко сетовала, что лишь отсутствие времени мешает ей засесть за роман. Она была весьма слабо образованной женщиной, и меня смешили ее слова. А той казанской зимой идиотская теория Виталия не рассмешила почему-то ни капли. А в самом деле: почему бы токарям самим не взяться за перо, оттеснив писателей-профессионалов?

В письме от 10 февраля я пишу матери: «...на второй семестр благополучно перешла по письменным работам. От нас, как ты знаешь, требуют еще и творчества. Написала недавно рассказ. С интересом жду оценки».

Я и сегодня с интересом познакомилась бы с этой оценкой... Видимо, она была благосклонной, ибо «зачет по твор-

честву» я получила. И рассказ бы этот перечитала пе без волненья: он был написан на тогда модную тему — эвон куда меня заносило! Но рассказа не сохранилось. Я все обещала послать его матери, но так и не нашлось времени на перепечатывание. Смутно припоминаю лишь одну сценку: диалог молодого писателя из рабочих с эстетствующим критиком, происходящий на лоне природы,— беседуют у дачного забора, разделяющего их владения. Легко могу вообразить, что молодой писатель учит критика правильному подходу к литературе (слогом Виталия и Юры), а эстетствующий старикашка упорствует, не желая сдавать своих обветшалых позиций...

«Радуюсь моей работе в консерватории,— писала я матери,— идешь по залу, и из всех аудиторий музыка, музыка, музыка. Я тут заодно и учусь, ибо стенографирую лекции по истории музыки...»

Но не только лекции стенографировала я в консерватории. В кабинете директора устраивались совещания, некоторые преподаватели обвиняли друг друга, и не мне было судить — справедливо или нет, но бывало, что после такого совещания застревал в душе неприятный осадок. Объяснить я его не могла, все ведь хорошо, справедливо, правильно... И я старалась осадок не взбалтывать, не тревожить, застрял там где-то на донышке души — и пусть, сам, быть может, рассосется, исчезнет...

Друзья мои и я были тогда такие твердые, несгибаемые, исполненные оптимизма, не знающие сомнений, глубоко положительные персонажи. Стремились к всегдашней ясности. Часто цитировали Маяковского, божились им, а вот почему-то ни разу не вспомнили тогда его прекрасных слов: «Тот, кто постоянно ясен — тот, по-моему, просто глуп!»

И странно мне читать мои письма к матери, той зимой написанные: «У вас тревожно в Китае, милая мама, а мы живем тут так просто и мирно!»

Я читаю сегодня эти письма, и мне слышится шепот мисс Бетси Тротвуд из любимейшего романа моего отрочества, все

повторявшей, глядя на Дэвида Копперфилда: «Слепой, слепой, слепой!»

Комната моя оказалась и сырой, и холодной, и лишь мое тогдашнее железное здоровье помогло мне перенести зиму, ни разу не захворав. Посещала иногда тревога, в причинах которой я разобраться не могла и, видимо, не хотела. Было боязно хоть чем-то пошатнуть, сдвинуть душевное равновесие, ощущение покоя и прочности, доселе мне незнакомое. Я уважала себя: научилась хорошо делать свое дело, ни записи, ни расшифровка не доставляли мне прежних мучений. И я была тут нужна, меня постоянно звали стенографировать. Ушло чувство неполноценности, даже униженности, нередко посещавшее меня в Шанхае. Не шроф, ожидающий в передней. Не сборщица объявлений, от которой не чают, как отделаться. Стенографистка. Почетная профессия. «Сюда, пожалуйста. Вам удобно? Света достаточно?»

И главное: кончились метанья, суета, неуверенность. Отныне путь мой прям и ясен: меня ведут к заветной цели, через пять лет диплом советского вуза и профессия: «литератор». Мне надлежит лишь добросовестно следовать указаниям, лишь выполнять, твердо зная, что именно требуется от меня. А учиться так весело! (Слова: «как весело учиться!» я нахожу в одном из писем к матери, той зимой написанном.) Голова моя сохранила свежесть и способность восприятия, память пусть и не та, что была в юности, а все же совсем недурна, учение дается легко, я любила себя за это. Знала, скоро заиятыми меня не смутишь, грамматику одолею, все одолею, все превозмогу, как недавно одолела и превозмогла стенографию...

Я не была тогда, разумеется, знакома со строками Ахматовой: «...но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен?» — однако страх перед бегом времени испытывала постоянно, сама, видимо, не отдавая себе в этом отчета. Но догадывалась: совладать с этим ужасом может помочь лишь одно — сознание, что минуты и часы уходят не напрасно, что день не потерян.

Теперь я знала, *чем* заполнять вереницу дней, на пять лет вперед знала, была цель, было к чему стремиться, неумолимость бегущего времени не страшила — этим, думаю, объясняется душевное равновесие, обретенное той зимой.

«Вот мне за тридцать, милая мама,— писала я в Шанхай,— а чувство такое, будто жизнь лишь началась и все впереди... Сейчас весна, и по крутым казанским улицам бегут ручьи...»

* * *

В июне заочникам предстояло сдать восемь экзаменов и два зачета. Между испытаниями — два-три дня перерыва, профессора давали нам консультации, разъясняли то, чего мы во время наших одиноких зимних занятий не были в состоянии одолеть своими силами. На первом курсе кроме меня было еще две заочницы, но обе москвички, все же остальные — заочники (сколько их было? восемь? десять? — не помню!); представительниц «слабого пола» в этом институте было значительно меньше, чем «сильного»... Меня поселили на втором этаже в общежитии «девочек» («мальчики» обитали во флигеле), я была в комнате шестой, напротив, дверь в дверь, жили еще четыре студентки, одна из них была старше меня, все остальные моложе, но курсами старше. Они учились на очном отделении, свои экзамены либо сдали, либо досдавали, постепенно разъезжались, к концу месяца я осталась в комнате одна...

Но всю первую половину июня институт гудел народом, жил полной жизнью, звенели звонки, распахивались двери аудиторий, студенты курили в коридорах и на скамейках в саду, мелькали лица, многие из которых (чего я тогда знать не могла!) из жизни моей не уйдут, так все и будут мелькать передо мной, постепенно старея, то в писательских Домах творчества, то в клубе, то во дворе дома, где я живу,— больше тридцати лет прошло с того июня, и как же изменились эти лица, начиная с моего собственного!

Государственные экзамены были главным событием июня;

они шли в зале, их принимала комиссия, что-то важное и торжественное совершалось за плотно затворенными дверями,— проходя мимо, все невольно замолкали от уважения... Однажды я почти наткнулась на выходящего из зала Федина, следом идут другие члены комиссии, а рядом с Фединым молодая женщина, блондинка, лицо огорченное, едва ли не заплаканное, а он говорит ей красивым барственным голосом: «Но, дорогая моя, а чего ж другого вы могли ждать, если в «Онегине» вы перепутали...» Тут их от меня заслонили, я так и не узнала, что именно перепутала эта несчастная и неужели провалилась?

Нет. Просто получила тройку. Это мне сообщают студентки, делившие со мной комнату. Их осведомленность потрясает меня. Я случайно, идучи из сада, наткнулась на выход комиссии, эти же трое так наверху и пребывали, и вот им уже все известно — и *кто* перепутал, и *что* перепутал, и даже какая отметка!

Студенток, деливших со мной комнату, было пятеро, но две из них из памяти моей почти выпали, обе скоро уехали, обе в Литинституте не доучились, с тех пор я с ними не встречалась. Трое же других учились на старших курсах, им скоро предстояли госэкзамены, и они близко принимали к сердцу судьбу тех, кто сдавал теперь... И были они переполнены своими делами, заботами, романами... Моя ближайшая соседка по койке, вернувшись однажды вечером из сада, улеглась, взяла книгу, но я видела — не читает. С таким вдохновенно-мечтательным выражением лица никто не читает, да и страницы не переворачивались... А не произошло ли именно в тот вечер решительного и счастливого объяснения? И она, и муж ее (как он был в те годы молод, худ и обтрепан!) до сего дня встречаются на моем пути, это дружная пара, у них взрослая дочь, внучка — целая жизнь прошла с тех пор... К нам в комнату захаживали студенты. Один, высокого роста малый (вот его я никогда больше не видела!), навещал маленькую и пухленькую блондинку, говорившую со своим поклонником капризным тоном и вечно нагружавшую

его поручениями,— проверяла, видимо, свою над ним власть... Насчет романов третьей — шатенка с красивыми серо-голубыми глазами — сказать ничего не могу. Была она сурова, неулыбчива, уверена в себе... И когда однажды к ней зашел студент (темно-курчавый, в очках, серьезный до мрачности), было ясно: визит чисто деловой. О студенте этом мне было позже сказано: «Талантливый прозаик. Любимец Федина».

И эти трое были прозаиками, одну хвалил Паустовский, другую отметил Федин, повесть какой-то из них была уже опубликована или принята к опубликованию, — короче говоря, я остро ощущала дистанцию, меня от них отделявшую. Они эту дистанцию тоже ощущали. На фоне всех волновавших госэкзаменов, а также событий их собственных биографий, испытания заочников-первокурсников (для меня едва ли не вопрос жизни и смерти!) этих институтских старожилок волновать, естественно, не могли. Моя особа тоже не сильно занимала их внимание... Поначалу, правда, удивились, узнав, что я живу в СССР всего полтора года, а прежде жила в Китае, но подробностями особо не заинтересовались... Из вежливости, однако, спросили — что я пишу? Фельетоны уронили меня в их глазах, фельетоны это несерьезно, это вам не романы, не повести, не рассказы... «Что? Сразу на машинке?» Тут мои акции упали окончательно. Пером надо писать, пером! И не вечным, а тем, которое макаешь в чернильницу, это сам Федин говорит! Пока макаешь, идет истинный процесс творчества, а из механического стукания пальцев по клавишам ничего путного не родится! Я, хотя неравенство свое с ними ощущала, держалась, однако, независимо, позиций не сдавала, спорила... В таком случае, быть может, есть смысл вернуться к гусиным перьям? И между прочим, Хемингуэй, кое-что путное родивший, пишет исключительно на машинке...

Звенели звонки, распахивались двери аудиторий, к нам беспрестанно забегали соседки из комнаты напротив, все четверо сдавали госэкзамены, их рассказы слушались с волненьем... Однажды одна из них исчезла, ей идти сдавать, а ее нет

нигде, бегали, искали, окликали, под кровати заглядывали... Она не сумасшедшая прятаться под кроватью! Нет, она именно сумасшедшая, с нее станет! Утром была сама не своя, глядела на фотографию своего ребенка и причитала: «Знал бы ты, что ждет твою мамочку!» Но в чем дело? Ведь уже три экзамена благополучно сданы! Но именно этого она боялась больше всего... Нервы не выдержали, вы же знаете, сколько ей пришлось пережить, когда...

Я вместе со всеми бегала, искала, включалась в разговоры о нервах и экзаменационных страхах, как весело ощущать себя не чужеродным телом среди институтских старожилок, а быть активной участницей этой волнующей жизни... Беглянку наконец обнаружили за каким-то коридорным шкафом, извлекли оттуда — маленькую, дрожащую,— говорили с ней добрыми, увещевательными голосами, пытались отнять фотографию (не дала, сунула за шиворот, а перед моими глазами мелькнуло изображение голого младенца на подушке), повели под руки вниз на экзаменационное судилище.

Все кончилось благополучно, и, помнится мне, через несколько дней, когда госэкзамены уже позади и зал с распахнутыми дверями утратил свой таинственно пугающий вид, оттуда однажды вечером раздались звуки рояля и женское хоровое пение — то прощались друг с другом обитательницы общежития для «девочек» — одни уезжали на каникулы, другие расставались с институтом навсегда... Я вошла, устроилась в уголке и слушала песни («Мы кончаем нашу пятилетку на Тверском бульваре, двадцать пять!», и о бригантине, которая в далеком море поднимает паруса), сладостно мечтая о том, как я вольюсь в институтскую семью и стану в этом доме совсем своей...

Среди же моих сокурсников-заочников, приехавших из разных городов страны, я стала ощущать себя «своей» с первых минут знакомства. Нам предстояли одни и те же испытания, нас волновали одни и те же страхи, необычность моей биографии и тут никого особенно не занимала, до того ли, ведь решалась наша судьба (не сдадим экзамены — отчис-

лят!), общий язык был найден мгновенно, ко мне сразу же стали обращаться на «ты»... Вместе сидели на консультациях, впервые знакомясь с профессорами, как школьники дрожали на экзаменах («как школьники», хотя за двадцать было всем, некоторые и на войне побывали, а у одного сияла па груди Звезда Героя), вместе ходили обедать в столовую театра, тогда еще называвшегося «Камерный»,— дешево и от института два шага — и, когда мы веселой гурьбой дружно шагали по Тверскому бульвару, годы скатывались с моих плеч, я забывала, что почти полжизни прожито, казалось — все только начинается, все еще впереди.

Соседки по общежитию, смотревшие на меня несколько сверху вниз, как всегда старший по курсу, по классу смотрит на младшего, были доброжелательны, делились со мной опытом, давая краткие характеристики педагогам, с которыми мне предстояло иметь дело... Такой-то, например, требует понимания предмета и своих мыслей, а такому-то нужно, чтобы студент знал наизусть все даты, на датах и заваливает... А вот есть один... Лекции читает поразительно — художественный театр! — а пятерки на экзаменах ставит с необыкновенной легкостью, ставит, едва дослушав! То ли у него свои понятия об экзаменах, то ли от студентов ничего путного не ждет. Впрочем, был случай, когда кто-то получил у этого профессора четверку!

(Речь шла о С. М. Бонди. Легенду о чрезвычайном происшествии, о полученной у Бонди четверке, я и позже слышала, но никто не знал, в каком из вузов, где преподавал Сергей Михайлович, это случилось, с кем случилось и — почему. Все соглашались: чтобы довести Бонди до такой крайности, надо было совершить нечто чудовищное: либо не знать ни единой пушкинской строки, либо приписать Пушкину чьи-нибудь слабые стихи.)

Николай Иванович Радциг — История древнего мира. Не придирается, лишних вопросов не задает, но билет свой знать следует... А вот с братом его, Сергеем Ивановичем (античная литература),— не просто! Этот чудак настолько влюблен в

свой предмет, что слабое с ним знакомство воспринимает как личное оскорбление, даже заплакать может, да, да, были такие случаи! Вопросы помимо билета задает исключительно из любви к своим Софоклам и Еврипидам, чтобы подольше о них побеседовать! Он, видимо, думает, что студент, бросив другие дела, должен посвятить все свое время изучению греческой и римской литератур, а в часы отдыха, прикрыв от наслаждения глаза, декламировать произведения Горация и Цицерона...

Со Славой Владимировной Щириной (основы марксизма) дело иметь можно. Если видит, что человек поработал, знает пусть не все, но хоть что-то, пойдет навстречу, поможет, задаст наводящие вопросы. Но — строга. В надежде на чудо к ней лучше не соваться.

Александр Александрович Реформатский. Введение в языковедение.

Это имя оживило моих соседок по комнате, а также гостью из комнаты напротив... Они весело переглянулись, и тут же — одна запела, а другие подхватили:

Нам зачет не страшен, братцы,
Мы сдадим его, ей-ей!
А вот Радциг, Реформатский —
Эти будут пострашней!

Затем — посыпались рассказы. Реформатский — человек веселый. Шутник. Предмет его прескучный, а на лекциях — не соскучишься! Только у Бонди бывает так же интересно... Со студентами обращается дружелюбно, чуть не на равных, многие хвастались, что выпивали с ним в шашлычной на Тверском бульваре... И думали, наивные люди, что дружеские беседы с профессором за рюмкой водки или за стаканом пива — помогут, на экзамен шли, особо не волнуясь, надеясь на то, что им окажут снисхождение... И что же? Помните, как один провалившийся все пел: «Как я ошибся, как наказан!» Потому что, сколько с Реформатским ни пей, сколько с ним ни шути, как ни воображай, что ты лично ему очень симпатичен,— на экзамене этот непредсказуемый человек

смотрит на тебя так, будто видит впервые... А ведь еще что делает Реформатский? Раздаст билеты и уйдет. Ну, естественно, все извлекают учебники и быстренько — кто повторяет ответы на свои вопросы, а кто и конспектирует... Реформатскому это неважно, он и на шпаргалки никакого внимания, ему важно выяснить — понимает студент то, о чем так бойко рассказывает, или не понимает. Задаст два-три вопроса — и все сразу выясняется... Гостья из комнаты напротив вспомнила, как весной 1944 года она решила сдать «Введение...» досрочно, явилась к Реформатскому домой, взяла билет и вроде бы билет этот знала, но вдруг растерялась, испугалась, онемела... Молчание длилось. Вопрос профессора: «Скажите, сколько сахару вы едите в месяц?» — «Я и тут молчу, на этот раз от изумления, затем соображаю, о чем речь, отвечаю: Совсем не ем. У меня сын маленький, все — ему».— «Так вот. Будем считать, что вы у меня не были, я вас не видел. Идите, постарайтесь хоть немного есть сахару, ну а в сессию снова придете».

Все эти рассказы рисовали Реформатского в чрезвычайно симпатичном свете, однако утешали меня мало. Ибо, по общим отзывам, провалиться у него было проще простого, а заработать пятерку можно лишь тяжким трудом. Я-то трудилась, и все же...

«Введение в языковедение» начиналось со второго семестра, и в январе 1949 года секретарь заочного отделения З. Н. Болотова среди других программ выслала и программу этого предмета. Проглядев ее, я обомлела. Аккомодации. Ассимиляции. Эвфемизмы. Супплетивизм. Да еще какая-то фузия! В жизни своей я не сталкивалась с этими словами, что они, господи, означают? И были еще в программе какие-то чертежи, упоминания каких-то губных «м» и зубных «н» и какие-то загадочные рисунки... Ничего себе! Лишь память и прилежание требовались для одоления таких дисциплин, как история, литература, основы марксизма, даже — теория литературы. Там все было понятно. А тут! Одолею ли я? Одолею. Раз надо — одолею. В читальне казанской библиотеки я до-

стала указанный в программе учебник А. А. Реформатского и стала одолевать. А вскоре послала отчаянно-умоляющее письмо в институт с вложением шести рублей (стоимость учебника), и Зоя Николаевна Болотова, добрейший человек, учебник мне купила и выслала...

Как жаль, что у меня не сохранилось испещренного пометками и подчеркиваниями, моими слезами и пóтом облитого, потрепанного, именно того экземпляра светло-коричневой, в 1947 году Учпедгизом изданной, тоненькой книжки! Тоненькой. Но — томов премногих тяжелей! Я очень страдала над ней, доходя до всего своим умом, но кое-что мне так и не далось, я не могла понять «варианты и вариации фонем», не могла, как ни билась, и не было среди моих казанских знакомых никого, кто мог помочь мне... Отмерзли два маленьких окошка в моей комнате, за ними замелькали прохожие с усеченными головами, стали светлеть, светлеть вечера, близился май, за ним июнь, а я все еще мучилась с этими вариациями...

Мои соседки по общежитию утешали: «Ничего. Ведь у вас будут консультации. Он сам все объяснит!» Утешали. Но и пугали. Одна из них, как-то встреченная внизу в коридоре, сказала: «А хотите взглянуть, как Реформатский принимает экзамен?» Она осторожно приоткрыла дверь, ведущую в одну из аудиторий, и жестом пригласила меня заглянуть в щель. Я заглянула. В аудитории находились двое друг против друга сидевших, друг на друга молча глядевших... Один — плечистый, с высоким, увеличенным лысиной лбом, поставив локоть на стол и зажав в кулаке рыжевато-русую бороду, глядел выжидательно и загадочно. На лице другого (молод, бледен, вихраст) выражение мольбы и муки, и при ярком из окна свете были видны капли пота, блестевшие на этом страдальчески наморщенном челе... Было впечатление, что я увидела один из кругов меня ожидавшего ада... «Второй раз сдает,— деловито сообщил мой Вергилий, когда мы отошли.— И, по-моему, снова заваливается!» — «По-моему, тоже!» — ответила я не своим голосом.

Меня поражало легкомыслие некоторых новых друзей моих, заочников-первокурсников. Особенно поразил меня один из них, весельчак не первой молодости, житель Калуги, приехавший оттуда на собственном мотоциклете. «А эту книжку,— сказал он, кивнув на учебник Реформатского,— я и не открывал еще!» — «Ты сошел с ума! — вскричала я. «А что? — не сдавался весельчак.— Три дня дают на подготовку. Успею!» Он не успел, конечно. И легкомыслие его было жестоко наказано...

Я же изумляла новых друзей своим прилежанием. Вечерами меня звали гулять, Москву смотреть — а я сидела за книгами. В те июньские дни отмечалось стопятидесятилетие со дня рождения Пушкина, у памятника — венки, цветы, речи, толпы, весь наш институт туда побежал, а я в опустевшем, вымершем доме в полном одиночестве сидела за книгами. В двух шагах, на Тверском бульваре, выступали известные ученые, писатели, актеры, такого я никогда не видела и, вероятно, никогда не увижу, это беспокоило меня, но я стойко беспокойство преодолевала. Главная цель — хорошо сдать экзамены, этой цели следует все подчинить. И я подчиняла.

Ни в харбинской средней школе, ни в Ориентальном институте особым прилежанием я не отличалась, «первые ученики», «зубрилы», тихони, поедавшие глазами учителей, раздражали меня. А тут я сама превратилась в зубрилу, да еще в моралистку. Читала нотации своим сокурсникам. На нашу долю выпало счастье, нас допустили в Литературный институт, нас учат бесплатно (а «очникам» и стипендии дают!), так чем мы можем ответить государству на эту заботу? Только одним: старанием, прилежанием! Проповедники-моралисты не всегда бывают искренни (говорят одно, делают другое), я же подкрепляла свои слова примером (от книг не оторвешь!), и, видимо, эта убежденность плюс особенности моей биографии позволяли сокурсникам выносить мои проповеди без раздражения. Вполне, однако, возможно, что за глаза меня называли «чудачкой» (хорошо, если не «зану-

дой»!), но относились ко мне добродушно и нередко прибегали к моей помощи. Одному я объясняла разницу между глухими и звонкими согласными, с другим беседовала о ямбах и хореях, третьему излагала содержание романа, в обязательном чтении указанного, но этим студентом не прочитанного... Быть может, я не так бы уж спешила на помощь ближнему, если б эти занятия уводили меня от главной цели, но они не уводили, напротив. Помогая другим, я повторяла пройденное... Казалось бы: после таких трудов можно не бояться экзаменов. Но я боялась. Неизвестно чего ждать от преподавателей. Одну из наших соседок на госэкзамене член комиссии попросил описать платье, в котором была Вера Павловна из романа «Что делать?» во время своего четвертого сна! Спрошенная на вопрос ответить не смогла и получила сниженный балл. Услыхав этот жуткий рассказ, я чуть было не кинулась в институтскую библиотеку, намереваясь вновь перелистать роман (в свое время я одолевала его со скукой, тщетно убеждая себя его любить), но порыв свой сдержала. Не надо суетиться. Видит бог, я сделала все, что было в моих силах, и — будь что будет!

Хорошо ли я сдала экзамены? Я их сдала отлично. Все восемь. Что именно меня спрашивали, как все это происходило — уже не помню. В памяти застряли лишь три — те, которых я опасалась больше всего...

Экзамен по основам марксизма принимали двое: завкафедрой Леонтьев и С. В. Щирина. Отвечая на вопросы билета, я блеснула знанием трудов, указанных в программе как чтение не обязательное, а лишь дополнительное, чем порадовала экзаменаторов (они одобрительно переглядывались), говорила вдохновенно, а когда умолкла, то Слава Владимировна воскликнула, обращаясь к коллеге: «Вы подумайте, ведь она всего полтора года живет в СССР!» Счастливая и гордая, я покинула аудиторию...

Сергей Иванович Радциг: хрупкость и белоснежность. Мал ростом, худощав, белейшая маленькая борода, белейшие волосы, белый костюм, и такой весь чистенький-чистенький.

Я села напротив него, отдала свой билет, а Сергей Иванович взглянул на меня влажными глазами: он только что плакал. Студенту, отвечавшему до меня, был задан вопрос: «Какие переводы Пушкина из Анакреонта вам известны?» Студенту эти переводы известны не были. Молчание длилось. И вдруг Сергей Иванович воздел к небу свои маленькие руки и вскричал прерывистым голосом: «Заросла, заросла народная тропа!» Всхлипнул и высморкался... Печально, не ожидая ничего доброго, глядел он сейчас на меня невысохшими глазами. Я хорошо знала свой билет. Этого оказалось мало, чтобы совсем уж утешить Сергея Ивановича. Мне были заданы дополнительные вопросы, из которых последний помню до сегодня: «Что вы можете сказать о Петронии?» Я так много могла сказать о Петронии, что меня пришлось удерживать: «Довольно, довольно!» Счастливая и гордая...

И, наконец, «Введение в языковедение»...

Все преподаватели, которым предстояло принимать у нас экзамены, давали нам консультации. Эти предварительные знакомства с педагогами в памяти не сохранились, хотя все, кто в те годы учил нас, были специалистами своего дела и лекции их были несомненно интересны. Но в их поведении ничего необычного, а значит, запоминающегося не было. Входили, садились за кафедру, вставали, прохаживались, вновь садились, все обычно, академично, между студентами и профессором ощущалось расстояние, эдакая невидимая перегородка...

Реформатский вошел в аудиторию стремительно, под мышкой старый, туго набитый портфель (казалось, вот-вот лопнет!), потертый синий пиджак, рубашка без галстука, швырнул портфель на стол, поздоровался с нами (лицо располагающе добродушное, взгляд проницательный и не без хитрости), тут же обернулся к доске и — грозно: «А где тряпка? Да-с. Все бедность, да бедность, да беспорядки нашей жизни!» Обращаясь к студентам, сидевшим к нему ближе других: «А ну, отцы, кто из вас поживее, бегите за тряпкой!» «Отцы» рванулись бежать оба, одного удержали, другому было крик-

нуто вслед: «Да чтоб была влажная!» И никакой академичности, никаких перегородок, тем более что к месту, для профессора предназначенному, Реформатский и не подошел, сказал, кивнув в ту сторону: «К кафе́драм почтения нету!» Стал спрашивать, кому что непонятно в его учебнике, и тут же объяснял (на доске писал быстро, четко, сильно нажимая на мел, мел крошился), и уже мне казалось странным, что я так мучилась над «вариациями», все оказалось просто... В ответ на чей-то вопрос Реформатский заговорил об идиомах и нас включил в разговор, восклицая: «Ну кто еще даст пример?» Не лекция — оживленная беседа. Не все, однако, в эту беседу включились, двое или трое студентов сидели тихо, вопросов не задавали, и, покосившись в сторону одного из этих молчальников, Реформатский сказал: «Вам, я вижу, все ясно? Что ж. Очень рад!» Интонация добродушная, а во взгляде ехидство... На следующей консультации нас уже называли кого по имени, кого по имени-отчеству, а к концу занятий довольно точно определили, кто из каких мест родом... Профессор запнулся лишь на мне, сказав: «Что-то, пожалуй, питерское, но не убежден! Надо вас еще послушать!»

(В том июне 1949 года ни ему, ни мне не могло прийти в голову, что скоро я стану его женой, и «слушать» меня он будет много, долго, вплоть до последнего часа своей жизни!)

Эта способность узнавать по произношению, кто откуда родом, была нам тогда непонятна, казалась волшебством, фокусом, в аудитории удивление, оживление, предстоящий экзамен пугал уже меньше, непохоже, чтобы этот чудаковатый, добродушный человек кого-то заваливал, нет, поможет, вытянет! Но я хорошо помнила предостережения моих соседок по комнате...

И все было именно так, как они рассказывали... Билеты розданы, Реформатский удаляется, мы вытаскиваем учебники, судорожно перелистываем, шелест, чей-то отчаянный шепот: «Жень! А где искать ассимиляции?» — «Да там же оглавление есть, ищи сам!» Одни повторяют ответы на билетные вопросы, другие — переписывают, ох, успеть бы, за дверью

громкие шаги (нарочито громкие!) и голос Реформатского, он кого-то окликает, с кем-то вступает в разговор — сигнал предупреждения, пора прятать учебники. Спрятали. Профессор вошел, уселся и — нам: «Кто готов — пожалуйте!»

Экзамен длился долго. Никто так тщательно не проверял знаний студента, как Реформатский. Для тех, кто не поленился вникнуть в его нелегкую науку, экзамен превращался в приятную дружескую беседу, кончавшуюся не только отличным баллом в зачетке, но и добрым словом, похвалой, что поднимало самоуважение студента. Каждый знает, насколько он больше ценит то, что им заработано трудом, чем то, что досталось ему либо случайно, либо путем нечестным... Но так называемая «кривая» на экзаменах Реформатского не вывозила никогда, и для студентов легкомысленных, неподготовленных экзамен превращался в маленькую пытку... Сдавшие покидали аудиторию, одни счастливые и веселые, другие... Помню, как один мой однокашник появился в коридоре с таким лицом, будто вышел из бани, сел на первый попавшийся стул или скамью, вцепился руками в голову (казалось, он пытается приподнять себя за волосы) и забормотал: «Дубина. Осел. Остолоп». Не мучителя проклинали, провалившись, проклинали себя. Как же достигал этого Реформатский?

Позже я услыхала от него такие слова: «Мой покойный учитель, Дмитрий Николаевич Ушаков, говаривал: «Студент— он бывает со всячинкой, но его, сукиного сына, любить нужно!»

Учеников в то время у Реформатского было множество — он одновременно преподавал в Горпеде (Педагогический институт имени Потемкина), но аудитория, даже самая многолюдная, безликой массой для него не бывала — студенты быстро ощущали его к ним небезразличие, его к ним живой интерес... Годы и годы спустя, старым человеком, Реформатский помнил не только всех своих учеников, но даже — кто из них как учился! «Такой-то? Как же, помню. Троешник».

Или: «Такой-то? На твердую четверку знал, выше не шел». Верный завету своего учителя, Реформатский любил студента. Студент платил ему тем же...

В октябре 1950 года мне представился случай воочию убедиться в том, как популярен Реформатский среди своих учеников... Александр Александрович позвал меня пойти с ним в Горпед на обсуждение повести Юрия Трифонова «Студенты», опубликованной в «Новом мире». Мы явились в институт с опозданием, нас провели через боковую дверь, и, войдя, мы очутились за спинами президиума и того, кто в этот момент выступал... Внезапно зал взорвался аплодисментами. Недоумение президиума, растерянность выступавшего — с чего это они? Но глаза сидящих в зале устремлены поверх голов и членов президиума, и выступавшего, тот оборачивается, улыбается и сам начинает аплодировать... И я была изумлена, пока не догадалась: студенты увидели Реформатского и бурно выражают свою радость... К нему подскакивают, его ведут, усаживают, а зал все рукоплещет, я плетусь следом, ощущая неловкость,— эдакое триумфальное шествие под аплодисменты, не ко мне относящиеся. Усадили в первый ряд. Зал успокоился. Выступавший вспомнил, на чем остановился. Обсуждение продолжается.

Прямо передо мной, на том же уровне (эстрады не было), лица тех, кто сидит за столом президиума, я, недавний житель Москвы, не знаю никого. Лишь одно лицо мне знакомо: очки, курчавящиеся темные волосы, серьезен до мрачности, выпускник нашего института, любимец Федина, талантливый прозаик, Юрий Трифонов... Я читала его роман, роман мне нравится. И всем нравится. Трифонова очень хвалили в тот вечер и как писателя, и как человека. Реформатский, выступая, вспомнил одну студенческую историю... На экзамене преподаватель обвинил Трифонова в шпаргалке, тот пе был виноват, но оправдываться пе стал, да и истинного виновника боялся подвести. Просто предложил ответить на любой

билет, по выбору преподавателя, и на любой вопрос. И — прекрасно ответил!

За моей спиной дышит, волнуется бурно на все реагирующий зал (Реформатского проводили новым взрывом аплодисментов), передо мной серьезное, замкнутое лицо Трифонова... Совсем молодой, куда моложе меня, и вот уже такой роман написал, и вот уже слава, не рад он ей, что ли? Мне казалось, что он похож не на писателя, а на преуспевающего чиновника (боится уронить себя улыбкой!), мне чудилось в нем высокомерие, как же мало тогда я знала его, как плохо видела!

Сблизились мы позже. Гораздо, гораздо позже!

С 1968 года по 1977 включительно Александр Александрович и я проводили летние месяцы в маленьком доме на дачном участке друзей в том же поселке, что Трифонов. Виделись часто.

...Вечер. Август. За окном тьма, шуршит дождь по листьям берез, обступивших домик, печка топлена, тепло... Юра сидит на кровати, сгорбившись, уперевшись локтями в колени, Александр Александрович — к своему столу боком, к гостю — лицом. Разговор о шахматах, о литературе, об истории России, иногда — воспоминания о Литинституте. Я в соседней комнате накрываю стол (сейчас будем чай пить!) и подаю реплики. Очень уютно.

Но как же мы все трое постарели, как изменились с того вечера в Горпеде! Нелегкие пути привели каждого из нас к этой идиллической сценке на даче, к этой мирной беседе под шуршанье дождя за окном. Много чего происходило с нами и в жизни личной, и в жизни не личной за те двадцать с лишним лет, что прошли с обсуждения повести «Студенты»...

...В один из таких вечеров я — Юре: «Дай мне перечитать «Студенты». Я их совсем забыла!» Юра: «Не дам. Ну зачем тебе? Ведь я теперь пишу совсем иначе!» Я не настаивала. Я понимала его. И я не радуюсь, когда меня просят дать по-

читать роман «Возвращение». Я давно догадалась, что не беллетрист я, не романист, выше среднего уровня мне тут не подняться, а поняв это, ушла в тот жанр, к которому ощутила влечение с юности: в сатиру, в фельетон. Юра же долго, мучительно искал себя, искал свою тему, в «Отблеске костра», в некоторых маленьких рассказах («Игры в сумерках», например) к ней приближался, но окончательно нашел в «Обмене».

Своя наконец найденная тема позволила Трифонову подняться на иную ступень. В своих последовавших за «Обменом» произведениях («Предварительные итоги», «Долгое прощанье» и другие) Трифонов свою тему расширял, углублял, «вспахивал», его писательское мастерство росло. Трифонов семидесятых годов — это сложившийся крупный прозаик, совсем уже иного качества, чем автор «Студентов». Он нашел себя, нашел дело, ему судьбой назначенное, попал в свое русло. У каждого из нас есть такое русло, только не каждому удается его найти, в него попасть...

...Тьма за окошками, дождь шумит, пьем чай. За столом с нами сидит уже не прежний кудрявый, худой, спортивный Юра с его немного напускной молодой мрачностью. Поредели его темные волосы, он полноват, немного вял, немного увалень, бросил курить, перестал играть в теннис. Умно-внимательный взгляд из-под очков, идущее от него ощущение честности, надежности, доброты придают его облику нечто «пьербезуховское». Много знал, много думал, умел рассказать, но и собеседника умел слушать и слышать. Мгновенно на все откликался, понимал с намека, ценил шутку — эта его незабываемая усмешка: дрогнут губы, веселеют глаза, светлеет лицо. А громко смеялся редко. Грустный человек.

Александр Александрович любил его и называл так: «Юра Три».

Их обоих больше нет. Да, даже Юры, который был моложе меня.

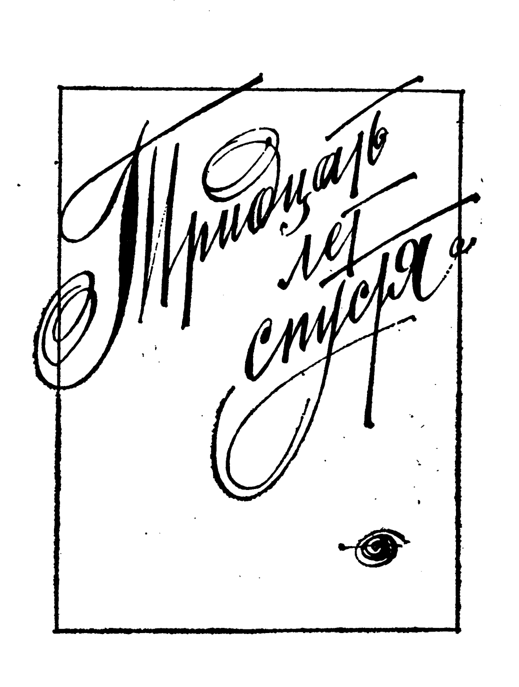
Рушатся куски жизни.

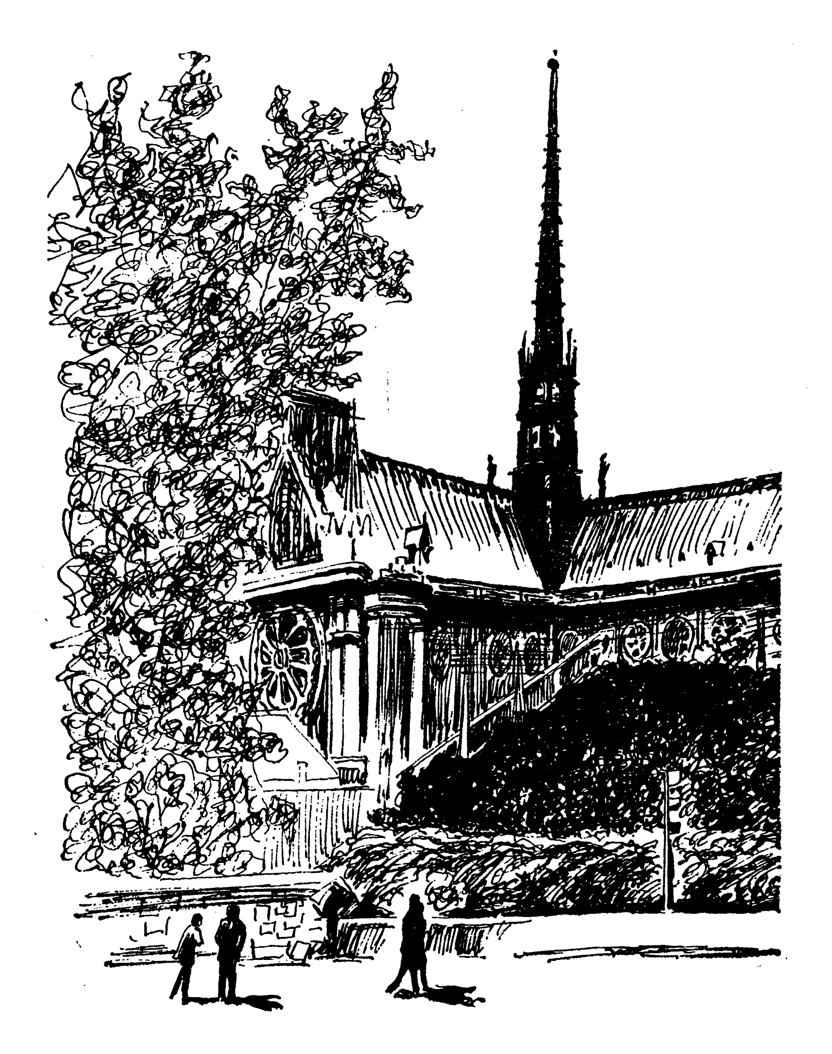
А тогда, летом сорок девятого года, мне казалось, что настоящая моя жизнь только началась, все прежнее было лишь к ней подготовкой, лишь черновиком...

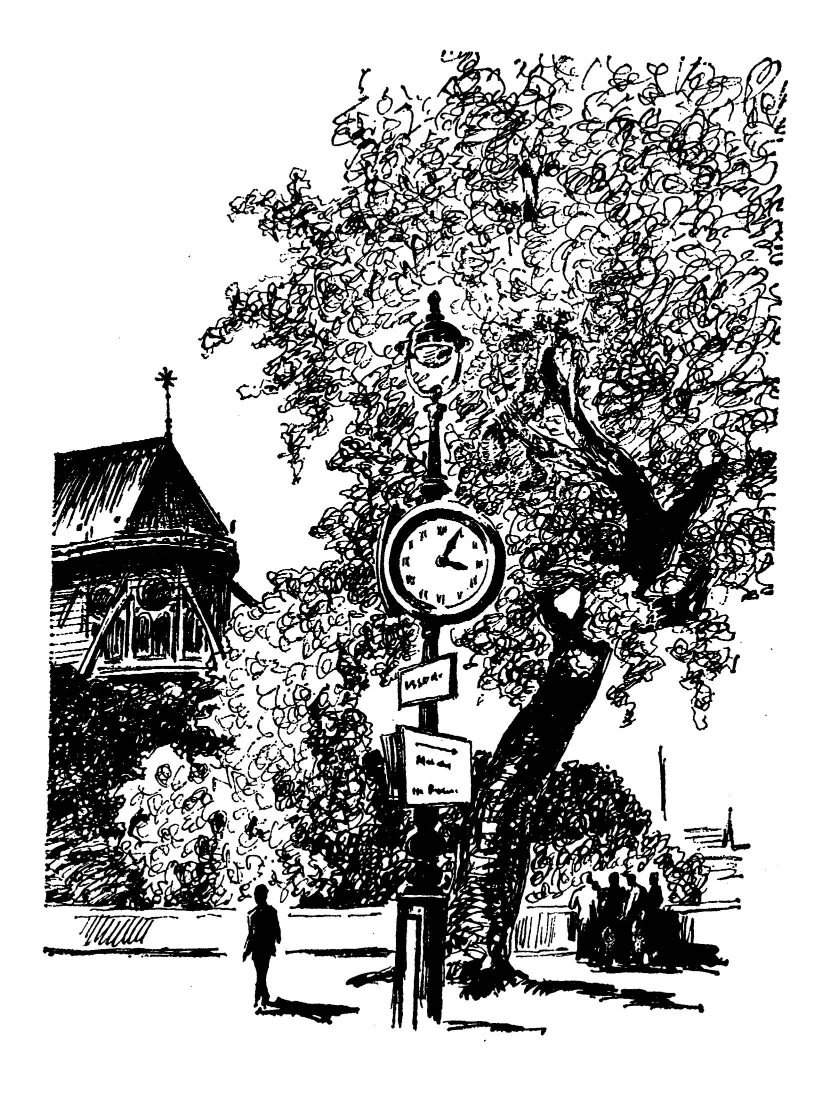
Сдав экзамены за первый курс, я отправилась в Ленинград предаваться заслуженному отдыху. Матери оттуда пишу:

«Гощу у тетушек, ничего не делаю, шляюсь по городу, езжу по окрестностям. Дима перешел на четвертый курс, Катя кончает аспирантуру. Как же я опоздала по сравнению с ними! Но ничего. За мною мой жизненный опыт, он поможет мне, когда я начну писать... Все вспоминается московский июнь, экзамены, страхи, волненья и то, как было прекрасно ощущать себя членом студенческой семьи. Мне очень хорошо в моем отечестве, мама! Я отслужу, я отработаю, я всей остальной жизнью отплачу за то, как меня тут встретили, как отнеслись ко мне, сколько всего мне тут дали!»

Любительская фотография в альбоме матери: сад Литературного института, весна, на фоне стены Дома Герцена группа студентов-второкурсников. Среди них мое счастливое лицо.


Тридцать лет спустя







ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ СО СТАРЫМ ДРУГОМ...

1

> ...было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами...
>
> *Ф. М. Достоевский. «Зимние заметки о летних впечатлениях»* [1]

«Вы помните Сан-Джиминьяно? Как там звонят колокола!»

Строчки из какого-то стихотворения. Кем оно написано и что там дальше? Не знаю.

Видимо, я запомнила их с голоса Леонида Ещина, молодого каппелевского офицера, бывавшего у моих родителей в начале двадцатых годов, а позже спившегося, опустившегося, погибшего. «Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю: то бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала». И это он читал тогда, и это я помню с тех пор. Спустя годы, натыкаясь в стихотворных

[1] Все последующие эпиграфы также взяты из «Зимних заметок...» Достоевского.

сборниках на давно знакомые строки, я вновь слышала голос Ещина. Он и сам писал стихи, некоторые посвящены моей матери, в ее архиве хранится тетрадь, исписанная почерком скорее мелким, но с крупными прописными буквами. Там нет «Сан-Джиминьяно», но все мне кажется, что слова эти — Ещина.

Моя мать на Бестужевских курсах изучала эпоху итальянского Возрождения и была отправлена своим дядей, ученым-метеорологом А. И. Воейковым, в Италию, во Флоренцию. Дядюшка, заменивший матери, ее братьям и сестре их рано скончавшегося отца, считал: если человек занимается эпохой Возрождения, то он обязан подышать воздухом его колыбели. И мать какое-то время этим воздухом дышала, влюбилась во Флоренцию и, конечно, ездила в Сан-Джиминьяно, это — рядом.

Годы и годы слово «Сан-Джиминьяно» звучало во мне музыкой стиха, воспринималось как стихи, никакого реального города, места под солнцем за этим не ощущалось. Убеждена, что я услышала их в одноэтажном домике под железной крышей, в нашей первой беженской квартире в Харбине, на Гиринской улице.

И вот, когда после Харбина двадцатых годов прошло более полувека (жизнь прошла!), я иду по крутой и узкой средневековой улице, и чем выше, тем виднее знаменитые квадратные башни, и я не верю, что это тот самый Сан-Джиминьяно и я — в нем.

Рядом мой старый друг, мы познакомились в Шанхае летом 1942 году — тоже уже «жизнь тому назад». Оба мы, мягко говоря, немолоды: ему за семьдесят, мне за шестьдесят. И нельзя сказать, чтобы здоровы. Он перенес два инфаркта. Неблагополучно со слухом — только что купили новую батарейку для аппарата,— неладно со зрением: несколько пар очков для разного света, для разных расстояний. Это, однако, не мешало ему водить машину. Не все в порядке и со мной: полиартрит. На улицах, в храмах мой спутник время от времени — заботливо: «Не устали? Хотите посидеть?» Я в усталости созна-

валась, он — никогда, мужское самолюбие. Лишь однажды в жару, на длинном мосту перед Венецией — шли пешком — попросил таблетку (он вечно все терял, его лекарство держу при себе), и я, испугавшись повернутого ко мне серого лица, нащупывая в сумке позолоченную коробочку и извлекая из нее белую горошину, очень ясно вообразила в эти секунды: ему плохо, он падает, а я мечусь на этом чужом мосту, хватаю за руки прохожих...

Но Венеция была позже. А сегодня мы, покинув автостраду, свернули на неширокое, ведущее в Сан-Джиминьяно шоссе, едем спокойно, пятьдесят — шестьдесят километров, и внезапно на каком-то повороте показался стройный и отчетливый силуэт этого «города прекрасных башен». Замедляем ход, въезжаем в старинные ворота, ищем место, где оставить машину, оставляем, идем пешком наверх, и чем выше, тем виднее знаменитые башни, в четырнадцатом веке построенные для военных надобностей, а сегодня неизвестно кого и от чего охраняющие, но зато ставшие славой и гордостью этого маленького города. Слегка задыхаясь, мы ступили на площадь делла Цистерна, свое название получившую от каменного в центре колодца (тринадцатый век), сохранившего на боках своих впадины от веревок, привязанных к кувшинам, коими черпали воду... Мы ступили на тяжелые каменные плиты площади — суровые дома, выступающие карнизы, много слепых, закрытых ставнями окон, трава из расщелин башен, и я, уже видевшая площадь Кампо в Сиене, думаю о том, что, видимо, лишь итальянским городам удалось пронести сквозь века и до наших дней удержать свой облик, сложившийся в их «треченто» и «кватроченто». А тут же яркие тенты и цветные зонты над столиками кафе, сувениры, разложенные на лотках, развешанные на стендах — глиняные тарелки, плетеные корзины, медные тазы и кастрюли,— а на каменных плитах площади несколько автомобилей разных форм и расцветок, легкомысленная современность, вторгшаяся в мрачное средневековье.

Мы зашли, разумеется, в одну из двух знаменитых церк-

вей Сан-Джиминьяно, но вот в какую? Сан-Агостино или Коледжиата? Не помню. Значит — чем именно была знаменита данная церковь, фресками ли, мозаикой ли, из головы выветрилось. Понимаю, что эта забывчивость, говорящая о поверхностном отношении к открывшимся мне красотам, не украшает меня, я виновна, однако, думается, заслуживаю снисхождения.

Наше путешествие было строго ограничено во времени: моему спутнику необходимо вернуться в Париж не позже 30 сентября, а мне удалось попасть в Рим лишь тринадцатого. За эти две недели мой друг был намерен мне много чего показать, все спланировал заранее, уделив одним городам двое суток, другим — сутки, а в третьи мы должны были заезжать по пути и, проведя там несколько часов (обед и торопливый осмотр достопримечательностей), мчаться дальше. В Сиену и Сан-Джиминьяно (двое суток на Сиену, из них полдня на Сан-Джиминьяно) я попала после того, как на меня обрушился Рим (трое с половиной суток), Рим с его музеями, площадями, фонтанами, Ватиканом, Сикстинской капеллой, остатками античных императорских сооружений и толпами, толпами, толпами туристов. Я пребывала, таким образом, в состоянии некоторого ошеломления.

А вот фреску — Мадонна, окруженная сонмом святых и ангелов, в маленьком музее палаццо Коммунале,— ее запомнила. То ли потому, что она чем-то поразила меня, то ли потому, что к ее восприятию была подготовлена Муратовым.

Всю жизнь я слышала о книге Муратова «Образы Италии», всю жизнь собиралась читать ее, но истинной потребности не возникало. Но вот, узнав, что еду в Италию (не мечта — реальность!), раздобыла книгу, погрузилась в нее. Этот бесценный двухтомник, рассказывающий об истории и об искусстве итальянских городов, я читала прилежно, но голова моя не была в состоянии удержать всех сведений, на нее вылившихся, я путала Борромини с Бернини (это еще куда ни шло, оба «барокко», оба современники), делала ошиб-

ки и более серьезные, однако кое-что память удержала, и знакомство с трудом Муратова все же помогло мне хоть как-то упорядочить мои разнообразные и пестрые впечатления.

Наступил час второго завтрака, и мы могли бы неприхотливо закусить в кафе — их полно на тротуарах! — но спутник мой был человеком именно прихотливым: не кафе ему подавай, а ресторан, да и то: самый лучший. В «самом лучшем» все столы были заняты, нам предложили подождать минут тридцать. Я ждать была готова. Мой спутник — нет.

Человек состоятельный, он привык к тому, что в «обществе потребления» (им, кстати, беспрестанно проклинаемом!) за деньги можно получить все, и очень сердился, если этого изредка не происходило. А ведь богат был не всегда. Его родители, попавшие в Париж с беженской волной девятнадцатого-двадцатого года, ценой различных жертв ухитрились дать сыну образование. Сын оказался не только трудолюбив, но и талантлив. Были у него, видимо, те семь пядей во лбу, та страстная любовь к им избранной профессии инженера-строителя, какие позволили ему в неравных условиях («апатрид», французский язык не родной) и институт отлично окончить, и работу найти, поначалу в Индокитае, затем в Париже... Теперь он на пенсии, и что-то скоплено, да и фирма его то и дело обращается к нему, известному, крупному специалисту, за консультациями, не бесплатными. И забыта трудная молодость, и он, путешествуя, уже не знает иных отелей, кроме лучших, и иных ресторанов не знает. Мне — с виноватой усмешкой: «Что делать, голубчик, я привык к комфорту!»

Ждать? Ну вот еще! Найдем что-нибудь другое. Должен же быть другой порядочный ресторан в этом городе! Ресторан был куда скромнее предыдущего, но зато столики на улице. Это я считала своей обязанностью восклицать: «но зато!» Там бы мы сидели в помещении, а тут на воздухе, и какая прелесть эта улица, нам просто повезло, что мы в тот ресторан не попали! Утешен. Разгладились морщины на челе.

Каким молодым я помню это чело, это лицо тем августом тысяча девятьсот сорок второго года!

Принесли карту вин. В Риме мы пили только белое, переехав в Тоскану, перешли на красное — кьянти. Кьянти бывает разное. Лучшее это то, где на этикетке изображен черный петух. Вот какими еще сведениями я обогащаюсь, путешествуя, но, если вдуматься, к чему мне они?

Беда! Кьянти с черным петухом тут не оказалось. За спиной своей я слышу взволнованный шепот, доносящийся из недр ресторана. Угадываю его значение. Синьор, неизвестной национальности (объясняется на плохом итальянском, а с синьорой говорит на языке, доселе в Сан-Джиминьяно не слышанном!), требует «черного петуха», а его нет! Сама хозяйка, прижимая к груди две бутылки, выходит к привередливому чужеземцу. Это вино не хуже «петуха» и это не хуже! Сообщается возраст вин, место рождения и еще какие-то подробности их биографии... Какую из бутылок позволит открыть синьор? Синьор колеблется. Неужели этот капризник потащит меня еще куда-нибудь в поисках «петуха», дался ему этот «петух», надо включаться, пока не поздно! Включаюсь. Настаиваю на открытии вот этой бутылки (тычу наугад), хозяйка смотрит на меня благодарно, кивает ласково, мы победили, бутылка открывается, вино пригубливается, и я восклицаю, что оно вполне, вполне... Спутнику моему не так уж хочется куда-то еще идти, он соглашается, что вино терпимо, ну и место тут в самом деле премилое, вот только этот чертов фургон! Но чертов фургон, повернутый к нам своим рекламами обклеенным боком и мешавший видеть перспективу улочки с ее древними, пережившими столетия, стенами, вскоре отъехал — и жаловаться было уже совершенно не на что!

Позавтракав в Сан-Джиминьяно, мы покинули «город прекрасных башен», направляясь в Сиену. Туда мы явились из Рима накануне под вечер, остановились в отеле «Италия», я успела лишь одну площадь Кампо повидать, а в Сиене многое надо смотреть, и было решено устремиться прямиком к

знаменитому Дуомо... Мне очень хотелось заглянуть в отель, покинутый нами утром, умыться, переодеться — оба мы выглядели непрезентабельно. Пятно от томатного соуса на светлой рубашке моего спутника, у меня — измятое платье, испачканные туфли. Хозяйка ресторана, взволнованная дискуссией о винах, заправляя салат, плеснула оливковым маслом на одну из моих летних туфель, и это темное пятно, алчно въевшееся в синюю «джинсовую» материю, томило меня и раздражало. Отчиститься бы, отмыться! Но я не смела об этом заикнуться. Следовало, пока светло, посмотреть Дуомо, и то, что внутри Дуомо, и палаццо Публико, туризм не отдых («о травай!» — «за работу!» — обычно восклицал мой спутник, поднимаясь из-за столика кафе или ресторана), работать же надо добросовестно, и не могла я сознаться, что готова чем-то пожертвовать, чего-то не увидеть ради приведения себя в порядок! Вместо того чтобы рваться посмотреть еще одну фреску, еще одну мозаику, я предпочитаю, затворившись в отельном номере, отмываться и отчищаться. Подобные мелкие соображения огорчили бы моего спутника, дарившего мне Италию, да так щедро!

Ну вот мы и отправились в Сиену — и, минуя отель, прямиком к знаменитому Дуомо, а по дороге я беседовала об этом «городе Мадонны» (кое-что помнила из Муратова), о том, что Данте называл Сиену «высокомерной», о ее войнах с Флоренцией... Об испачканной туфле и пятне на рубашке своего спутника старалась забыть. Вспоминала в утешение, что многие туристы одеты весьма небрежно, иные — чуть не в лохмотьях, нынче такая мода. Впрочем, моды этой придерживается в основном молодежь, люди же нашего возраста пока не утратили склонности к опрятности и приличию...

Первая забота туриста, въехавшего в город за рулем автомобиля, найти место, куда этот автомобиль поставить. Тут нельзя, тут нельзя, а вон на той улочке, кажется, можно, но, черт возьми, въезд с этой стороны запрещен, ищи теперь, как попасть на нее, попробуем что-нибудь другое, ах, дьявол, не втиснешься, откуда это нанесло столько туристов, каждый

год езжу в Италию, но такого... Это бормочет мой спутник и время от времени — мне:

— Извините, что я ругаюсь, но мне так легче!

Этот человек с его инфарктами, слуховым аппаратом и множеством очков мучается сейчас за рулем спортивного «фиата» с откидной крышей и муки эти принял ради меня. Сколько лет слышу от него: «Вы должны увидеть Италию! Я не успокоюсь, пока не покажу вам Италию!» И вот покинут остров Корфу, где спутник мой и его жена проводят обычно летние месяцы и где намерены были оставаться до конца сентября. Вместо тишины уединенного бунгало — жара, туристы, автомобили, мотоциклисты, Италия, спутником моим столько раз виденная, что он сейчас вполне без нее обошелся бы... Ради меня. Стараюсь помнить об этом все время. Его капризы, раздражительность, вечные упреки по адресу «общества потребления» иной раз смешат, а иной — сердят. Интересно знать, что бы он делал без этого проклинаемого общества, он, с его избалованностью?

Вторая забота туриста после пешего хождения по городу, после музеев и храмов — вспомнить, где именно он оставил машину, найти ее... Сколько времени уходило у нас на эти поиски!

Поблуждав в автомобиле по улицам Сиены, мы наконец нашли маленькую площадь, законную стоянку, втиснуть машину, конечно, некуда, но на счастье наше кто-то уезжал, уехал, повезло, втиснулись, освободились, двинулись пешком наверх, к Дуомо.

Идем по фантастическим улицам, ухитрившимся остаться почти такими же, какими их сделали строители треченто и кватроченто. Красный цвет кирпичных стен, кое-где вбиты железные граненые палки-крючки для привязывания коней, над дверями старинные фонари, из окон (глубокие впадины в толстенных стенах) высунуты наружу деревянные жерди, на них сушится белье, и странно, что в этих средневековых домах живут и стирают. И странно видеть бесчисленные ноги в джинсах, шагающие по древним камням мостовой.

Перед нами Дуомо во всем великолепии белого купола, окон, стен и черно-белой полосатой башни. Великолепно и внутри: чаша для святой воды при входе, вновь радующая глаз полосатость мрамора (колонны, часть стен), статуи святых в нишах, белая кафедра, окруженная колоннадой с мраморными львами. Но вот увидеть главную достопримечательность собора, мозаичный пол, названный Муратовым «колоссальной гравюрой на мраморе», нам не удастся. Два столетия трудились над этим полом лучшие художники Сиены, и малые мастера и простые ремесленники, сотворившие общими усилиями это коллективное чудо. Нынче это чудо закрыли, затянули плотной материей, пытаясь спасти его от туристских ног, от туристских орд, приоткрыт лишь кусочек (метра полтора?), — это чтоб дать топчущимся вокруг кусочка туристам хоть какое-то представление о гравюре на мраморе. И мы, мой друг и я, тоже, как все, потоптались и тоже, как все, вслух выражали свое изумление, свое восхищение — этот олень будто нарисован, будто одним легким, тонким штрихом обозначен его силуэт, а ведь тут не рисунок, тут мозаика, «легкий штрих» сложен из полосок черного мрамора, да, не боялись труда эти средневековые искусники, эти умельцы!

Побродив по собору, оглядев чашу, кафедру со львами, ниши со скульптурами, мы зашли затем в примыкающую к Дуомо библиотеку, чьи стены расписаны Пинтуриккио — десять больших фресок, изображающие разные приключения из жизни папы Пия II. Небольшой зал, мраморный пол (синие на белом фоне ромбы с белыми же полумесяцами), в центре на длинной ноге огромная ваза, на ней — статуи, от пестроты пола, от яркости и золота фресок слепило глаза, и хотелось уже одного: тихо посидеть. А под фресками пюпитры с раскрытыми старинными книгами и изящные табуреты, на которые не садятся, — это часть музея. Мой друг, в своей роли гида, что-то мне объяснял, что-то показывал («взгляните на эту фреску, теперь на эту...»), я покорно взглядывала, после строгости внутреннего убранства собора

фрески не нравились мне, но я не решалась в этом сознаться. Истинной подготовки к восприятию изобразительного искусства нет у меня, поговорить о статуе, о фреске языком профессионала («легкость и грация композиции...», «колористическое чутье»...) не умею. Претит и рабское восхищение общепринятым (ах, Боттичелли! ах, Микеланджело!), и снобистское отрицание общепринятого. Хочется иметь собственное независимое мнение, а ему из-за недостаточной воспитанности вкуса не вполне доверяешь.

Потом мы отправились в палаццо Публико на площади Кампо. Мы там много чего посмотрели, бесчисленные коварные мадонны щурили на нас свои длинные глаза[1], но я уже их слабо воспринимала, и из всего там виденного в памяти застряла только одна фреска: сиенский военачальник Гвидориччио ди Фольяно двигается на коне к замку Монтемасси... Странный фантастический, без единого дерева и от этого суровый пейзаж, на фоне моря маленькая игрушечная крепость с флажками, а слева замок, тоже игрушечный, и всего два цвета: густо-зеленый (море) и разные тона розовато-коричневого...

А затем мы уселись за столик кафе на тротуаре площади Кампо. Я увидела ее накануне и полюбила. И сейчас, отдыхая после туристских трудов, я вбирала в себя рыже-золотистый цвет домов с округленными, повторяющими изгиб площади стенами; не округлена лишь стена палаццо Публико с его узкой и высокой башней и второй башней — квадратной, приземистой, зубчатой. Дома тесно примыкают друг к другу, площадь — огромный продолговатый полукруг, и в некоторых зданиях есть присущая средневековью мрачность, затаенность какая-то...

Я только что видела Рим. Мне предстояло видеть Флоренцию и Венецию. Но про себя я уже решила, что Кампо станет одним из моих самых любимых воспоминаний, ее бу-

---

[1] «Где коварные мадонны щурят длинные глаза» (А. Блок. «Итальянские стихи»).

ду видеть, ею утешаться в горькие минуты, каких еще немало впереди... И я глядела на эти рыжие дома, на готические окна Палаццо, на маленький, с белыми стенами фонтан, но главное — стремилась удержать в памяти ощущение радости от облика и цвета площади, смешанное, однако, с печалью.

Вот так же стояли эти дома, когда тут бывал Данте, скакали всадники, ходили закутанные в плащи мужчины, пробегали женщины (их вообразить труднее, не знала, как они одевались), ну и монахи тут мелькали, спрятав в широкие рукава скрещенные руки (а не жгли ли случайно на этой площади кого-нибудь, как в Руане Жанну, как в Риме Джордано Бруно?), и шла вся эта непонятная жизнь четырнадцатого, боже мой, века, навсегда исчезнувшая жизнь, как исчезнем мы с нашими автомобилями, фото-кино- и прочими аппаратами, джинсами, электроникой, рекламами...

Мы отдыхали, мы что-то пили, мы собирались вскоре покинуть кафе и перейти в ресторан (тут же, под боком, на открытом воздухе) и там вкусно поесть, я уже забыла о нашем непрезентабельном виде, он не заботил меня, я глядела на темнеющее итальянское небо, на полосатую, отовсюду видную башню Дуомо, на эти алые дома, в сумеречном свете заметно мрачнеющие (не хотела бы я жить в средневековье!), и на прибывающих пестро и разнообразно одетых туристов (мой спутник — мне, озабоченно: «Надо в ресторан переходить, а то все займут!»), я наслаждалась жизнью.

Мы перешли в ресторан. Совсем стемнело, и внезапно зажглись фонари, сильные, типа прожекторов, фонари, и по-новому в этом вечернем наряде предстали рыжие дома, и еще ярче на фоне густо-лилового неба рисовалась снизу подсвеченная башня Дуомо...

Все столы заняты, бегают в белых куртках официанты, вокруг гул голосов, двунадесять языков, Вавилонская башня. Не молчим и мы. Отдохнув и слегка уже насытившись, затрагиваем в разговоре разнообразные темы: архитектура итальянских городов, их будущее («вечная российская оза-

боченность по поводу Пизанской башни», — прочитала я как-то в одной хорошей книге), и литературы касаемся, иногда — политики. Говорим. Нет — кричим. Я —чтобы услышал мой глуховатый собеседник, он — чтоб услышала я. У него дефекты речи: картавит, не выговаривает «л», а «ш» у него похоже на «ф». Если в ресторане или в уличном шуме он говорит не в полный голос — я не все улавливаю. Частенько спорим: оба спорщики. На этот раз наша тема — литература, и почему-то — американская. Я ловлю своего собеседника на слабом знакомстве с предметом.

— Вы забыли Сэлинджера!

— Кого?

Ору. Орем оба. Как часто в итальянских ресторанах мы забывали о нас окружающей толпе, уверенные, что языка нашего никто не понимает, ощущали себя на острове, переставали соседей видеть...

— А «Королевскую рать» вы хоть читали?

— Что?

— «Вся королевская рать»!

На этот раз я выкрикиваю название романа на родном языке его автора. И внезапно откуда-то справа мягкий мужской голос:

— Мадам говорит по-английски?

Рядом супружеская пара, пожилые американцы. Я видела, как они пришли, как усаживались, — он высокий, худой, седые усы, подтянут, при галстуке. Она значительно моложе или же просто хорошо сохранилась — чистое, гладкое, розовое лицо, увенчанное серебряными волосами. Я помнила, как она, поймав мой взгляд, слегка мне улыбнулась, американская, с молоком матери всосанная, автоматическая, приятная, пусть и обманчивая, приветливость. Но в этой улыбке была не только автоматика. Ею, улыбкой, меня, нас включали в члены своего круга, своего клана — пожилые люди путешествуют ради удовольствия, в средствах не стесняются, едят в дорогом ресторане, живут в недешевом оте-

ле,— американцы эти, как потом выяснилось, жили в том же отеле, и нас заприметили.

Поначалу я их видела, затем, увлекшись обозрением вечерней площади, затем едой, затем разговором, о соседях забыла, почти, но не совсем, изредка косилась на них, таких красивых, эдакий образец пожилых туристов, их фотоснимок на фоне палаццо Публико был бы, думается, лучшим украшением цветной рекламы известного бюро путешествий Томаса Кука...

И перед ними бутылка вина, и они что-то ели, но не орали, как мы, да и вообще больше молчали, изредка обмениваясь фразами, репликами супругов, много лет вместе проживших... Какие-то фразы эти я уловила, потому и поняла, что соседи — американцы.

Они явно скучали. И мы — я в мятом платье, мой спутник без пиджака, в испачканной рубашке, оба растрепанные, оба орущие, будто дома, а не в порядочном ресторане, — пробудили любопытство американцев. Он осведомился: что за язык? Русский. А-а. Так ему и казалось, что это какой-то из славянских... Русский. Значит? Да, я живу в Москве, а мой старый друг (жест в его сторону), он живет в Париже. Нас, конечно, приняли за мужа и жену, я догадывалась, что мое сообщение изумит американцев, но знала, что изумления они не выдадут, и не выдали, ничто не дрогнуло в их лицах, стоически хранивших приветливо-любезное выражение... В ответ сообщили о себе. Он — доктор наук, профессор, историк, вышел на пенсию, живет в Калифорнии, и вот они с женой путешествуют по Европе на автомобиле... Мы тоже на автомобиле. Они приехали вчера из Флоренции... А мы туда — завтра...

В этой завязавшейся беседе мой спутник участия не принимал: в английском языке особо не силен, а главное — глухота мешала. Лишь кивал и улыбался. Когда я указала на него («Мой старый друг»), либо услыхал, либо жест понял — слегка поклонился. На его лице тоже появилась любезная приветливость, эдакая вежливая маска, и вместо

свободно ведущего себя человека (в пылу нашего разговора он еще и вина плеснул на свою многострадальную рубашку!) против меня сидел уже кто-то иной, ну — растрепанный, ну — грязный (мало ли на свете чудаков!), но явно принадлежащий к приличному европейскому обществу.

Завтра во Флоренцию? А известно ли вам, что отели там переполнены, свободного номера не достанешь? Эти слова обращены к моему спутнику, тот приветливо кивает, но я вижу — не услышал, не понял, и громко, по-русски:

— Они говорят, что...

И им за него:

— Известно! Пытались заказать номер по телефону из Рима, но...

— Имейте в виду: и в Венеции сейчас трудно с отелями!

Ну, а еще мы болтали о прелестях Сиены и Сан-Джиминьяно... В Рим американцы не собирались: они не любят больших городов.

Беседа журчала, приятная беседа за кофе людей одного круга, состоятельных туристов, путешествующих на автомобиле...

— Верона?

— Нет еще, но мы туда собираемся...

Внезапно я увидела со стороны американцев, себя, свой голос услышала... «Флоренция»... «Венеция»... «Верона»... «В Ватикане не протолкнешься»... «Автострады»... «Отели»... Что-то хлестаковское, что-то самозванское ощутила я в своей болтовне. Почему же? А потому, что меня принимают за человека, привычного к такому образу жизни, и я словно бы этому подыгрываю... Ярко освещенная площадь, древние дома, полосатый купол в темном небе, этот ресторан, официанты, тугие, накрахмаленные скатерти (свою мы, конечно, чем-то сразу залили!), эти американцы с рекламной картинки, по-свойски беседующие со мной о пользе и трудностях автомобильных путешествий по Италии, — в этот кадр я не вписываюсь. А тем, что попала сюда, обязана чуду, или,

проще говоря,— вот этому человеку. А ведь он, в некотором роде, и сам, пожалуй, чудо!

А он, тем временем, отключенный глухотой от нашей беседы (ему, однако, постоянно улыбались, показывая, что уважают и помнят, а он улыбался в ответ), он, повторяю я, подозвав официанта, собирался расплачиваться. С этого процесса — не спускать глаз. Либо не разберет какой-нибудь цифры и переплатит (уклонялся почему-то исключительно в сторону переплаты, в обратную — никогда!), либо сдачу сунет мимо кармана... Американцы, уже расплатившиеся, заметили мою озабоченность, прощаются, уходят.

Вскоре встаем и мы.

И снова средневековые улицы, уже вечерние... А при выходе на очередную площадь — потрясшее меня зрелище: высокие и узкие черные треугольники кипарисов на фоне ярко освещенной, красной стены церкви святого Доминика, увенчанной башней. Постояли. Стараюсь запомнить, унести с собой эту стену, эту башню, кипарисы, освещение... Идем дальше, и некоторое время разыскиваем ту маленькую площадь, на которой мы оставили автомобиль.

2

> Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься.

В августе тысяча девятьсот сорок второго года я жила одна в маленькой чердачной квартире, стояла обычная влажная шанхайская жара, крыша, раскаленная за день, и ночью не остывала. На столе моем всегда раскрытая машинка. Обливаясь пóтом, я писала фельетоны и публицистические статьи в газету «Новая жизнь», созданную шанхайским

«Союзом возвращения на Родину». Несмотря на мучительную жару, на бедность, на тревогу (шла битва за Сталинград) — думаю, что была даже счастлива тогда: нашла себя, нашла выход своему публицистическому пылу, знала, кого любить, кого ненавидеть, во что верить, куда стремиться.

Стремилась я в Россию.

На этой почве мы и подружились. Как мы познакомились, где и кто познакомил нас — не помню. Помню лишь, как этот человек расхаживал по моей комнате, постоянно забывая о скошенном к окну потолке, стукался лбом, смущался, и я — раздраженно:

— Да сядьте вы наконец!

Я была его значительно моложе, но с самого начала усвоила тон старшей, что объяснялось, видимо, его застенчивостью, вежливостью, уже тогда казавшейся старомодной (шаркал ногой, здороваясь), а главное — выражением доброты, особенно ясно проступавшем на его лице, когда он снимал очки и беспомощно моргал голубыми глазами. Долговязый, в открытой, с короткими рукавами рубашке, в шортах и длинных до колен носках (обычный летний мужской костюм тех мест, того климата), он часто снимал очки, вытирая вспотевшее чело маленьким махровым полотенцем, — и это полотенце, носимое за поясом штанов, было неизменной принадлежностью летнего костюма. И что-то детское было в том, что этот человек не выговаривал ни «р», ни «л», а вместо «ш» — что-то похожее на «ф».

Он работал тогда в Сайгоне, приехал в Шанхай на два месяца, в командировку. Познакомившись со мной, разговорившись, почуял родную душу, стал приходить. Вместе слушали вечерние радиопередачи. Настежь распахнутое маленькое окно, никакой прохлады в него не вливается, зато отчетливо слышны звуки китайского музыкального инструмента, типа флейты, одни и те же постоянно повторяющиеся высокие ноты, и это — каждый вечер, я привыкла, я вроде бы и не слышу, ничего, кроме голоса из радио, не слышу,

но — жара, чердак, флейта навсегда связались в моей памяти с теми тревожными днями.

Я России не помнила, он — помнил, увезли одиннадцатилетним. Оба мы родились в том городе, о котором Ахматовой сказано: «А я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду». Мы много говорили о нем, о блокаде, всего ужаса ее вообразить не могли, да и кто, этого не переживший, мог? Россия и война были нашей главной темой. Ну, и о себе мы говорили. О том, как мы оба, отринув все, в чем росли, в чем воспитывались, дошли своим умом до понимания правильности всего того, что делается в СССР.

И было много сходного в наших судьбах, судьбах эмигрантов второго поколения, сходных, несмотря на разницу лет, на то, что он рос, учился, жил во Франции, я — в Китае.

По-французски он говорил свободно, но с акцентом, по первым словам было ясно — иностранец. Ему следовало учиться особенно хорошо, чтобы неравенство с другими сгладить, как бы засыпать эту канаву, этот ров, отделявший его от молодых французов, живущих в собственной стране, — уже этим они были лучше него. Учился он блестяще, и были способности к профессии, еще с детства им выбранной, и все же стоило что-то не так сказать, позволить себе чем-то возмутиться, как в ответ немедленно: «Если вам у нас не нравится, почему вы не едете к себе?» Это произносилось ехидно-торжествующе — знали ведь, что ему оставалось только промолчать.

— И клянусь вам, отсюда вся моя застенчивость, которую я прекрасно сознаю, но с которой ничего не могу поделать! Когда вечно ощущаешь себя виноватым...

Волнуясь, он начинал ходить по комнате, стукался о косяк, снимал очки, моргал, тер лоб, и я — ему: «Сядьте вы наконец!»

Мне слышать слов «если вам у нас не нравится» — не приходилось, их могли сказать только китайцы, но не в их школах я училась и работала не у них. Однако ощущение

неполноценности, неравенства с другими, живущими в Китае, иностранцами присутствовало всегда. А от них приходилось слышать иные слова: «белые второго сорта...», «люди без национальности!»

— Да, да, апатъиды! — подхватывал мой картавящий собеседник.

О, как хорошо из-за сходности наших судеб мы тогда понимали друг друга!

Но он любил Францию, был ей всем обязан, видел в ней вторую отчизну...

— Если б случилось так, что Россия воевала бы сейчас не против немцев, а против французов, мне бы оставалось одно: застрелиться!

А я себя и не спрашивала никогда, какие чувства испытываю к стране, в которой выросла. Харбин и Шанхай были городами особыми, китайцы там жили своей жизнью, от нас отделившись...

И были минуты, когда нам казалось, что мы готовы ринуться в Россию немедленно, выехать завтра, лишь бы туда пустили! Там трудно, но ничто не страшно, когда ты у себя, среди своих, делишь их судьбу, и никто не бросит тебе в лицо: «саль этранже!»

Осуждали родителей: зачем уехали, зачем нас увезли? Он родителей своих глубоко почитал, нежно любил (оба живы, оба в Париже) и говорил с ему часто свойственной извинительной интонацией: «В то время они просто не понимали...»

И до чего мы с ним были уверены, что сами все хорошо поняли и продолжаем понимать!

Расстались мы в первых числах октября: командировка кончилась, он вернулся в Индокитай. А вновь встретились спустя два десятилетия и тоже в октябре: Париж. Год 1965.

Встречи после длительной разлуки всегда поначалу пугают: глядя на другого, ясно понимаешь, до чего ж изме-

нился и сам, и сразу, с ходу начинаешь утешительную работу («Да не так уж... Я б вас сразу узнала!»), ожидая и получая подобные же утешения от него...

За те пятнадцать лет, что и с той поры миновали, долгих перерывов в наших встречах не случалось — я ездила за границу к сестре, он и жена его туристами приезжали в СССР, — и в дальнейшем старели мы уже почти на глазах друг у друга, а значит, постепенно, не так заметно...

Это только тогда, в 1965 году, я заметила в нем ощутимую перемену, а он, конечно, во мне... Был он поджарым, загорелым, молодо-быстрым в движениях, летняя вольная одежда субтропического климата выглядела на нем не только уместно, но и шла ему, и еще молодила... Погрузнел. Поседел. Побледнел — от загара и следа не осталось. Облачен в строгий костюм с жилетом, при галстуке — вид благополучного европейского джентльмена. А за стеклами очков — прежние добрые голубые глаза.

Европеец. Вот только неясно: какой национальности? Его французский язык выдавал нефранцуза. По-русски изъяснялся по-прежнему свободно, без акцента, но что-то не устраивало меня, с чем-то не соглашалось мое ухо. Прежде я над его русским языком не задумывалась: говорит нормально, говорит, как все мы... А тогда — задумалась. И поняла, что я, прожив уже столько лет в своем отечестве, теперь иначе слышу, иначе воспринимаю речь эмигрантов, у некоторых из них вполне правильную, — и все же неживую, застывшую, законсервированную. Позже, впрочем, в его речи уже и неправильности появились, и галлицизмы: родители умерли, жена — француженка, по-русски говорить месяцами не приходилось...

Уже тогда, во время нашей первой встречи в Париже, я видела, что моему старому другу удалось пронести сквозь годы нетронутым восторженное отношение к Советскому Союзу, ничем не поколебленную уверенность: все, что делалось, все, что делается, — все правильно, все на благо! Ведь какой рывок сделала страна! Из отсталой, аграрной — мощ-

ная индустриальная держава. Очень гордился. Своей принадлежностью к русской нации гордился.

Тогда же, во второй половине шестидесятых годов, впервые, после детства, приехал в Россию вместе с женой, остановились в отеле «Берлин», и очень пришлась ему по вкусу эта старая гостиница с расточительным простором ее комнат, мебелью прошлого века, убранством — лампа в виде обнаженной бронзовой девы со светильником в руке... «Берлин» стал излюбленной гостиницей, там, приезжая, и жил всегда, лишь раз попал в «Интурист» — остался недоволен. Да, вполне комфортабельно, да, все, что необходимо, — налицо, но учтен каждый сантиметр, никаких излишеств, скучный прагматизм двадцатого века, ведь от излишеств, от необязательного и получаешь радость, а без этого — скука, скука... Он вообще терпеть не мог современных коробочных зданий и в Париже живет в старом доме, в старом квартале.

А в вечер своего первого приезда позвонил мне из отеля:

— У нас в ванной из крана идет горячая вода!

Таким радостным голосом сообщают друзьям о выигрыше в лотерею, и я не сразу усвоила, о чем речь, а усвоив, сказала:

— Разве вы готовились с ведром к колодцу ходить?

Назавтра новый телефонный звонок, чуть не в полночь... В тот день я наотрез отказалась идти с ним и женой его в кино: фильм, экранизация знаменитого романа прошлого века, я видела, он мне резко не понравился, смотреть его вторично не собиралась... Но мой старый друг был от фильма в восторге. Жена — тоже. Да, да, она все поняла, она же читала роман!

Как мне попало в тот вечер! Как ругали меня за то, что я ругала фильм, утверждали, что я его просто не поняла. Они вот поняли, а я — нет. Трудно было не вспылить от этих слов, я и вспылила, отругивалась, а потом, положив трубку, пожалела о своей несдержанности.

Разве я сама не была такой же? Разве, живя в Шанхае,

не восхищалась любым, повторяю — любым! — советским фильмом, только за то, видимо, что на экране русские пейзажи, а с экрана — русская речь. Быстро забываешь себя, ту, какой была когда-то! Быть может, я и горячей воде тоже бы изумилась, хотя верила в мощную индустриальную державу, как смутно мы всё себе представляли, какой загадкой была для нас эта заочно любимая страна, о, эмигрантское, за рубежом выросшее племя, я сама к нему принадлежала, но забыла, все забыла, и ОНИ — из того племени — уже и смешат и раздражают...

Уже не вспомнить, сколько раз после того первого посещения СССР мой старый друг сюда приезжал — групповой туризм не любил, средства позволяли ездить в порядке туризма индивидуального... В Москве — отель «Берлин», в Ленинграде — «Астория» или «Европейская», каждый приезд открывал ему еще какие-то новые, светлые стороны нашей жизни, этими открытиями он делился со мной вечерами за рюмкой хорошей водки в прекрасном номере «Берлина» («Зачем идти в ресторан? Нам все принесут сюда!»), нам все и приносили, включая зернистую икру в таком количестве, что ее хотелось есть ложками, а мой друг радостно замечал:

— Как у вас все дешево!

За окном декабрь, снега и вьюги, в номере уютно, горит светильник в руке бронзовой девы, мой друг — задумчиво:

— В Париже сейчас дождь, слякоть, сырость... Какой у вас здоровый климат! И никакие морозы не страшны, раз в домах так тепло!

Войдя впервые в мою квартиру, он сразу кинулся ощупывать батареи центрального отопления и восхитился — горячи! — затем взглянул на пол и снова восхитился — прекрасный паркет, у нас бы он стоил бешеные деньги!

В один из его зимних приездов мои близкие друзья, постоянно живущие за городом, пригласили его с женой и

меня встречать Новый год. Мы там ночевали, а на следующее утро только и было разговоров, что — о белочке. Белочка, сидевшая на выступе за окном, белочка на фоне стволов берез и кустов, покрытых снегом, вот что увидели, проснувшись, парижане... Лет семь прошло с того деревенского утра, но оно не забыто, о нем рассказано всем знакомым французам в Париже (воображаю их снисходительно-вежливые улыбки!), о нем, об этом зимнем утре, я и недавно слышала во время нашего путешествия... Мы стояли на одном из флорентийских мостов, любуясь розовой от заката рекой Арно, аркой другого, дальнего моста, и я не знаю, какие ассоциации пробудили в голове моего друга белочку, почему он внезапно сказал:

— Никогда не забуду, как я проснулся и увидел белку за окном!

А в тот новогодний день в деревне я повела гостей гулять. По европейской привычке мой старый друг отправился на прогулку с непокрытой головой, нас не слушал, уверял, что на дворе тепло, день и в самом деле был тихий, мягкий, но как только мы вышли на открытое место — заснеженное поле, справа вдали темнела деревенька, на горизонте синяя полоска леса, — откуда-то взялся ветер, вздыбил седые волосы моего друга, жена и я заставили его надеть на голову кашне (сдался, надел, повязал у подбородка наподобие бабьего платка), и мы вновь двинулись вдоль опушки. Мы с женой его перекидывались какими-то фразами, он шел следом, от нас отдельно, шел молча, и я, изредка оборачиваясь, видела растроганное выражение его лица... До сегодня стоит у меня перед глазами эта длинная фигура с бабьим платком на голове на фоне снежного поля, дальнего леса, зимнего неба.

Нет, он хвалил не все подряд. Он замечал у нас кое-какие недостатки и очень хорошо знал, что надо делать для их устранения. Настолько все прекрасно понимал, что вот даже и советовал («у вас...», «стоит вам...»); и уж кому-кому, а не мне на это раздражаться, разве я сама не была

такой же? Едва успев сюда приехать, ничего толком не поняв, бралась судить, бралась учить. И все же раздражалась.

Он ухитрился законсервировать, пронести нетронутым сквозь десятилетия и свое восхищение Сталиным. Нет, нет, он не закрывал глаза на его отдельные ошибки, на то, что во времена его правления были нарушения законности и безвинно страдали люди, — но ведь это Россия! Благодаря мягкости, доброте, великодушию русского характера люди ухитрялись и в лагерях как-то существовать и — выживать, ну, одним словом... Тут мой друг, примирительно мне улыбаясь, ищет подходящее русское выражение, не находит и произносит: «он с'арранж!»

Вот это «он с'арранж» (как-то устраивались), сказанное, помнится, за чашкой послеобеденного кофе, за коньячком, налитым на дно широких внизу и сужающихся кверху бокалов, поставленных на низкий столик, а мы сидим в удобных, мягких креслах, это «с'арранж» произвело на меня сильное впечатление... В присутствии жены его (разговор происходил у них дома, в Париже) мы говорили на ее родном языке, иногда срывались на русский, сорвались и тут, и ей, естественно, невдомек было, почему единственные понятные слова «он с'арранж!» вызвали у меня такую бурную реакцию... А он улыбается своей доброй улыбкой, пытается превратить все в шутку (что меня сердит еще больше), жена требует объяснений, я беру себя в руки (с трудом!), молчу, пока он излагает ей предмет беседы, она вникла, кивает и мне — примирительно: «Что ж вы рассердились? Ведь он такой патриот!»

...Он не был доволен своей жизнью, своей, казалось бы, блестяще удавшейся жизнью: репутация фирмы на высоте, заказы сыпались со всех сторон, фирма богатела, вместе с ней богател и он, много путешествовал, а последние годы вместе с женой проводил летние месяцы в Греции, на Корфу: уединенное бунгало, морские прогулки на собственной моторной лодке. Вечерами читали русскую классику. Я не

раз слышала: «Тем летом мы с женой взялись за «Братьев Карамазовых». «Брались» они так: он читал по-русски, она этот же роман во французском переводе. Или: «Начали перечитывать «Анну Каренину»...

Жена моего друга вполне разделяла его критическое отношение к обществу потребления, к уродствам и несправедливостям, им порожденным. Оба, и муж и жена, считали бестактным жаловаться на неудобства, причиняемые разнообразными и многочисленными забастовками, а над теми, кто жаловался, посмеивались не без высокомерия: буржуа, эгоисты, обыватели, только о своих удобствах и думают, а до других им дела нет!

И с работой, значит, все клеилось, и дома единомыслие, и обеспеченность. А он роптал. Сколько горьких слов я слышала от него за эти годы: «Я не человек. Я машина для зарабатывания денег!», «Да, я свое дело люблю, и все-таки работа для меня наркотик, чтобы не думать, не спрашивать себя постоянно: к чему все это? Зачем я жил? Зачем живу?»

Как он старался, этот человек, расцветить, украсить каждое мое пребывание за границей! Меня возили в замки Луары, катали по Нормандии и Бретани, водили в лучшие рестораны Парижа, развлекали, не жалея ни времени, ни денег, и это стремление всячески меня порадовать я объясняла не только тем, нас связавшим, воспоминанием о шанхайских днях (жара, чердак, флейта, голос радио, наша молодость, наша тревога), но и тем, что я — отсюда. Из страны, куда и он хотел вернуться, но не смог, а я вернулась и прижилась.

И никак он не мог примирться с тем, что я не бывала в Италии. Желание показать мне Италию превратилось у него в навязчивую идею, последние два-три года, видя меня, только об Италии и твердил, казалось уже, что для него мое свидание с Италией куда важнее, чем для меня самой.

И вот — свершилось. Я лечу в Рим.

3

> Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, думал я, зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама». ...Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? что изображу? Панораму, Перспективу?

Где-то я читала: первую половину дороги путник еще полон мыслями об оставленном, а затем, со второй половины, переключается на размышления о том, что ждет его на новом месте.

Всласть предаваться этим размышлениям хорошо было тем, кто путешествовал на лошадях. Железная дорога время для размышлений сильно сократила, однако все же удержала постепенность перехода от одного к другому: менялся пейзаж за окном вагона, менялся климат, человек мог привыкнуть к мысли, что он — уехал, что впереди все новое.

А самолет? Летишь над облаками, которые одинаковы, что над Россией, что над Францией, это стюардесса внезапно объявляет, что там, внизу, проносится сейчас Копенгаген. очень может быть, но тебе от этого ни тепло, ни холодно. Много там всего невидимого проносится, пока ты сидишь в кресле, читаешь, ешь, дремлешь, снова читаешь, а за круглым окошком уже и облаков нет, черная тьма, и внезапно табло: «Пристегните ремни, курить запрещается!» И вскоре что-то начинает происходить, что-то меняется в твоем покойном пребывании в кресле, возникают ощущения, похожие на качельные, это длится, это длится, это длится, и наконец толчок — земля. Приехали.

Куда? Стюардесса утверждает, что в Рим.

Аэропорт, паспортный контроль, конвейер с проползающими чемоданами, выхватываешь свой, кладешь на каталку, ка-

тишь к выходу, таможенный контроль, а кто мне поручится, что это именно Рим, все точно такое же, как во всех международных аэропортах, вокруг англо-франко-немецкий говор, и японские слова доносятся, а итальянских не больше, чем других, катишь свою каталку, и вот ты уже снаружи, под небом Италии, это ты сама себе внушаешь, что под небом Италии...

В группе встречающих седая голова, очки, очень приятно, что он здесь, очень трогательно, но зачем? В течение августа раз пять звонил мне с острова Корфу (ночью телефон: «вызывает Греция!»), обо всем условились, в аэропорту я беру такси, еду в отель «Рафаэль», площадь Навона, знаменитая площадь, каждая римская собака ее знает, и лиры у меня есть, и с шофером объяснилась бы... Вот я, вместо приветствия, и спрашиваю его: зачем он сюда явился? Вразумительного ответа не получаю, да и не жду его, не до того: он пытается снять с каталки мой чемодан, я не даю (после двух инфарктов чемоданов не таскают!), оба уже начинаем сердиться, к счастью, рядом возникает некто смуглый и чернокудрый, носильщик? Нет, таксист, согласный заняться чемоданом, прекрасно!

Ну — едем. По улицам Рима. Вот именно: по улицам Рима. Бегут высокие темные деревья южных очертаний (кипарисы?), затем мосты, дома, ярко освещенные улицы огромного города, сколько же здесь автомобилей, а, между прочим, это Рим, Рим, но неловко прилипать к окну, отвернувшись от собеседника, едем, говорим о том о сем (хорошо ли мне летелось, холодно ли в Москве), ладно, потом все разгляжу, душит и шерстит воротник свитера, хочется снять куртку (в Москве в день моего отъезда было холодно!), а тут, оказывается, жарко, и очень! Сколько? Двадцать семь градусов. Однако! Ну да, юг. Попади я сейчас, скажем, в Ереван, было бы то же самое. Но я не в Ереване. Я — в Риме. Еще немного, и я, быть может, привыкну к этой мысли.

Наутро, проснувшись в гостиничном номере, сразу кинулась к окну, отдернула занавески — никакого прекрасного вида взору моему не представилось. Напротив серый каменный

дом (отель стоит не на площади Навона, а на узкой улице за площадью), мрачный, высокий дом, слепые, закрытые ставнями окна, спят там, что ли, ведь всего семь утра. Впрочем, за четыре дня пребывания в отеле я так и не увидела открытого окна в этом таинственном доме. Ни стиля его, ни возраста определить не могу, но по этим небольшим асимметрично расположенных окнам понимаю, что он очень стар, этот угрюмый дом. Какая-то надпись по-латыни высечена на его серой и гладкой стене. Полагаю, это что-то католическое, религиозно-нравственное, живущих в доме (а заодно и прохожих) благословляющее, а быть может — предостерегающее... Окно мое на третьем этаже, я смотрю вниз, я вижу веселый пестрый тент над входной дверью, зелень плюща (им сплошь покрыта стена отеля) и лакированные цветные крыши автомобилей, стоящих у подъезда, и уже мелькают прохожие, одетые по-летнему, по-современному, а день сегодня снова жаркий, я — в Риме!

Но это все еще нуждалось в подтверждениях. Значит, так: умыться, одеться и бежать на площадь Навона. Эта овальная площадь находится посреди квартала «палаццо, церквей барокко и светящейся тонкой улыбкой римской народной жизни» (вычитано у Муратова). «Три обильных водой фонтана, движение из статуй в светящихся сумерках, архитектурная игра фасада Сант-Аньезе и горячий рыжий цвет окружающих площадь домов — таково здесь никогда не забываемое видение Рима».

Эту прекраснейшую из всех прекрасных площадей Рима я уже видела накануне поздно вечером: мой друг и его жена тут же, едва я успела сменить осеннюю одежду на летнюю, повели меня на площадь, и там мы часа полтора просидели за столиком кафе. Так что площадь я видела. Но и не видела.

Ни фонтанов я толком не видела, ни фасада церкви Сант-Аньезе, не говоря уже об «архитектурной игре» этого фасада, а «тонкой улыбки римской народной жизни» тем более не ощутила. Жизнь на площади кипела, била ключом, но не римская, не народная, а исключительно туристская: плотная,

почти непроницаемая движущаяся стена людей, все от глаз заслоняющая... У домов, окаймляющих площадь, вынесенные на тротуары столики кафе и ресторанов, тротуары едва проходимы, а узкая полоса, отделяющая их от самой площади, тоже едва проходима: там упорно, настойчиво, преодолевая препятствия в лице постоянно перебегающих эту полосу пешеходов, ползут автомобили... Ну, а весь овал Навоны заполнен гуляющими. Люди, люди, люди, на каменных скамьях сидящие, на месте топчущиеся, фотографирующие, курящие, хохочущие, говорящие: джинсы, юбки длинные и колоколообразные, юбки прямые и узкие, на некоторых женщинах лихие шаровары запорожского вида из легких цветных материй, пестрота мужских рубашек и маек с рисунками, с надписями, волосы до плеч, дремучие бороды — глаза разбегаются, в голове туман, где уж тут рассмотреть фонтаны! Пьем что-то прохладное, жуем сандвичи, жена моего друга и я пытаемся общаться, выкрикивая реплики такого примерно рода:

— Это всегда тут такие толпы?

— Туристский сезон! Он еще не кончился!

— А когда кончается?

— Не слышу!

— А когда...

Беспомощно улыбаемся, нет, говорить невозможно, шум, смех, гудки автомобилей, и вот еще — звуки скрипки. Старик скрипач ухитряется не только ходить между столиками, но еще и играть, ах, Италия, страна музыки, удивительно, что тут еще никто не поет хорошо поставленным лирическим тенором, надо же, я в Италии, в Риме, на площади Навона! Приходится время от времени себе это повторять, ведь всего несколько часов назад я ехала в автомобиле по Ленинградскому шоссе, было пасмурно, дождливо, серо, уныло, и в тот же день, в тот же вечер раскинулась передо мной эта кинопанорама, ослепительная и оглушительная...

Люди за столиками пьют, едят, смеются, звуки скрипки, а что-то я не вижу, чтобы ему деньги давали, бедный старик, от хорошей жизни не заиграешь, и никто головы в его сто-

рону не повернет, и уж конечно мне вспоминается «Люцерн» Толстого, и тут же я вижу, как старик прерывает игру, кланяется, сует в карман пиджака протянутый банкнот и вот уже снова прижимает подбородком скрипку, снова играет, на этот раз в знак признательности непосредственно над нашими головами, ибо кто ему протянул этот банкнот, эти тысячи лир?[1] Мой старый друг, разумеется! Он этим смущен, почему-то, поймав мой взгляд, бормочет по-русски, я едва слышу, но по движению губ догадываюсь: «Не могу видеть, когда старые люди...»

Киваю. Поняла. Согласна. Я тоже не могу видеть. Мы с ним, значит, оба не можем видеть. Остальные могут, а мы — нет. Потому что мы русские.

А боже мой! Стоит мне очутиться за границей, как сразу откуда-то вылезает глупый шовинизм. Что это? Остаточные явления эмигрантской молодости? А, впрочем, Достоевский в своих «Зимних заметках...» утверждает, что русскому человеку чрезвычайно приятно заметить в иностранцах какие-то не слишком их украшающие черты. «Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас,— говорит Достоевский и добавляет: — О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев, и что я так именно думаю».

Боже сохрани! И я так не думаю!

Итак, на следующее утро я решила пойти на площадь Навона.

Восьмой час утра, на площади никого! И унесены с тротуаров столы и стулья, впрочем, вот в этом кафе какое-то шевеление, выносят и ставят под ярко-красный тент столики, ждут туристов, вот-вот они явятся пить кофе. Это прекрасно, что их нет. Их нет, но они были. Пустые смятые стаканчики из-под мороженого, пустые растоптанные пачки сигарет, клочки бумаги оберточной и газетной, забытый детский мячик, обрывки веревок, мусор, мусор, урн тут нет, что ли,

---

[1] Десять тысяч лир равняется примерно восьми рублям.

нет — есть, но мало, да на эти толпы не напасешься, а, впрочем, толпам лень и не с руки кидать мусор в урны, кидают куда попало, и это до сих пор почему-то не убрано, а может, тут вообще не убирают?

Не мое дело. Гляди. Вот он перед тобой, этот овал площади, залитый утренним солнцем, окруженный рыжими и желтыми домами, вот они, знаменитые фонтаны, иду к фонтану «Четырех рек», белые статуи бородатых мужчин, аллегорические фигуры Ганга, Нила, Дуная и еще какой-то реки, барокко, семнадцатый век, автор Борромини. Чудесный фонтан, величественный фонтан, но, боже мой, и тут в его голубой воде плавают размокшие рыжие окурки, пустые сигаретные пачки... На это смотреть не будем.

Муратов советовал любоваться причудливым фасадом церкви Сант-Аньезе в сумерках, ничего, полюбуюсь утром, в сумерках туда не пробьешься, итак — гляди, запоминай, нравится? Сама не знаю. Знаю лишь, что ДОЛЖНО нравиться. А вот площадь определенно очень нравится, рада, что догадалась прийти сюда, когда ничто не мешает ее видеть, мусор мешает, чепуха, надо просто приказать себе его не замечать...

В девять утра, как было условлено, мы встретились все трое на крыше отеля «Рафаэль», куда нам принесли кофе. Как прекрасна эта плоская крыша-терраса, какой вид на Рим с нее открывается! Недаром в цветных рекламных книжках, разложенных внизу на столиках холла, вид с этой террасы занимает главное место, им заманивают путешественников. Но путешественники либо пьют кофе в своих комнатах, либо уже разбежались, на крыше, кроме нас, никого, и это тоже прекрасно. Всего три стола, над ними огромные зонты, коскак спасающие от уже пробравшегося сюда солнца, шезлонги, плетеные кресла и нечто вроде качелей — натянутый под тентом брезент на веревках и брезентовая же спинка, хорошо тут сидеть вечером, когда солнце уже ушло, но еще не стемнело, и смотреть, смотреть, смотреть...

Черепичные розовые крыши старых домов, зеленые ставни, балкончики с горшками цветов, и колокольни, и купола

церквей, и далеко, в голубой дымке силуэт собора святого Петра (я узнала его, чему рада), другие храмы незнакомы, мне их называют, а рядом монастырь так близко, что можно заглянуть в его двор, а на горизонте полоса зелени, над ней небо без единого облачка, и мне вспоминается: «Под небом голубым страны своей родной...» Хочется произнести это вслух — не произношу, чужой язык для жены моего друга, он же станет спрашивать, что это, откуда, и очень удивится, узнав, что — Пушкин. Скажет: «Странно. Почему ж я не помню?»

Ему, бедненькому, кажется, что он хорошо знает русскую литературу. Но какой же он «бедненький»? Сидит, пьет кофе, любуется этим, давно знакомым ему, зрелищем, но видит его сейчас свежими, моими глазами и этому рад бесконечно, какое счастливое лицо, очень понимаю, сама всегда радуюсь, когда могу поделиться с друзьями тем, что люблю и чем восхищаюсь.

Далее он собирается делиться со мной Ватиканом, Сикстинской капеллой, собором святого Петра. Туда мы отправляемся вдвоем: жена моего друга заявила, что слишком жарко, она лучше посидит и почитает где-нибудь в тени.

Это благоразумное решение я оценила несколько позже, когда мы с ее мужем двигались по галереям Ватикана, в такой толпе, что мне вдруг вспомнились подземные переходы нашего метро в часы пик, и я сама удивилась этому неуместному, этому святотатственному сравнению.

Слева немцы, справа американцы, сзади увешанные фотоаппаратами японцы, дети разных народов теснят со всех сторон, я убыстряю шаг, пытаясь оторваться от наступающего сзади японца, чей фотоаппарат ритмично бьет меня по спине. В нишах белые скульптурные фигуры и бюсты, надо ли их разглядывать, мой друг говорит, что не надо, движемся дальше. В одной из галерей посчастливилось идти вдоль стены с настежь распахнутыми окнами, выходившими в папские сады. Боже, что за сады! Тишиной и прохладой дышат зеле-

ные лужайки, великолепны деревья, вековые и мудрые, чего только не повидавшие пинии, сосны, кипарисы, оливы, журчат фонтаны, порхают птицы райского обличья, и — ни единого человека! В сады эти, конечно, не пускают, воображаю, во что бы превратили туристы дивные бархатные лужайки! Ах, туда бы! В тень, в зелень, в прохладу! «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад па старость лет...»

Да что это со мной? Я в Ватикане! В Ватикане, где стены, потолки, полы, да все, все — произведения искусства, это надо видеть, а не в окна глазеть, не к покою стремиться. Ведь мы только что начали наши туристские труды, мы еще Сикстинской капеллы не видели, туда и идем, ее и ищем... Мой друг, тут не раз бывавший, знал, как туда пройти, двигался уверенно, но вот неожиданное препятствие, этот проход почему-то сегодня закрыт, о чем нам сообщает служащий Ватикана и растолковывает, как попасть в капеллу другим ходом,— вот я впервые слышу, как итальянец объясняет дорогу («дестра, синистра...»), а сколько еще раз за время нашего путешествия мне предстоит эти слова слышать, мы вечно попадали не туда, вечно что-то искали, то музей, то отель, то выезд из города на автостраду.

Идем в указанном направлении. Мой спутник раздражен, беспрерывно что-то бормочет, я не вслушиваюсь, однако улавливаю, что гнев его направлен против тех, кто внезапно закрывает привычные проходы и переходы. «Безобразие!»... «Совершенно не считаются с людьми!»

Ну, попали наконец! Каждый, войдя, ищет местечко, куда ноги поставить, чтобы не особо налегать плечом на соседа и чтобы на тебя не сильно налегали, и, кое-как устроившись, сразу задирает голову: всем известно, па что следует смотреть, попав в капеллу. Потолок, расписанный Микеланджело,— вот оно, главное чудо Высокого Возрождения! Каприз и жестокость папы Юлия II придумали для художника это немыслимое задание, а Микеланджело его не только выполнил, но, выражаясь по-современному, перевыполнил. Труд гения, совершенный в невероятных условиях.

Смотрим, вытянув шеи, закинув головы. Не раз видела «Страшный суд» в репродукциях, теперь сподобилась увидеть оригинал.

— Взгляните на Христа и мадонну,— говорит мой спутник,— а теперь глядите па старика справа, видите, какое движение у этой фигуры, а теперь...

Смотрю. Гляжу. Начинаю видеть. Затекла шея.

Она, шея, затем отдыхает, когда мы, с трудом передвигаясь в толпе, разглядываем настенные фрески. Из них запомнилась и посейчас перед глазами «Вручение ключей апостолу Петру», все остальное слилось в голове, размылось в памяти.

Тяжело сознаться в этом, но я не знаю: заходили мы внутрь собора святого Петра или не заходили? Если заходили, то как бы и нет, ибо я и под пытками не смогла бы рассказать, что именно я там видела. Помню величественную площадь перед собором с колоннадами и фонтанами, пеструю толпу на залитых солнцем ступеньках собора и как мы сидели, отдыхая в тени, на каком-то каменном выступе рядом с вежливо потеснившимися старыми американками, а вот внутренность собора не помню. Нет, конечно, мы там и не были; по-видимому, собор был закрыт в тот день...

Пытаемся поймать такси, чтобы вернуться в отель. Своей машиной мой друг в городе не пользовался: водить машину по улицам Рима — каторжный труд. Поймать такси нам долго не удается. Не мы одни топчемся на адски раскаленной, открытой солнцу площади, подъезжающие желтые автомобили-такси выхватывают из-под носа другие, а мы оба — растяпы. Он вежлив и застенчив, перед наступающими тут же отступает, я же не сразу оценила обстановку, не сразу усвоила, что никакой очереди не соблюдается, требуются напор и ловкость. Усвоив, проявляю и то, и другое, и мы едем наконец. Блаженно откинулись, отираем пот, и я хвастаюсь, что у нас такого быть не может, люди у нас дисциплинированные, очередность уважают, и светлая улыбка озаряет лицо моего спутника, он так хочет верить в преимущества нашего обра-

за жизни, так рад любой мелочи, эту веру поддерживающую. Впереди его ждала еще одна радость.

Шофер такси нами живо заинтересовался, раза два, подвергая опасности свою и наши жизни, оборачивался на нас посмотреть. У подъезда отеля, у стены его, сплошь закрытой зеленым плющом, шофер остановил машину и тут уж повернулся к нам всем корпусом.

— Ру́ссо?

Мы подтвердили эту догадку, и наш шофер, римлянин средних лет, заулыбался так нежно, так приветливо, будто мы были его потерянными и вновь обретенными родственниками. Протянутые ему лиры отверг гордым движением ладони (дескать, не обижайте его, со своих не берет!) и с некоторым усилием, раздельно произнес:

— То-ва-рич!

Как был счастлив мой друг! Он сделал еще попытку сунуть шоферу деньги, тот их вновь отверг, на этот раз улыбаясь, улыбался и мой спутник, казалось, еще минута — и они обнимут друг друга!

Так мы и вышли, не заплатив. И еще махали вслед отъезжающему шоферу, а он, оглядываясь, махал нам, чудом избегая столкновения со встречным транспортом.

Эта история была немедленно рассказана моим другом его жене, нас поджидавшей, неоднократно упоминалась в последующие дни («а помните этого милого шофера?») и, полагаю, до сих пор рассказывается в Париже.

Позже, в этот же день, уже втроем, мы отправились на площадь Венеции, оттуда спустились на площадь Испании по знаменитой беломраморной лестнице, не без труда спустились — на каждой ступеньке кто-то сидит, на некоторых полулежат — бороды, джинсы, расписные рубахи, шаровары, юбки колоколом... Добравшись до нижней площади, постояли перед фонтаном, а затем углубились в сеть старинных улиц.

А тут, между прочим, где-то жил Гоголь. Не выяснила перед отъездом, где именно, а здесь у кого выяснять? На некоторых улицах запрещено движение транспорта, и можно бы-

ло, не толкаясь на тротуаре, без опаски идти по мостовой. Иногда мы вступали в зону магазинов с роскошными витринами (одежда, обувь, драгоценности, изделия из кожи), по самой большой роскошью этих мест были — дворы. Время от времени мы заглядывали в эти чудесные дворы и видели в их глубине дома еще более старые, чем те, которые выходили на улицу, а в одном дворе посидели на скамье перед маленьким фонтаном. Сколько же фонтанов, какое обилие воды в этом городе! Фонтанами, зеленью плюща, покрывавшего старые стены, зеленью деревьев и кустов, тишиной, отсутствием туристов были прекрасны римские дворы, но главное, думаю, тем, что, отрешившись от роскошных витрин и толп на тротуарах, путник получал возможность хоть как-то прикоснуться к Риму, к старому Риму, к Вечному городу.

Вечером мы ужинали на маленькой площади перед церковью святого Игнатия. Прелесть этой площади пронзила меня. На ней, совсем небольшой и круглой, не было ни единого случайного здания, всё — единый ансамбль, все вместе — произведение искусства, каждый из домов, окружавших площадь, был обращен к церковному барочному фасаду, выдержанными в том же стиле характерными окнами и балконными решетками, и, если бы не грузовик, торчавший какое-то время перед глазами, и изредка промелькивающие автомобили, можно было бы вообразить, что мы в Риме семнадцатого века.

Но грузовик, к нашему удовольствию, вскоре площадь покинул, автомобили мелькали редко, и не было тут туристских толп, уж не знаю, почему они сюда не добрались в тот вечер. Вокруг нас, за вынесенными на тротуар столиками, звучала только итальянская речь, и это придавало очарование площади. Сгущались сумерки, в некоторых из характерных барочных окон зажигался свет, кто-то, значит, живет в этих произведениях искусства, а церковь величественна и темна, да и сама площадь темна, ее освещает лишь сноп света, падающий из нашего ресторана. Мы ели спагетти, мы пили белое вино, неторопливо беседовали, мир и согласие царили за на-

шим столиком; внимание мое, пока еще не окончательно стемнело, обращали еще на это окно, еще на ту решетку, я всем искренне восхищалась, слов восхищения не жалела, и мой друг — мне:

— Как я счастлив! Право, я бы вам не простил, если б вы не оценили этой площади!

Он был счастлив. Жена его была счастлива тем, что он счастлив. Я была счастлива красотой площади, тем, что я в Риме, чувство благодарности к моему другу и его жене переполняло меня, ну, короче говоря, это не вечер был, а майский день, именины сердца!

До отеля решили дойти пешком, благо он недалеко, старинные узкие улицы были почти пустынны и темноваты, не верилось, что через несколько минут на нас обрушится свет и гам площади Навона. Двигались неторопливо, иногда останавливались, внимание мое вновь обращали то на дом, то на окно, и еще встретился на нашем пути чудесный маленький фонтан: маска, а под ней круглая чаша были прилеплены к стене старого дома, из уст маски била струя воды...

Говорят, надо время, чтобы проникнуться чувством Рима, а мне в тот вечер казалось, что я уже этим чувством проникаюсь, как все было хорошо, как прекрасно... И внезапно откуда-то все нарастающий грохот, яркий свет фары, как дьявольский глаз, ударил в лицо, ослепил... Мотоциклист, будь он проклят! И как мчится! «Кель аллюр!» — негодующе воскликнула жена моего друга, я же своего негодования выразить вслух не успела — от мощного толчка в плечо рухнула на тротуар. Грохот проклятого мотоциклиста удалялся, затихал, сбил человека и скрылся, ну, а вдруг человек убит, или смертельно ранен, или... Человек убит не был и даже с помощью протянутых дружеских рук мог встать. Сочувственные возгласы, расспросы. Успокаиваю: все слава богу, руки-ноги целы, ну, ушибла плечо, ушибла колено, пустяки. А сумка? Что сумка? Здесь моя сумка!

Я-то думала, что меня просто сбили с ног, проносясь мимо, оказывается, была сделана попытка сорвать с моего плеча

сумку. Ремешок, на котором она висела, я, вполне бессознательно, сжимала у бедра ладонью, поэтому попытка не удалась, сумка осталась при мне.

Мне сообщили, что срывание мотоциклистами на ходу сумок у зазевавшихся дам — явление, нынче распространенное в Западной Европе. Как был расстроен мой друг! Он во всем винил себя, ибо забыл, забыл меня предупредить! «Я ведь еще в Корфу тебе напоминала, чтобы ты написал!» — говорила жена, тоже очень расстроенная... Я прихрамывала, болело колено, меня вели под руки и огорчались, что поблизости ни одного такси. Я твердила, что прекрасно дойду, к чему такси, и вообще будем считать, что мне повезло, ногу не сломала, сумка цела. Друг мой, однако, был безутешен. Его вина! Простодушные и доверчивые обитатели страны, где подобные вещи невозможны, должны заранее знать, что их ожидает в джунглях общества потребления с его аморальностью и преступностью...

— Почему же невозможны? И у нас воруют, а случается, и грабят!

Мне ответили, перейдя на русский язык, что в нашей стране уничтожены причины, порождающие преступность, а поэтому ее у нас становится все меньше.

— Это откуда же вам все так хорошо о нас известно!?

— ...а если преступность и есть еще, то у вас с этим умеют бороться! А здесь не умеют! У преступников находятся адвокаты, которые...

— Вы что же, считаете, что адвокаты не нужны? А может, и суд не нужен?

— Я этого не говорил! Но в обществе, где все продается и покупается...

Ну — поехали! Жена моего друга беспомощно повторяет: «О чем вы? О чем?» — мы не обращаем внимания...

— А у нас, по-вашему, все сплошь святые, что ли?

— Не доводите мою мысль до абсурда! Я только хочу сказать, что...

Немедленно взять себя в руки и прекратить этот бессмыс-

ленный спор. Ну почему я не могу оставить в покое этого добряка с его иллюзиями? А потому что злит этот самоуверенный тон! А ты лучше вспомни себя, какой была тридцать лет тому назад! Нет, но до такой наивности я, однако, не доходила! И все же, все же...

Господи! Почему, если человеку не нравится общество, в котором он живет и все пороки которого хорошо знает, то непременно надо воображать общество иное, на иных принципах построенное, каким-то раем, идиллией, скопищем добродетелей? Ведь это глупо, в конце-то концов! И пусть глупо. И оставь его в покое. Пошли мне, боже, терпения и мудрости!

Бог мольбе моей внял, терпение и мудрость мне были посланы (хватило их, правда, ненадолго), но в тот вечер я этот спор прекратила, как-то отшутилась, попросила извинения у жены (она сказала: «Какие же вы, русские, спорщики!»), и мы добрели до нашего уютного отеля, и там мой друг и жена его окружили меня трогательной заботой, в мой номер были принесены какие-то чудодейственные мази двух сортов и еще какие-то таблетки, моя левая рука от плеча до локтя (по ходу сдирания сумки) была покрыта синяками, колено — тоже, но, в общем, все кончилось вполне благополучно.

В мой последний римский вечер, четвертый по счету, я сидела в полном одиночестве на террасе отеля, покачиваясь на диване-качалке, глядела на дальний купол святого Петра, на купола других храмов, на черепичные крыши, на небо. На закатное, еще розовеющее небо. Я пыталась найти в нем тот серебряный блеск, о котором говорил Гоголь. Пыталась, но не находила. «Небо чудное, пью его воздух и забываю весь мир!» — тот же Гоголь. Закатное небо после погожего жаркого дня всегда и везде чудное, ничего такого особенного я в римском небе не видела, а быть может, видеть не умела.

«Вам понравился Рим?» Странный вопрос! Никто и не задаст мне его, и уж во всяком случае мои соотечественники. Всем нам откуда-то еще с детства известно, что Италия прекрасна. В этой уверенности нас вскоре поддержит Пушкин:

«Адриатические волны, о, Брента! Нет, увижу вас!..» — так этого и не увидевший! Ну, а Гоголь, Герцен и другие лучшие люди сороковых годов скажут, что страна эта чем-то сродни русской душе, и мы навсегда им поверим. Между прочим, Михаил Погодин, подъезжая к Риму, увидел издали купол собора святого Петра и сообщил затем своим друзьям: «Я вздрогнул, встал и поклонился».

Вон он передо мной, этот купол, а я — ничего. Сижу как ни в чем не бывало, не вздрагиваю, не кланяюсь.

Я рада, что накануне отъезда из Рима мне выпало несколько часов одиночества. Жену моего друга не очень привлекал автопробег по хорошо ей знакомым итальянским городам, она решила нас покинуть и ждать в Париже. Муж уехал ее провожать, условившись встретиться со мной в восемь вечера на террасе отеля.

Предоставленная самой себе, я сначала бродила по улицам, затем, рискуя жизнью, пересекла набережную (бешено мчащиеся автомобили), постояла на мосту над Тибром (Тибра не увидела, он высох за лето), вернулась на площадь Навона, с трудом отыскала место на одной из широких каменных скамей, где люди сидели в два ряда, спинами друг к другу, поглядела на толпу причудливо одетых туристов и отправилась в отель. И вот сижу на террасе.

Когда я ходила по улицам между виа Виктора-Эммануила и набережной, у меня было чувство, что я уже видела где-то эти маленькие площади с маленькими фонтанами чуть не на каждой, и замусоренные тротуары, и обшарпанные стены старых домов, и разноцветное белье у окон и на балконах (до чего ж тут много стирают!), и женщин, громко переговаривающихся с одного балкона на другой, и довольно грязных, но веселых детишек, бегающих и прыгающих, и задумчивых бородатых юношей, сидящих со своими девушками непосредственно на тротуарах, и бездомных кошек с крадущейся воровской походкой — вся эта непринужденная уличная жизнь южного города казалась мне знакомой: нечто похожее, думаю, мелькало в итальянских фильмах.

Ну, а жить тут я бы не хотела.

Именно эти слова я мысленно произносила, бродя по улицам. Я бы не хотела. А Гоголь — хотел. «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить». Но почему я должна думать и чувствовать так же, как Гоголь? Имею я право на собственное мнение?

Но у меня нет этого собственного мнения, своего отношения к Риму я не выяснила, хотя многое успела посмотреть за эти дни. Но что увидела?

«Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато нет никого, кто бы не испытал его после более или менее продолжительного пребывания» (Муратов).

А мое знакомство с Римом было торопливым, поверхностным, туристским. Друзья мои водили и возили меня смотреть все то, что туристу смотреть положено: явимся, взглянем, мысленно поставим «галочку» и едем дальше. Вот, значит, все, что возможно было посмотреть за трое с половиной суток, я и посмотрела. Рим языческий, Рим христианский, Рим барокко...

Рим барокко специально отыскивать не нужно, он — везде. Все заметные здания, все главные улицы и площади — барокко. Барокко торжествует и на площади Навона, и в соседних кварталах, тут и массивная вилла Мадама (раннее барокко), и фасады церквей, и колоннады, и фонтаны, и полюбившаяся мне площадь Святого Игнатия, и множество других зданий.

А вот знаменитый фонтан Треви, куда туристы бросают монетки: примета — бросивший монетку еще раз побывает в Риме. Вечер. Ярко освещенная маленькая площадь забита туристами. Одни сидят за столиками кафе, другие непробиваемой стеной окружили фонтан. Огромный Нептун, восседающий на раковине, влекомой морскими конями, выезжает прямо из стены старинного палаццо, и еще тут рифы и скалы, с них-то каскадами низвергается вода, крутясь и пенясь... Смех, говор, грохот воды. Хочу как следует разглядеть эту

скульптурную группу, этот причудливый фасад старого дворца, протискиваюсь, бормоча международное слово: «пардон!», и вот я около фонтана и вполне могу кинуть туда монету, однако не кидаю, исключительно из духа противоречия,— все кидают, я — нет. А у подножия Нептуна еще изваяния каких-то обитателей морского царства, за туристскими спинами их прежде не было видно, бурлит и пенится вода, ну ладно, монеты монетами, но зачем они, туристы, еще и окурки в фонтан бросают, и пустые пачки, и даже железные банки из-под пива? Будто нарочно. Будто, вынув последнюю сигарету и швыряя пустую пачку, швыряющий этим объявляет: плевал я на ваш прославленный Треви! Странное отношение к наследию прошлого! Вот у нас бы...

Не надо, не надо, не надо ругать иностранцев. Занятие, быть может, приятное, но вряд ли достойное...

...Все эти картины Рима проплывают перед моими глазами, пока я покачиваюсь на брезентовом диванчике, наслаждаясь тишиной и безлюдьем террасы. Спускаются сумерки, скоро я не различу купола собора святого Петра — он сольется с темным небом. Вот-вот здесь появится мой друг — и мы пойдем ужинать на шумную площадь Навона, где толпы заслонят от меня все фонтаны и церковь Сант-Аньезе, и конец моему уединению, а своего отношения к Риму я так и не выяснила. Ясно одно: ни восторга Гоголя, ни благоговения Погодина, который «вздрогнул, встал и поклонился», я не испытываю. И это грустно! Пытаюсь утешиться тем, что в минувшем веке и даже в начале нынешнего было легче ощутить очарование Рима: ни автомобилей в таком количестве, ни мотоциклов, ни этих безумных туристских толп. И еще вспоминаю для утешения слова Герцена: «Чем дольше живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем больше внимания сосредотачивается на предметах бесконечного изящества...»

Не было у меня времени полюбить Рим, я не виновата!

И все же мне грустно, и не покидает смутное чувство вины. Перед кем? Не перед теми ли, кто стремился в Рим, но

так и умер, не попав, и теми, кто стремится в Рим, но никогда не попадет, а я была в Риме, выпала на мою долю такая удача, но по-настоящему оценить ее не сумела.

4

> Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене... И все это, все это я объехал ровно в два с половиной месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца?

На следующее утро мы покидали Вечный город.

Уже были спущены в холл чемоданы, уже пригнали из отельного гаража автомобиль и поставили наготове у подъезда, уже мой друг, застенчиво улыбаясь, раздавал чаевые и тому, кто пригнал машину, и тому, кто снес чемоданы, и еще кому-то (слышались голоса: «грация, синьор, грация!»), а администратор с чувством жал мне руку, желая счастливого пути, как вдруг картина изменилась. Улыбки исчезли. Вопросительные взоры приковались к лицу моего друга — он обшаривал, он выворачивал свои карманы. Что случилось? Исчез ключ от саквояжа, в дороге необходимого. Вернулись в номер и вместе с горничной, собиравшейся начать уборку, обыскали шкафы и тумбочки, осмотрели ванную комнату, лазали под кровать. Возникло страшное подозрение: ключ по ошибке увезла в Париж жена! Что ж: ломать замок? До этого не дошло, ключ был обнаружен в лифте, валялся там в уголке, его нашла горничная с другого этажа, сдала администратору, а тот прислал его к нам в пустой номер.

Можно ехать? Нет. Опять задержка. Мой друг порывается разыскать горничную, чтобы ее вознаградить, за ней куда-то бегают... Наконец мы вышли наружу, уселись на раскален-

ные сиденья стоявшей на солнце машины и под дружные крики «грация!» отъехали от обвитой плющом стены отеля.

Отъехать-то отъехали, но расстаться с улочкой, где стоял отель, долго не удавалось: поток встречных машин. Выехали наконец на широкую современную магистраль, но все равно едва ползем, в жизни своей не видела такого потока автомобилей. Что это? Час пик или же у них всегда так? Ну — встали! Огромный контейнеровоз, собиравшийся повернуть налево, но не успевший, перегородил всем дорогу. Гудки. Крики. Запах бензина. Жара. Мне бы напоследок любоваться улицами Рима, но справа машины, они же слева, спереди красный бок контейнера, и вообще не до любования. Тронулись наконец. Снова застряли.

Больше двух часов мы затратили на то, чтобы выехать в окрестности Рима. Дважды теряли дорогу в самом городе, и приходилось останавливать машину, чтобы погрузиться в изучение плана. А так как все места у всех тротуаров были заняты, мы становились вдоль линии автомобилей, кому-то мешали, и пока мой друг, сменив очки (дальние на ближние) изучал страницы знаменитого «Гида Мишлен», в спину нам ожесточенно гудели, что, естественно, создавало нервную обстановку. Мне казалось: куда бы проще выйти и расспросить о дороге кого-нибудь из шоферов, но мой друг упрямо отказывался. Мужчины, я заметила, терпеть не могут спрашивать дорогу. Лучше они будут плутать, не туда сворачивать, ехать в обратном направлении, только бы не спрашивать. Им, видимо, кажется, что расспросы роняют их достоинство. Итак, сохраняя достоинство, мы дважды заезжали не туда в самом городе, а когда наконец удалось вырваться за его пределы, то еще раз заехали совсем не туда, попав вместо автострады, куда стремились, в маленький, из одной улицы состоявший городок. Тут уж пришлось, не посчитавшись с достоинством, из машины выйти и прибегнуть к помощи местного населения. Оно охотно помогло. Слышались крики: «Дестра! Синистра! А диритто!»

Поехали обратно, сделав лишних шестьдесят километ-

ров — тридцать туда и тридцать сюда,— и увидели наконец стрелку-указатель с благословенной надписью: «АВТОСТРАДА». Вскоре оказалось, что путь наш перегорожен высокими будками, их четыре (или пять?), между ними может пройти один автомобиль, но проезд закрыт шлагбаумом. Из окошка будки (окошко сбоку) тянется вниз рука с талоном, шофер тянет руку вверх, выхватывает талон (шлагбаум тут же поднимается), а затем, покидая автостраду, надо тем же манером протянуть талон наверх, и из окошка сообщают, сколько следует путешественнику заплатить за им проделанный по автостраде километраж. Так как мой друг при въезде сунул талон мимо нагрудного кармана рубашки, и талон чуть было не унес ветер, но я успела подхватить, а при выезде, уплатив за проезд, уронил сдачу на пол автомобиля (мы подбирали монеты под гудки машин, ожидающих своей очереди, и тронулись, не подобрав), то я взяла на себя сохранность талона, а полученную сдачу сразу же извлекала из руки моего спутника.

Мне ли, мне ли говорить об Италии, воспетой великими писателями, художниками, поэтами и тонкими знатоками искусства? А к тому же все вышеперечисленные, прежде чем браться писать о стране Данте и Леонардо, не две недели там проводили, а месяцы и даже — годы. Но вот рассказать об автострадах я, думается, имею право.

По итальянским автострадам мы ехали от Рима до французского пограничного пункта (он находится неподалеку от туннеля под Монбланом), заезжая по пути в Сиену, Сан-Джиминьяно, Флоренцию, Пистойю, Болонью, Падую, Венецию, Верону, Бергамо. На все ушло две недели. По российским масштабам километраж, нами проделанный, невелик, а значит, на автострадах было прожито сравнительно мало, но — много пережито.

Какой русский не любит быстрой езды? Я русская, но — не люблю! И еще неизвестно, полюбил бы эту езду Гоголь, очутись он в наших условиях. Вспомним, что успевал рас-

смотреть Чичиков из своей мчащейся коляски: «...колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях...» Ну, скажите: при какой такой скорости можно разглядеть самовар, овес и даже протертость лаптей? Километров двадцать в час, а то и меньше, но это-то и казалось нашим предкам быстрой ездой. И нам бы казалось: колеса стучат, ветер свистит, коляска дрожит и подскакивает, движение ощущается всем телом, всеми жилками. А в нынешних автомобилях с их амортизаторами и прочими приспособлениями, на нынешних бетонах и асфальтах ничто не стучит, ничто не дрожит, мягкий резиновый, почти бесшумный бег, тут и сто километров в час не кажутся слишком быстрыми. Если не смотреть по сторонам.

За гребнем автострады мчатся холмы, а бывает, ничего не мчится, только небо и справа и слева, затем вдруг промелькивает нечто, вросшее в утес (то ли церковь, то ли крепость), на секунду открывается вид на какую-то волшебную южную рощу, и мимо, мимо, бывали случаи, когда удавалось кинуть взгляд на очертания дальних городов, которые «из глаз моих могли бы вызвать слезы», но которых я не увижу никогда, все летит мимо с бешеной скоростью, а ведь это Италия летит мимо меня с бешеной скоростью...

Стрелка спидометра приблизилась к ста пятидесяти, господи боже! Отрывистая команда слева: «Очки с темными дужками!» Даю. Все его очки держу при себе, научилась их различать, подаю по мере надобности, а он меняет их на ходу, господи боже!

Интересно. Я с моим нормальным зрением и слухом, с двадцатилетним шоферским опытом, никогда не позволяла себе такой скорости, а этот — позволяет! Но ведь у нас нет таких автострад, тут все мчатся как безумные, сама дорога этого требует, к этому призывает. Но я трушу. Однажды, стараясь, чтобы голос мой звучал не столько нервно, сколько шутливо, кричу соседу в ухо:

— Вы не находите, что сто пятьдесят — это слишком?

В ответ прокричали:

— Лучшая скорость! Никакой инвалидности! Конец сразу! — После паузы: — И безболезненный!

Но невысказанной мольбе моей все-таки внял, скорость снизил, а затем, когда мы благополучно достигли (что мне всегда казалось чудом!) придорожного кафе и ели там, сказал:

— А вы, я вижу, трусиха!

С улыбкой сказал, с ласково-снисходительной улыбкой старшего младшему, сильного слабому. Я возражать не стала. И потому, что на самом деле трусила, и потому, что видела: эта женская пугливость нравится моему спутнику, поддерживает его веру в себя, подбадривает, окрыляет. Он опора, он покровитель, он бесстрашен, а значит, не так уж стар, не так уж хвор.

От ста пятидесяти в час, обещавших нам быстрый и безболезненный конец, мой друг с того момента все же отказался, но и сто двадцать, особенно в ненастную погоду, тоже давались мне нелегко.

Из Пистойи в Болонью мы ехали в ливень. Сначала был просто дождь, отельный слуга (в одной руке зонт, в другой чемодан) погрузил наши вещи, мы тронулись, дождь припустил (были надеты подходящие к случаю очки), дождь перешел в ливень, мы же прибавили скорость (автострада требует!), мы мчимся, девяносто, сто, сто двадцать. Щетки делали все, что в их силах, работали, задыхаясь, и все равно прочищать стекло не успевали, то впереди что-то смутно обрисовывалось, то вновь лишь струящиеся потоки воды. А мы мчимся, куда? Рядом мчались разнообразные виды транспорта и нередко длинные вагоны контейнеровозов. Мой друг, как и все водители легковых машин, считал для себя унизительным быть обгоняемым грузовиками, сам их лихо обгонял, соседство с обгоняемым длилось секунды, но секунды незабываемые. Справа темная, весь мир закрывающая, нескончаемая масса железа, лобовое стекло заливают грязные потоки воды, и тут уж щетки совершенно бессильны, я трусливо зажмури-

валась, затем открывала глаза, ну, ничего, обогнали, справа посветлело, впереди что-то стало обрисовываться, щетки свое дело как могли, сделали, но, боже мой, там, кажется, опять перед нами либо грузовик, либо новый контейнер, идем на обгон, пронеси господи!

Я презирала себя за этот страх, другие же едут — и ничего! Пыталась утешиться фаталистическими рассуждениями — чему быть, того не миновать, суждена гибель на дорогах Италии — погибнем, не суждена — не наша, значит, еще очередь... Это помогало, но не слишком.

Был случай, когда мы попали на автостраду вечером, с ее будками поравнялись в полной тьме. Взяли талончик, помчались. Фонарей нет, слева и справа черно, а дорога перед нами светла — откуда-то сбоку, снизу исходит таинственный свет, да еще цветной, переливчатый. Оказалось: светящиеся краски на краях автострады отражают лучи автомобильных фар, эдакое простенькое обыкновенное чудо, и мне вспомнились наши, тонущие во тьме, подмосковные шоссе, ослепляющие фары встречных... Но тут мое внимание было отвлечено адским холодом — мы, оказывается, мчались с поднятой крышей, ничем не защищенные от ночной сырости, от рожденного движением ветра. Я уже не радовалась остроумному способу светоотражения, мрачные мысли одолели меня. Простудимся, захвораем, либо оба сразу, либо кто-то один, пропадет наше путешествие, а оно едва началось!

— Крышу забыли! — прокричал мой спутник.— Вам очень холодно?

— Ничего! Потерплю!

Голос мой был бодр, утешающ, я знала, что ехать нам не так далеко (километров тридцать), а главное, знала — на этих роскошных автострадах не останавливаются. Сел в машину, поставил ногу на газ и мчишься, мерзнешь — терпи, появилось желание прогуляться в ближайший лесок — терпи, до лесочка, если он где поблизости и есть,— не дойдешь, дорога с двух сторон замкнута высокими гребнями, обочин нет. Поехал — поезжай без задержек. Одно утешение — тер-

петь не долго. Все возникшие в пути желания будут скоро удовлетворены: через каждые, не помню сколько именно, километров возникает радующий глаз, веселящий душу плакат: «АРЕА СЕРВИЦИО».

Они прекрасны, эти «ареа»! Тут, конечно, бензозаправочная станция, а рядом, но несколько в стороне, здание из бетона и стекла, где внизу универсальный магазин, а наверху ресторан, кафе, бар. И душевые тут есть, и все прочие удобства.

Передохнув, перекусив, садишься в машину и снова мчишься.

Ну, а если в дороге что-то случилось, тогда как? Тогда на автостраду вызывается техпомощь, и сделать это, видимо, просто: постоянно встречаются на пути автоматы, состоящие из одной лишь телефонной трубки — берешь ее, и сразу же добрый голос спрашивает, куда именно ехать, ты отвечаешь, к тебе приезжают. Так, во всяком случае, я себе это представляла... Куда же деваться автомобилю, с которым что-то случилось? И это предусмотрено: у гребней автострады узкие полосы — прибежище для тех, с которыми что-то случилось. А если поломка внезапна? Скажем, отлетело колесо, а сзади тем временем мчатся? Такого видеть мне, к счастью, не пришлось, а вообразить, как они там выходят из положения, не умею.

Машины мчатся, обгоняя друг друга, сколько их, куда их гонят, домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Шоферы сидят, вцепившись в руль, и мчатся, и мчатся, но спрашивается: зачем? Ведь стоит въехать в город...

Стоит этому безумному автомобилю ворваться на улицу итальянского города, сохранившего волшебный облик, созданный строителями треченто и кватроченто, как все кончено. Автомобиль, властелин автострады, окруженный там заботой и вниманием — все для него, все ради него,— среди древних стен, соборов и крепостей превращается в нежеланного гостя, чуть ли не в раба. Тут ему ничего не дозволено. Эта улица вообще для него закрыта, на другой — движение односторон-

нее, надо делать объезд, бешеный бег сменяется черепашьим ходом.

Итак, примчались, сломя голову, рискуя жизнью, проделав шестьдесят километров за полчаса, для того чтобы час ползать по городу, стремясь либо найти место для стоянки, либо попасть в свою гостиницу.

Но где же выход? И старину надо сберечь, и в ногу с веком шагать, вот автострады и соседствуют с кватроченто. Сочетание противоестественное, но, видимо, необходимое.

5

> Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже совсем не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином...

Туристский сезон не кончился. Гостиницы переполнены. Номера следовало заказывать за месяц, а лучше за два: еще живя на острове Корфу, мой друг хотел этим заняться, но не мог, пока ему не была известна точная дата моего приезда. Поначалу везло: телефонным звонком из Корфу удалось задержать номера в римском отеле «Рафаэль», а оттуда звонили в Сиену, где нас также ожидали два номера в отеле «Италия». Дальше нас ничего не ожидало, хотя служащие и римского, и сиенского отелей, щедро вознагражденные моим другом, беспрестанно звонили во Флоренцию и Венецию.

Таким образом, из «города Мадонны» мы ехали в никуда,

в том смысле, что впереди не светила возможность сразу вынуть из машины и разложить вещи, привести себя в порядок и весело, налегке приняться за туристские труды. Это беспокоило моего привыкшего к комфорту спутника, он говорил, что в таком положении не бывал давно; въезжать в город, не зная, где приклонить там голову, терпимо в молодые годы, но не на склоне лет.

И хотя мои молодые годы тоже давно миновали, я не беспокоилась ничуть. Утро было ясное, голубое, золотое, мчались мимо холмы, крепости, стрелки-указатели автострады единодушно утверждали, что мы на пути во Флоренцию, Флоренцию, Флоренцию. «Флоренция, ты ирис нежный...» Если б мне пришлось выбрать какой-нибудь из городов Италии, где я смогу побывать, а других так и не увижу, я выбрала бы Флоренцию. Почему? Из-за матери, там учившейся и какое-то время жившей? Или потому, что, сколько я помню себя, я знала это волшебное слово «Флоренция»? И вот мы туда мчимся и, по-видимому, домчимся, чего еще я могла просить у судьбы? «Ирис дымный, ирис нежный, благовония струя...»

Мы остановились у последней перед въездом в город бензозаправочной станции. На ее территории помещался деревянный транспортабельный домик с вывеской: «Бюро туризма». Ежеутренне служащий бюро получает сведения из флорентийских гостиниц об освобождающихся там номерах. И быть может, быть может...

Ничего не вышло. Туристы прочно оккупировали отели Флоренции и ее пригорода Прадо. Служащий бюро посоветовал нам искать счастья в Пистойе, и, развернувшись, не доехав до Флоренции, мы отправились в Пистойю.

Пистойя. Маленький тосканский городок, находящийся у входа в ущелья Апеннин, ведущих к Парме и Болонье. Это я узнала позже, а в то утро понятия не имела о том, что представляет собой город, где мы будем искать пристанище.

Встали мы рано, затем была суматоха отъезда из Сиены, затем автострада и мечты о Флоренции, затем Бюро туризма и опять автострада — ну, короче говоря, я не обратила внима-

ния на то, во что одет, как выглядит мой спутник. А тут, в Пистойе, когда мы вошли в первую же, указанную встречными, гостиницу и ждали, когда вернется куда-то исчезнувший администратор, я посмотрела на своего друга и ужаснулась. Рубашка грязная. Седые волосы стоят дыбом. В таком виде не ходят по гостиницам. И с таким лицом — испуганно-просящим, заранее ждущим отказа — тоже не ходят. Привык обеспечивать себе номера заранее, телеграфируя в нужные пункты из разных концов света, приезжал уверенный, что его тут ждут и очень рады. Забыл, как это бывает, когда не ждут.

— Ведь я вас просила надеть чистую рубашку!

— Жена укладывала, я не помню, где они.

— Причешитесь хотя бы!

— Потерял гребéнь! (Ударение на последнем слоге.)

Причесываться, впрочем, было уже поздно. Появился администратор и сообщил, что номеров нет.

Когда мы шли в четвертую гостиницу (в трех было отказано), меня посетило одно воспоминание, «чем-то давним и горестным тронув», как сказал поэт. Я посоветовала моему другу протянуть паспорт с вложенными в него купюрами в столько-то тысяч лир. Пусть банкноты слегка и ненавязчиво виднеются — это чтобы администратор паспортом заинтересовался, взял бы его в руки.

Взял. Увидел. Просветлел лицом. Окинул нас уже иным, ласковым взглядом. Сообщил, что один номер есть, а другой можно будет достать в гостинице по соседству. И сразу стал звонить туда.

Устроились. Разложились, умылись, привели себя в относительный порядок. Проголодались. Завтракали на маленькой площади около тамошнего Дуомо, которого не помню.

Полдня и две ночи я провела в Пистойе. У меня был просторный, рассчитанный на двоих номер, балкон выходил на узкую, несредневековую улицу с банальными серыми домами, причем в доме напротив помещалось какое-то учреждение, где с утра зажигались лампы дневного света. Внизу на тротуаре спешило по делам местное население: чиновники,

дамы с собачками, дамы с корзинками. Я шла вниз в гостиничное кафе, в коридоре меня приветствовали горничные звонкими и радостными голосами, внизу расплывался в улыбке администратор, а если в этот момент говорил по телефону, то жестами выказывал мне свою любовь и преданность. Улыбался и кланялся швейцар. Появление моего друга, прибегавшего пить кофе сюда из своей гостиницы, тоже вызывало всеобщее удовольствие. Он, между прочим, с момента вселения просил администраторов обеих гостиниц звонить в Падую, постараться обеспечить нам номера там, раз в Венеции мы явно устроиться не сможем. И заранее эту услугу щедро оплатил. Но расположение и симпатия к нам персонала объяснялись не только этой щедростью. Они были вызваны и моим паспортом. Судя по изумлению и радости, с какими его рассматривали, я поняла, что советские туристы вряд ли бывали частыми гостями тосканского города Пистойи.

Гораздо позже, вернувшись в Москву, перебирая свои пестрые впечатления, я вспомнила эту гостиницу, улицу, кафе, площадь перед Дуомо, и захотелось выяснить: а где же все-таки я была?

Открыла Муратова. Узнала, что Пистойя пользовалась дурной славой из-за вечных войн полудиких горных помещиков... «Там вырастали поколения крестьян и горных пастухов, всегда готовых по звону колокола с приходской колокольни сменить заступ и пастуший посох на аркебуз и страшный топор с двумя лезвиями... В прилегающих к городу предгорьях Апеннин крестьяне и пастухи остались по существу такими же, какими они были во времена Данте. Исчезли только их непреклонные, корыстолюбивые и мстительные «синьоры»...»

А еще Муратов сообщает, что эти «синьоры» оставили по себе любопытную память в палаццо дель Подеста, где под сводами внутреннего двора изображены гербы пятнадцатого и шестнадцатого веков флорентийских наместников, эти гербы — «целый мир головокружительной и свирепой фантазии». Пистойя не очень богата живописью, главные сокровища это-

го города — памятники пизанской скульптуры четырнадцатого века... «У каждого, кто хоть мельком видел все это, непременно останется глубокое впечатление».

Но я и мельком всего этого не видела. Мы не собирались в Пистойю, в нашем путешествии она сыграла роль лишь случайного ночного пристанища, из двух дней, выделенных на Флоренцию, мы и так уже потеряли целое утро на гостиничные хлопоты, на устройство. Не до Пистойи было. Во Флоренцию следовало мчаться, и мы помчались.

«Флоренция колыбель и саркофаг кватроченто... Чтобы проникнуть в дух кватроченто, достаточно жить во Флоренции, бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами, заходить в ее церкви, следить взором за убегающими аркадами ее монастырских дворов» (Муратов).

Я понимала, что в дух кватроченто за полтора дня проникнуть мне не удастся. Но хотя бы, хотя бы успеть повидать то, что следует видеть в этом городе... В картинной галерее Уффици — «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли. В музее дворца Питти — полотна великих мастеров Высокого Возрождения: Рафаэля, Тициана, Тинторетто. На площади Синьория — палаццо Веккио и копия микеланджеловского Давида. Кажется, на этой площади сожгли Савонаролу... Затем палаццо Медичи. Надо туда заходить или нет — не помню, а вот в церковь Сан-Лоренцо — обязательно. Там в стенных нишах похоронены члены семьи Медичи, а перед нишами саркофаги со знаменитыми фигурами Микеланджело: «Ночь», «Утро», «День», «Вечер». По словам Муратова, перед этими гробницами испытываешь «чистое и огненное прикосновение к искусству». Где-то там поблизости великолепный собор Санта Мария дель Фьоре: глядеть надо на фасад, на колокольню, а главное — на купол работы Брунеллески, о котором Микеланджело сказал: «Трудно сделать так же хорошо. Нельзя сделать лучше». И еще надо видеть Понте Веккио, построенный римлянами, воспетый Данте... Хорошо бы попасть во Фьезоле,

городок на холмах, там вилла Медичи, оттуда можно сверху взглянуть на Флоренцию, но это вряд ли успеем.

Однако мы все успели, везде побывали, включая сюда и Фьезоле. Поднимались мы туда на автомобиле, по бегущему вверх белому шоссе, мимо запертых ворот вилл богачей (какие сады угадывались за оградами, какие виднелись величественные кипарисы и пинии, какие серебряные оливы!), а потом сидели на скамье спиной к белому зданию монастыря и глядели вниз на купола и башни Флоренции в дымке угасающего жаркого дня, и на душе было покойно, и тихо кругом (очень мало туристов), и, вероятно, то была единственная минута за безумные два дня, когда я испытала чувство, которое, быть может, и зовется «прикосновение к искусству». Позже, спустившись в город, оставив машину на набережной, простились с Флоренцией, постояв на одном из семи ее мостов. Не знаю, на каком именно, но там было сравнительно пусто, сравнительно тихо, и река спокойна: темнело, но на фоне неба еще хорошо рисовались полукружия арок следующего моста, и в такие минуты надо бы думать о возвышенном, но во мне внезапно шевельнулся турист — беспокойное, жадное существо, озабоченное тем, чтобы ничего не пропустить из того, что смотреть положено, и я сказала:

— А Понте Веккио? Мы там не были!

— Как же не были? Мы утром шли по нему из дворца Питти!

Так, значит, эта улица, с двух сторон замкнутая ювелирными лавками, по которой мы двигались утром, утесняемые туристами, туристами, туристами, это, значит, не улица была, а мост, тот самый, воспетый Данте!

— Почему вы мне не сказали?

Мой спутник клялся, что — сказал. Так, конечно, и было. Он сказал, но до меня не дошло. Ну а все же, когда я вернусь и кто-нибудь из друзей меня спросит насчет Понте Веккио, я отвечу: «Разумеется, видела!» Неужели же ради этого стремишься видеть все? Как это, господи, несерьезно! Нет, хуже. Недостойно!

...К Флоренции мы подлетели в середине жаркого дня, замедлили ход и поползли по ее улицам — автомобилей не меньше, чем в Риме. Мучительно долго искали место, где оставить машину, нашли наконец, вышли на площадь, оцепленную уличными кафе, рухнули на свободные стулья и пили что-то ледяное и безалкогольное. Это происходило, как я затем поняла, на площади Синьория, ибо там перед входом во дворец возвышалась огромная статуя Давида, а дворец, следовательно, был дворцом Веккио. Затем мой спутник сказал: «О травай! За работу!» Мы мужественно встали и пошли.

Мы шли, толкаемые другими идущими, иногда, забывшись, переходили на мостовую, и тут же раздавался гудок в спину, мы шарахались, мимо проползала машина, иногда — мотоциклист, было очень жарко, надо «бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами», вот я как раз и брожу по ее улицам, ирис дымный, ирис нежный, благовония струя, не забыть, посмотреть на карнизы, для этого ступить на мостовую, поднять голову, но в спину опять гудок, «хрипят твои автомобили, уродливы твои дома, всеевропейской желтой пыли ты предала себя сама!..». Боже, а это откуда? А ведь тоже Блок. И тоже о Флоренции. «Звенят в пыли велосипеды...» Это когда же он писал? Итальянские стихи. Год тысяча девятьсот девятый. Ровно семьдесят лет тому назад! Все это, значит, уже тогда начиналось! «...ты топчешь лилии свои, но воскресить себя не сможешь в пыли торговой толчеи».

— Вот Санта Мария дель Фьоре! — сказал мой спутник.

Я собиралась посмотреть на купол Брунеллески, но не собралась, уставившись на ступени храма. Впрочем, ступеней видно не было: на них лежали, полулежали, сидели и стояли — это отдыхали молодые туристы в своих живописных лохмотьях. Одни дремали, положив головы на колени соседей, другие закусывали, третьи загорали, почти совсем раздевшись... «Там, где святой монах сожжен, где Леонардо сумрак ведал, Беато снился синий сон!..»

Мой друг был возмущен безмерно. Утверждал, что в его

прежние посещения Флоренции подобного видеть не приходилось, молодежь распоясалась окончательно, до чего ж это дойдет? И мы, забыв о куполе, предались бесплодному и, среди пожилых людей всех времен и народов, весьма распространенному занятию: дружно поносили молодежь, для которой нет ничего святого.

Нет, я не испытала чистого и огненного прикосновения к искусству перед гробницами Микеланджело, перед его скорбными фигурами в церкви Сан Лоренцо. Тут, по словам Муратова, предписаны серьезность и тишина. «Есть что-то в этих гробницах, что твердо повелевает быть безмолвным». Кому повелевает, а кому — нет. Вокруг толкались и говорили на многих языках. «Печаль разлита тут во всем,— вдохновляла я себя словами Муратова,— печаль Микеланджело это печаль пробуждения». Мне хочется в это вникнуть, это почувствовать, но от скорбных фигур Микеланджело внимание мое отвлекается иными, живыми фигурами туристов. Одни входят, скользнут взглядом по гробницам, и выходят, другие, более добросовестные, у гробниц задерживаются, глядя то па них, то в раскрытые книжки путеводителей,— видимо, проверяют, нет ли обмана, то ли тут показывают, что нужно. Ах, дали бы мне тихие минуты чистого созерцания, я бы что-то поняла, чем-то прониклась... Но, быть может, я просто себя утешаю. Кто знает, может, и тогда не прониклась бы...

Еще хуже вышло с «Рождением Венеры». Следующим утром мы примчались из Пистойи, вползли в город, долго ездили туда и сюда, гудками раздвигая толпы пешеходов, наконец безумно повезло, освободилось местечко на платной стоянке у самого дворца Питти, поставили машину, отправились во дворец. Малиновый штоф стен, лепная позолота, в музей ювелирных изделий заходить не будем, успеть бы взглянуть на полотна великих мастеров Высокого Возрождения, идем сразу в картинную галерею. Тициан, Тинторетто, Рафаэль, Микеланджело, Бронзино, Андреа дель Сарто. «Мадонна Дони». «Мадонна со щегленком». «Мадонна с гарпиями»... Калейдоскоп красок, глаза мадонн, спины туристов...

И почему-то от всего виденного в памяти остались и до сих пор перед глазами две работы Рафаэля, портреты двух кардиналов — один с бельмом на глазу, другой похож на лису. Все остальное размылось, пропало, исчезло.

В картинной галерее Уффици я сразу пробилась к «Венере», гляжу, и тут — голос моего спутника:

— У вас сзади платье порвалось!

Трудно отдаваться наслаждению искусством, если знаешь, что на одежде твоей дыра, да еще сзади. Боже, где именно? На лестнице кто-то зацепил меня за юбку своим не то портфелем, не то чемоданчиком и дернул, вот, видимо, тогда... Что ж теперь делать? Ехать в Пистойю переодеваться?

— Другое купим! — сказал мой спутник.— Зайдем еще в тот зал, а потом выйдем и купим.

Зачем мы, оставив «Венеру», заходили еще в тот зал — не помню! Я сняла сумку с плеча и держала ее сзади, прикрывая дыру, делала вид, что мне нравится именно так носить сумку. Очень устали руки.

А потом мы вышли и купили новое платье. Оказалось очень просто: платьев много, народу — никого. Народ ходил по музеям, площадям и храмам, сидел в кафе и лежал на ступеньках. Истосковавшиеся продавщицы встретили нас, как родных. Этот радушный прием, эта непривычная забота (мною занялись сразу три продавщицы) подействовали на меня угнетающе. Я стояла в боксе примерочной, туда мне подавали платья, я их примеряла, одно оказалось коротко, другое слишком пестро, третье... Было неловко огорчать продавщиц, а когда приоткрывалась занавеска примерочной, я видела моего спутника: он сидел ко мне в профиль, положив ногу на ногу, и нервно ногой покачивал. Терзается, что мы теряем дорогое время,— еще столько надо успеть сегодня увидеть. В четвертом платье тоже было что-то не то, но я решила в нем остаться и вышла из примерочной, доставив этим большое удовольствие присутствующим. Облегчение на лицах продавщиц (очень боялись, что мы уйдем, ничего не купив!), радость на глазах моего друга, дружный хор пропел на двух

языках, что платье мне очень идет (я-то знала, что нет!), и вот мы снова в толпе на жаркой улице, и я снова могла повесить сумку на плечо, и тут стало ясно, что новое платье мало, жмет под мышками, я себя в нем чувствовала, как, вероятно, Пугачев в заячьем тулупчике, но надо было терпеть.

Боже мой, господи, и это все, что я могу поведать о Флоренции? Ведь я даже не помню, куда мы пошли из магазина! Теперь, полистав путеводители, знаю, что мы были, например, в Баптистерии, здание восьмиугольной формы против собора, ибо там находится деревянная скульптура Донателло, изображающая Марию Магдалину. И до сих пор перед глазами страшная, изможденная, беззубая старуха — такой Донателло изобразил Марию Магдалину, а я всегда воображала ее молодой и красивой, и старуха поразила меня, потому и запомнилась.

От пыли веков, от музеев и храмов, от автомобилей и туристских толп мы отдохнули под вечер во Фьезоле... «Не так же ли стучал топор в нагорном Фьезоле когда-то, когда впервые взор Беато Флоренцию приметил с гор?»

В этот последний вечер я вспомнила, что хотела посмотреть на дом, где жили два поэта, Роберт Броунинг и жена его, Элизабет Баррет, и еще тихую церковь, описанную Муратовым и находящуюся где-то на окраине города, но вот я даже название ее забыла, и куда уж тут искать дом Броунингов, и какие могут быть окраины... Ведь и того, что я уже видела, я не переварила. Так что надо сидеть тихо, глядя вниз на купола и башни Флоренции.

И теперь, вспоминая этот промелькнувший город, я именно это, именно дали, открывшиеся с холмов Фьезоле, буду видеть и еще полукружия арок моста, прочерченные на темнеющем небе, над спокойной рекой.

И это — все.

Сидя под вечер в одном из многочисленных кафе под аркадами Прокураций, мы внезапно заспорили о том, кто унаследовал престол тишайшего царя Алексея Михайловича. Было

бы куда более естественным затронуть эту тему, скажем, в Коломенском, около церкви Вознесения, а не на площади святого Марка с собором романо-византийско-готического стиля, с голубями и туристскими толпами, но ведь мой спутник, о чем бы ни начинал разговор, непременно сворачивал на Россию: то о литературе ее шла речь, то о быте, то об истории. Дочь Петра Первого мой друг именовал «Элизабетой», «Византию» — «Бизантией», а вместо «свергнуть» употреблял глагол «свернуть». Поправлять его не имело смысла, и я терпела.

Мы сидели в центре Венеции, города с весьма интересной и, я бы сказала, красочной историей, предлагавшей сколько угодно тем для интеллектуальной беседы. Можно было бы поговорить о восемнадцатом веке, веке масок, Гоцци, Гольдони, Казановы... Или припомнить роскошь и жестокость шестнадцатого века — ведь мы только что, уже из последних сил, сделали я не знаю сколько километров по галереям и залам Дворца дожей (плафоны, панно, потемневшие картины), долго искали Зал большого совета (в нем — «Рай» Тинторетто, самая по размерам крупная картина на земле!), дважды заблудились, попав туда, где были уже, я ног под собой не чуяла, я вполне готова была обойтись и без «Рая», и без зала, но молчала, не решаясь огорчить моего спутника. Он непременно, непременно рвался показать мне этот огромнейший зал и Тинторетто. Это страстное желание и давало силы моему доброму другу, считавшему, что он все, все обязан мне показать, а разве можно быть в Венеции и не увидеть Зала большого совета?

И вот мы ходили и ходили, и наконец попали в это неслыханное по размерам помещение (чуть не полторы тысячи квадратных метров!) и поглядели на «Рай», что мне ровно ничего не дало: огромное, сильно потемневшее от времени полотно, с массой фигур, к тому же усталость, к тому же спешка — зал вот-вот должны были закрыть. А потом выяснилось, что залы, через которые мы шли, уже закрыты, и обратно пришлось идти через мрачные переходы, соединявшие

Палаццо дожей с тюрьмой, и близко видели Мост вздохов: там у преступника, ведомого в тюрьму, была последняя возможность взглянуть на небо... Уже позже я вспомнила, что в этой тюрьме инквизиторы, среди прочих, терзали и Джордано Бруно, этого упрямца, сожженного затем в Риме на площади, носящей светлое, оптимистическое название «Площадь цветов», но, повторяю, это я позже вспомнила, а пока шли, думала лишь о том, где бы поскорее сесть...

И вот мы наконец вышли на воздух, вышли наружу и, пробившись через толпы туристов, торговцев сувенирами, слайдами и бумажными мешочками с птичьим кормом, попали в многоязычный гул голосов, в цоканье шагов по мраморным плитам, в музыку из кафе, во всплески крыльев взмывавших из-под ног голубей, короче говоря, попали на площадь святого Марка. Нашли два свободных стула в кафе, уселись и поначалу молчали, обессиленные. Вокруг нас сидели и ходили туристы, туристы, туристы. Вечный нескончаемый праздник на площади святого Марка, многажды описанный. «Пир чужих людей на покинутом хозяевами месте» (Муратов). Группами, парами и в одиночку прохаживались богатые американские старухи — уже не первую сотню лет гуляют они по этой площади, держа в руках путеводители... Маленькая девочка лет пяти, в длинном, до пят, платье (такова нынче детская мода), попросила подарить ей валяющиеся на нашем столике пробки от вскрытых бутылок кока-кола, нежным голоском произнесла «грация» и сделала низкий реверанс. Приятно видеть хорошо воспитанных детей, но интересно, где ее родители, в этой толпе ничего не стоит потеряться и навсегда лишиться близких. Тем временем юная коллекционерша пробок приседала у другого столика, а может, это не туристское дитя, а местное, знающее тут все ходы и выходы?

Синее вечереющее небо, красная кирпичная колокольня на фоне серых стен Новых прокураций, а мы сидим спиной к Старым, неподалеку часовая башня с бронзовыми фигурами мавров, они иногда двигаются и отбивают время, и вся площадь, задрав головы, на них смотрит, это одна из местных

достопримечательностей, пропустить нельзя. В глазах рябит от разнообразия лиц, фигур, одежд; мелькают дамы в шароварах, а вот идет полная женщина средних лет в ярко-зеленом, атласно-блескучем брючном костюме, хорошо обрисовывающем ее округлости, поразительно смелая женщина... Со всех концов земли стеклись эти люди сюда, на эту площадь, зачем? «Кто не любит искусства, тому нечего делать в Италии» (Муратов). Все они, значит, любят искусство и явились к нему на свидание? Не верю. Но каждый, спроси его, непременно скажет, что любит. Музыку, живопись, природу, скульптуру — полагается любить всем. Ну, есть, конечно, в этой пестрой толпе какой-то тонкий слой, истинно искусство любящий и в нем разбирающийся, есть серьезная молодежь, приехавшая сюда чему-то научиться, а большинство находится здесь из соображений престижных. Вы были в Италии? А как же! Разумеется! Ах, Микеланджело, ах, Тинторетто, ах, фрески Джотто, ах, Рафаэль! Я вообразила себе дам, щебечущих об Италии за чайным столом в своем дамском клубе, причем одна, наиболее бойкая и памятливая, начитавшись путеводителей, всех заткнула за пояс, рассуждая об оттенках розового цвета у Тициана и голубого у Тинторетто, нахально выдавая эти сведения за собственные наблюдения...

Такие недобрые мысли бродили в моей усталой голове, пока мы сидели в кафе под звуки скрипок и гул толпы. Разгладилось чело моего спутника. Он утолил жажду, он отдохнул, а главное, был доволен тем, что план первого дня пребывания в Венеции выполнен, все, что было намечено мне показать, показано: Гран Канале, гондолы, мраморные ветхие дворцы с плещущейся у ступеней водой и темными столбами-причалами, мост Риальто, мозаики и колонны собора Святого Марка, напоследок Дворец дожей, все выполнено, никаких иных трудов сегодня не предстоит, лишь поездка на пароходике прямо с этой площади на площадь Рима, а оттуда удобный автобус отвезет нас в Падую, где мы стоим в отеле.

Еще поразительно, как мы все успели, утро началось для нас очень неудачно, долго искали потерянные моим другом

триста швейцарских франков, сумма немалая. Эти франки лежали как-то отдельно от других денег, либо в конверте, либо просто перевязанной пачкой, мой друг мучительно вспоминал, куда он мог этот пакетик засунуть, обшаривал свой номер, я же подозревала, что он деньги выронил, то ли сунул мимо кармана, то ли, что-то из кармана вытаскивая (очки, например), не заметив, вытащил и деньги и — уронил. (Позже выяснилось, что так оно и было, франки нашел на полу в холле служащий отеля и сдал администратору — есть еще на свете честные люди!) Я, во время этих поисков, винила себя: недоглядела, не уследила. Ведь я давно поняла, к каким последствиям привел отъезд жены: в минувшем году, когда мы втроем ездили по Нормандии и Бретани, мой друг не терял ни денег, ни ключей, ни рубашек, ни «гребня». Деньги были счастливо найдены, но подстерегала другая неприятность: автобус, везший нас в Венецию, застрял перед самым городом, на длинном мосту. Застрял весь транспорт, все встало, неизвестно почему, неизвестно насколько, текли драгоценные минуты, уходило время, гибло утро, надо за сегодня столько успеть, а мы сидим в этом проклятом душном автобусе, и смотреть не на что, кроме как на залив, слева и справа! Во всем виновато общество потребления с уродливо разросшейся цивилизацией, с миллионами автомобилей, этим бичом современности,— как он сердился, как он ворчал, мой бедный друг! Наконец вскочил: идем пешком! Я знала, что длина моста четыре километра, застряли мы примерно в середине, идти далеко, но спорить не стала, к чему спорить с человеком, кипящим от раздражения, быть может, прогулка на свежем воздухе успокоит его... От встречных пешеходов я узнала, что транспортная пробка вызвана демонстрацией коммунистов, догнала моего друга, унесенного вперед волной раздражения, и добрым голосом поделилась с ним полученными сведениями: дескать, не нам с ним на это роптать! Ответа не получила, лишь головой мотнули и дальше зашагали, а тут внезапно все зашевелилось, задвигалось, и нами покинутый автобус обогнал нас, вот они, плоды нетерпения, могли бы

сейчас спокойно ехать, а не тащиться по жаре, так я думала, но молчала, не желая растравлять ран моего спутника, думавшего, конечно, о том же, и вдруг он остановился, обернулся, попросил свое сердечное лекарство, и я — испугалась.

Вот какое было у нас утро!

Но затем все шло как по маслу: мы пришли в себя и отдохнули на пароходике, шедшем по Гран Канале, и затем мой друг показал мне все то, что показать собирался. Правда, осмотр пришлось провести несколько быстрее, чем было задумано, однако все, что положено, я посмотрела, ну, в спешке, ну, в торопливости но — посмотрела. И сейчас, под вечер, на площади святого Марка, мой друг наслаждался сознанием исполненного долга и тем, что никаких трудов сегодня больше не предстоит, печать озабоченности исчезла с его лица, и на лице этом появилось вдруг знакомое мне выражение добродушного лукавства, глаза хитро прищурились, все ясно, сейчас мне будет задан какой-то каверзный вопрос. Успокоился, отдохнул, расслабился, и теперь ему охота со мной поспорить, попикироваться — это его бодрит и освежает. Так и есть! Подвинул свой стул вплотную к моему и мне в ухо:

— А кто унаследовал престол после Алексея Михайловича?

Поскольку в голове моей прокручивались в эти минуты исключительно венецианские мотивы (восемнадцатый век с его масками и сумасбродством, шестнадцатый с дожами и инквизиторами, а иногда оба эти века заслонялись двадцатым, а именно — пестрой толпой, шумевшей на мраморных плитах площади), то я, естественно, растерялась. Какой еще Алексей Михайлович? О ком речь?

— Второй Романов. Царь по прозвищу «Тишайший»! — кричали мне в ухо. И торжествующе: — Забыли?

Как же ему неймется постоянно доказывать мне, а главное — себе, что он, хоть всю жизнь и живет в Париже, остался русским, знает историю свой страны, ее литературу, а также в курсе всего, что в этой стране делается сейчас! И еще

ему хочется взять реванш, ибо сегодня мы уже спорили, и победителем из этого спора мой друг не вышел...

Спорили мы днем во время обеда, или, по-здешнему, второго завтрака. Все кафе, все рестораны переполнены, но тот, куда мы вошли, пуст, ни единого человека, кроме официантов, похожих на дипломатов, немолодых, элегантных, с грустно-строгими лицами, однако просветлевшими при нашем появлении. Сели. Раскрыли карты меню, роскошного вида, кажется, в сафьян переплетенные. И тут же двое официантов почтительно около нас застыли, слегка наклонившись. Я — моему спутнику:

— Почему тут нет никого?

— А, видите ли, это один из самых дорогих ресторанов Венеции...— Улыбнувшись застенчиво: — Сюда только миллионеры ходят...

— Или — сумасшедшие!— быстро добавила я.— Нет, до чего ж вы любите кидать деньги на ветер!

— Голубчик, а зачем мне они? Жить мне осталось лет пять, ну — шесть. На мой век хватит.

Я выразила желание вымыть руки, и устланную коврами дорогу в полутемную глубь ресторана мне показывали сразу двое ресторанных служащих, семенивших рядом, и почему-то осталось впечатление, что путь мой освещался факелами...

На первое принесли что-то такое изысканное и такое острое, что я не смогла это блюдо доесть, но непременно бы доела, если б могла предвидеть, какой переполох это вызовет. О чем-то шептались, кивая на меня, официанты, делая горестные жесты (кажется, ломали руки), затем промелькнули какие-то новые лица, видимо посланцы из кухни, но их к нам не допустили, а через тех же официантов пытались выяснить, что именно не понравилось синьоре, чем она желает это блюдо заменить. От замены я отказалась, но зато второе блюдо съела все, было оно очень вкусное (жаль, я не записывала, что именно мы ели во время нашего путешествия!), а было бы невкусное, все равно бы съела — тягостно быть предметом столь горячих забот! Тем временем подошла и уселась

в другом конце помещения пожилая пара, видимо миллионеры, ибо на сумасшедших похожи они не были, и часть персонала переключилась на заботы о них.

Вот в этой обстановке и возник у нас спор...

Мы только что ходили по венецианским улочкам, похожим на коридоры, казалось, разведи руки — и коснешься стен домов слева и справа. Говорили о том, как невесело, как темно и, конечно, сыро в таких домах, особенно в первых этажах, откуда и клочка неба не увидишь, как в подвалах, сказала я, на что друг мой выразил радость по поводу того, что в России не осталось ни единого подвального жителя. Я, разумеется, поинтересовалась, откуда у него эти сведения, но тут мы вошли в ресторан — и подвальная тема была отставлена. Но не забыта. Мой друг вернулся к ней за кофе. Ему, оказывается, кто-то из знакомых сообщил, что в СССР никто уже не живет в подвалах. Я заметила, что этот знакомый явно склонен к преувеличениям: вряд ли уж так-таки и никто! Добавила, что насчет подвалов статистических данных у меня не имеется, но вот коммунальные квартиры у нас, к сожалению, еще существуют. Меня мгновенно перебили:

— Но их уже почти нет!

Снова этот уверенный тон! Нет, откуда этот человек, изредка к нам наезжающий, постоялец отелей «Берлин» и «Астория», все знает про наши дела?

Убеждаю себя не раздражаться. Говорю спокойно: да, строят у нас много, коммунальных квартир становится все меньше, но утверждать, что их уже и нет почти,— неверно! Меня перебили:

— А вот я слышал, что новые дома у вас иногда сдают незаконченными, и это — хорошо.

Молчу от изумления.

— Да, хорошо, потому что тот, кто въехал, может сам, по своему вкусу, достроить квартиру.

На этот раз мне не удалось сдержать раздражения, раздражаюсь, и из ресторана мы вышли недовольные друг другом.

Снова улочки, затем беготня по Дворцу дожей, площадь, бронзовые мавры, голуби, туристы, я забыла о нашем ресторанном разговоре, но мой друг не забыл, ведь он должен постоянно доказывать, что все знает о России не хуже меня, но уж почему ему взбрел на ум «тишайший» Алексей Михайлович — этого объяснить не берусь.

— Ну, так кто же наследовал престол?

Вникнув наконец в вопрос, отвечаю тоже криком в ухо:

— Иоанн, малолетний Петр, а царевна Софья была при братьях регентшей.

— А вот и нет!

— То есть как нет?

— А вот так! Забыли Федора! (Какое торжество на этом лице, от радости и гордости даже помолодевшем!) — Старшего сына. Как не стыдно, свою историю не помните!

Никакого Федора я и в самом деле не помнила, начисто выветрился он из моей головы, жила в уверенности, что — Иоанн, Петр, Софья, а больше и не было никого! А поскольку познания моего друга в отношении России, как прошлой, так и нынешней, всегда вызывали у меня сомнения, я начала глупо спорить, утверждая, что Федора не было...

Синеет над нашими головами небо итальянского вечера, мерцает цветными отблесками величественный собор Святого Марка, играет музыка, шумит разноязыкая толпа, но мы ничего этого уже не видим, уже не слышим, орем свое («Был Федор!», «Не было Федора!»), причем я выкрикиваю сердито, а мой друг уверенно и торжествующе. Но я ощущаю его правоту, сержусь на себя — как могла я забыть о Федоре, успевшем, оказывается, даже года полтора до этой комбинации — Иоанн, Петр, Софья — поцарствовать!

— Да! — радостно объявляет мой друг.— Не то год сидел на престоле, не то два, я проверю по энциклопедии, когда вернемся в Париж, и вам позвоню! А женат он был на Марте!

Я прокричала в ответ, что никаких «Март» у нас не было, видимо, имеется в виду Марфа? Сама сознавала, что выпад мой мелок и недостоин, но — не удержалась.

А потом мы с помощью пароходика и автобуса вернулись в «хмурый и старинный город Падуя», где жить не собирались, но жили: именно там служащим пистойских гостиниц удалось задержать нам два номера в отеле. «Хмурого и старинного» я, как и Пистойю, не видела, ведь всего два дня на Венецию, туда мы и стремились с утра, и помнятся лишь улицы под низкими аркадами, довольно однообразные, по которым мы ходили от гостиницы до автобусной остановки и обратно. А еще мы посетили мимоходом капеллу Скровеньи, или иначе — «церковь на арене», ибо стоит она на месте арены античного амфитеатра. По словам Муратова, эта церковь дошла до нас в хорошем виде, ибо «ее почти не коснулась опасная заботливость реставраторов».

На зеленой траве сквера небольшое стройное и светлое здание, похожее не на церковь, а на старинный двухэтажный дом хороших пропорций. Он красив издали, приятен вблизи, ну, а внутри — фрески Джотто, их обязан видеть каждый, кто едет в Италию! И вот утром, когда мы шли к автобусу, мой друг заботливо сказал:

— А по дороге зайдем в церковь на арене, вам необходимо взглянуть на фрески Джотто!

И в самом деле: необходимо! Никто не посмеет попрекнуть меня, что я, быв в Италии, да еще в Падуе, не посмотрела Джотто.

На сей раз толпы туристов не мешали соприкосновению с искусством — капелла была пуста. Но мы очень торопились. Всего два дня на Венецию, и в этот, последний, предполагалось еще и посещение фабрики стекла в Мурано, куда мы, впрочем, так и не попали. На Джотто, следовательно, выделялось минут двадцать — мы были связаны расписанием автобуса. Взглянуть я взглянула, попрекнуть меня отсутствием интереса к родоначальнику итальянской живописи никто не сможет, но этим, собственно, и ограничилась вся польза от посещения сокровищницы искусства, прославленной капеллы Скровеньи. Что может дать торопливый, поверхностный осмотр, если голова набита цифрами, никакого отноше-

ния к Джотто не имеющими? Автобус в Венецию отправляется тогда-то, ходу до остановки столько-то, значит, сколько у нас еще осталось минут? Ага. Десять.

— Посмотрите на эту фреску, и на эту, и на эту! — хлопотал мой спутник, тоже косясь на часы.

Я смотрела на эту, на эту и на ту, а потом мы вышли и торопливо зашагали к автобусу, и единственное, что в памяти осталось,— фреска «Поцелуй Иуды», быть может, потому, что я была к ней подготовлена: видела репродукции.

Пароходик привез нас на площадь святого Марка, которую мы тут же, продравшись через туристские толпы, покинули и вторично ступили на нее лишь вечером, когда уезжали, а весь этот день провели вдали от Венеции, праздничной и шумной, вдали от этого «пира чужих людей на покинутом хозяевами месте».

Стоило отойти от площади, стоило попасть в лабиринт узких улиц, как стало тихо. Играли и смеялись дети, переговаривались с балкона на балкон женщины, дымили трубками и читали газеты мужчины, сидя в маленьких кафе на маленьких площадях (день был воскресный), и все равно тихо: ни автомобилей, ни туристов, ни мотоциклистов, ни даже, кажется, велосипедов. Лабиринты переулков и каналов, горбатые мостики, почти полное отсутствие зелени, лишь цветнички на балконах и крышах. А кругом — вода, вода, вода, не она ли вбирает в себя звуки, не от нее ли тишина?

В тот день мы решили никуда не торопиться, забыть о музеях, а просто ходить и смотреть, это и делали, останавливаясь около мостиков, глядели на зеленую, спокойную, едва колышущуюся воду. Устав, садились отдохнуть в какое-нибудь кафе на маленькой площади — на каждой либо церковь, либо памятник. Эти спокойные блуждания очень были приятны, и я убедила своего друга не суетиться, не ездить в Мурано. Это бы означало новую спешку, новую зависимость от каких-то расписаний, зачем? К чему?

Второй день отдыхал мой друг от автомобиля, загнанного в подземный гараж отеля, вот пусть и от музеев отдохнет, а главное — от спешки и суеты, от беспокойных мыслей, что надо мне показать еще и то, еще и это. Я уверяла его, вполне искренне, что эти неторопливые блуждания, это знакомство с Венецией будничной — мне всего приятнее.

Грустный город. Эта везде присутствующая вода, зеленая гладь каналов, тихо скользящие черные гондолы, все это чудесно, благотворно действует на душу усталого путника, но путник полюбуется и уйдет, а людям тут жить — в окружении этой прекрасной, этой опасной воды. Она лижет ступени мраморных обветшалых дворцов на Большом канале (сохранивших, однако, следы былой красоты, величия и роскоши), она точит сыростью старые дома в узких переулках.

Во время наших блужданий мы говорили, разумеется, о будущем Венеции («вечная российская озабоченность...»), беседа текла мирно, то был самый спокойный, самый тихий и отдохновительный день за наше путешествие — назавтра предстояла безумная автострада, посещение Вероны, ночевка в Бергамо — и каким светлым воспоминанием этот день у меня бы остался, если б не его печальный конец.

В старинный город Падую мы вернулись засветло. Жили мы там в отеле отнюдь не старинном: шестиэтажное, длинное чуть ли не на весь квартал растянутое здание, с изогнутым, повторяющим изгиб улицы фасадом шоколадного цвета, с белыми квадратами бесчисленных окон, эдакая фигуры не имеющая, современная коробка с американским названием: «Отель Плаза». Там не было пистойского уюта, звонких горничных, приветливых швейцаров и улыбок. Непроницаемо-вежливые лица администрации и почти невидимые слуги. Присутствие этих незаметных тружеников можно было обнаружить лишь утром (вносился в номер поднос с кофе), затем они исчезали, а вечером придешь — все убрано, все вымыто, и в ванной чистые полотенца.

Вернувшись, умывшись и переодевшись, решили ужинать не в нашем роскошном, ни лица, ни национальности не

имеющем отеле, а в каком-нибудь местном скромном ресторане, куда и отправились пешком. День стоял ясный, солнечный (повезло!), а к вечеру небо насупилось, помрачнело, явно собирался дождь и — едва мы вошли в ресторан — хлынул, будто только того и ждал, чтобы мы очутились под кровом,— везло, везло! Ресторан оказался премилым, эдакий домашний, еда здесь готовилась на глазах у посетителей, на какой-то жаровне,— в углу что-то шипело, издавая приятные запахи, и языки пламени — блюда разносили бойкие веселые девушки, вокруг одни итальянцы, и говор, и смех, мы заказали спагетти, ну и, конечно, кьянти.

Беседовали мы мирно, как всегда, повысив голоса, все о той же Венеции. На этот раз коснулись шестнадцатого века, когда государство обложило налогом куртизанок и вообще наблюдало за всем: за нарядами, за нравами, за посещениями церквей, за модами, обычаями, свадьбами, похоронами. Когда каждый венецианец, хотел он этого или нет, включая сюда и Тинторетто, находился на службе своей республики. Мешало ли это давление сверху, это стремление превратить Тинторетто в придворного живописца, гениальному художнику?

На душе было хорошо, я недурно научилась управляться со спагетти, накручивая их на вилку, и вот мы уже кофе попросили, прекрасно начавшийся день мог бы и кончиться прекрасно, но... Господи! Опять, опять мой собеседник завел речь о нашей с ним родной стране, опять хочет мне что-то доказывать... Спокойно! Не обращать внимания, не возражать, не спорить... О чем он, однако? О русском народе. О том, что этому народу, с его мягкостью и добросердечием, нужна именно жесткая власть. Понятно. Сейчас он коснется Ивана Грозного, затем Петра Первого, затем... Так и есть. Коснулся всех трех. Развивает тему. Молчу. На жаровне что-то шипит, издавая чудесные запахи, за окном дождь, веселится за соседним столом молодежь, перед нами дымится в чашечках кофе, а мой собеседник, этот европейский джентльмен, приятно насытившись, решил порассуждать...

Да что он знает о русском народе, где он его видел? Да что он понимает в нашей жизни? А главное — и не хочет понимать! Сколько раз я в этом убеждалась: не хочет, уклоняется. Вцепился в свои иллюзии, ни с единой не желает расстаться, ему так легче, спокойнее, удобнее, приятнее. Прекрасно. Дело его. Но я тут при чем? Я почему должна все это выслушивать, терпеть этот легкий, самоуверенный светский тон? Сидит всю жизнь в своем Париже, мнит себя русским, мнит патриотом, а на самом деле — иностранец. Эдакий зритель, наблюдающий за происходящим на сцене из ложи. А в руке программка, а на бархатном барьере ложи — перламутровый бинокль...

Примерно это я ему и высказала, взорвавшись.

Не помню, какое именно из мною произнесенных слов особенно сильно задело моего друга, в какой именно момент изменилось лицо его, увлажнились под стеклами очков глаза, и он крикнул:

— Перестаньте!

И прерывающимся голосом, почти сквозь слезы, добавил:

— Дура!

Вскочил, швырнул салфетку и выбежал из ресторана.

Стало очень тихо, — видимо, на несколько секунд я просто оглохла. «Дурой» меня не называли (во всяком случае в лицо) много лет сряду, но не обиду я ощущала, а жалость и раскаянье. Не меня обидели. Обидела я. Но чем, чем именно? Кажется, тем, что назвала его «иностранцем», «зрителем», а он, бедный, едва не заплакал! Так обидела, что он, с его добротой, мягкостью, учтивостью, обругал меня и вот сейчас бегает там под дождем.

Выйдя из оцепенения, я убедилась, что никакой тишины не наступило, — говор, смех, звон посуды продолжались. Интересно, между прочим, как отнеслись окружающие к этой сцене? Огляделась. А никак не отнеслись. Никто и не смотрел в мою сторону. Вероятно, происшедшее было воспринято как супружеская ссора, да и как иначе такое воспринять? Супруги поругались, бывает, и никого, кроме них,

это не касается. Бегали с подносами официантки, громко хохотала компания за соседним столом, и все равно было слышно, как шумит за окном дождь. Что ж мне теперь? Бежать за ним? Куда? Да и кто меня выпустит, ведь счет не оплачен. Господи, что он там делает, под проливным дождем? А вдруг ушел в гостиницу, бросив меня здесь?

И тут он появился, совершенно мокрый, вытирая лицо и руки платком, и сообщил голосом спокойным и деловитым, что надо попросить официантку вызвать такси, не пешком же идти в отель, на улице ливень... В ожидании такси мы, делая друг перед другом вид, что ровно ничего не произошло, обсуждали программу завтрашнего дня, когда встать, когда выехать, два-три часа на Верону, к вечеру Бергамо... Как я могла, пусть на минуту, усомниться в этом человеке, подумать, что он ушел, бросив меня здесь?

В тот вечер я дала себе слово никогда не вступать с ним в споры. Он хочет считать себя русским. Возвышающий обман ему дороже тьмы низких истин, и пусть. И пусть!

Слово свое я сдержала. Была кротка, как агнец, и те три дня, что нам еще оставалось вместе путешествовать, и во время встреч в Париже.

6

> Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление?

На другое утро мы мчались по автостраде, поливаемые сверху дождем, а с боков грязной водой из-под колес всевозможных видов транспорта, как обгоняемых, так и обгоняющих, и примерно к часу дня благополучно достигли Вероны. Там мы долго ползали по улицам, отыскивая место, где можно оставить машину, сквозь сетку дождя я разглядывала какие-то удивительные крепостные стены и мосты, что-то много там было мостов, и все мне не верилось, что я

в Вероне, что этот город Ромео и Джульетты есть, существует, и я в нем... Наконец нашли стоянку на виа Поите Нуова... В Болонье, где мы отдыхали и ели на пути между Пистойей и Падуей, мы чуть не час потратили на поиски машины, забыв, на какой именно улице ее оставили. На этот раз я запомнила не только название улицы, но и номер дома, близ которого мы поставили автомобиль, что, между прочим, не помешало потом нам его разыскивать, но тут уж, зная адрес, можно было прибегать к помощи прохожих.

Центр города, куда мы направили стопы, оказался довольно далеко от улицы Нового моста, но дождь смилостивился, перестал, мы шагали через лужи, но хотя бы сверху не поливало, и, слегка поплутав, пройдя через какой-то прекрасный церковный двор, очутились на площади Данте. Была она замкнута со всех сторон старыми домами, а в нижних этажах кафе, рестораны, магазины, на самой же площади расставили свои лотки рыночные торговцы, торговавшие многим — фрукты, овощи, ткани, посуда... Надо всем этим — высоченная мраморная фигура Данте. Резко очерченное тонкогубое лицо, а на голове, вернее, на повязке, голову покрывающей (никогда не приходилось мне видеть портретов простоволосого Данте), сидели два голубя так неподвижно, что я приняла их за часть скульптуры, пока один из них не взмыл в небо. Не тут ли происходила вся эта суматоха с дуэлями, когда сторонники Монтекки обнажили шпаги против друзей и слуг Капулетти, не тут ли был смертельно ранен Меркуццио, из последних сил великолепно танцевавший, — незабываемая прокофьевская музыка, незабываемый танец! Балет Большого театра с Улановой и Коренем давно вытеснил из памяти моей шекспировский текст.

— Прежде всего надо поесть, — говорил мой друг. — И выпить! Вы очень промокли?

Я сказала, что не очень. Я солгала. По дороге на площадь, на что-то заглядевшись, ступила в глубокую лужу и промочила ноги, да так, что туфли мои при каждом шаге издавали

чавкающие звуки. Но стоило бы мне в промоченных ногах сознаться, как мой спутник немедленно повлек бы меня в магазин покупать новые туфли. Можно было вернуться к машине, где наш багаж, переобуться, но я знала, что мой друг на это не согласится, — далеко, да и к чему мокрыми ногами отшагивать такое расстояние, не проще ли магазин? Он где-нибудь рядом. И в самом деле проще. И деньги на покупку у меня были, но я знала, что этот человек не позволит мне истратить ни лиры, во Флоренции я мигнуть не успела, как за платье было уплачено, это неловко в конце-то концов, вот я и промолчала.

В уютнейшем ресторане, где из окна второго этажа мы видели мраморные складки одежды на бедрах Данте, я отправилась в дамскую комнату, где, разувшись, вылила накопившуюся в туфлях воду. Вернувшись к нашему столику, застала моего друга чем-то очень довольного, выражение лица радостное и немного хитрое. На столе перед его и моим приборами стояли два небольших сосуда из непрозрачного матового стекла, похожие на аптекарские мензурки, однако с ручками, как у кувшинов. Сосуды были чем-то до краев наполнены.

— Ну-ка, догадайтесь, что это?

— Не знаю.

— Не знаете? — (Торжествующе.) — Лучшее на свете лекарство от простуды! — (И еще более торжественно, тоном конферансье, объявляющим имя знаменитости.) —РУССКАЯ ВОДКА!

Я выразила восторг, которого от меня ждали, и мы чокнулись мензурками.

Старые кварталы городка Бергамо расположены на высоком холме (какой вид с него открывался!), мы туда въехали, когда солнце склонялось к западу, нас ждали два номера в старинном чудесном отеле «Золотой ягненок» (он и был изображен на потускневшей вывеске, сохранившейся, быть может, с прошлых веков), и можно было сразу принять горячий

душ, переодеться, переобуться и побродить по улицам, где не было видно туристов, вокруг звучал итальянский напевный говор, и мы заходили в местный храм любоваться на плафоны, фрески и золотую мозаику, а позже, после ужина в «Ягненке», снова вышли уже в темноту, прохожие были редки, но везде группы молодежи (смех, звуки гитары), и, зайдя в очередной церковный двор, постояли там, любуясь на величественный черный силуэт колокольни, четко рисовавшийся на темно-лиловом небе.

Внезапно раздались густые и мерные удары колокола. Не знаю, почему он звонил (время было позднее), по ком он звонил, но он — звонил. «Вы помните Сан-Джиминьяно? Как там звонят колокола!» Харбин, детство, молодое лицо матери. Как бы она радовалась, что я побывала в ее любимой Италии! «То, что ты видела, — говорила мать, — это всегда с тобой, этого отнять у тебя никто не сможет». А ведь я много чего повидала за свою пеструю, сложную, трудную, а в общем — хорошую жизнь! Удивительные люди, люди, которым я всем обязана (кем бы я была без них?), встретились на моем пути. «И все они умерли, умерли, умерли».

Ну, а этот вполне живой, рядом со мной сейчас стоящий человек, нелепый и добрый, нередко, прости, господи, меня раздражающий, ему-то разве я малым обязана? Тратит на меня свои деньги, свой досуг, а главное — свои силы, которых у него осталось совсем не так уж много...

Колокол смолк, мы двинулись идти в гостиницу, мне очень хотелось сказать моему другу какие-то ласковые слова, слова не придумывались, да и вряд ли я была способна что-то произнести: растрогалась до слез. И я просто взяла его под руку, а он воспринял это душевное движение как поиски опоры и осведомился — не болит ли у меня нога? Я промычала отрицательно.

Этот внезапный приступ чувствительности объяснялся, думаю, некоторой ослабленностью организма — начинало сказываться длительное пребывание в мокрой обуви. На следующий день я ощутила то, что врачи именуют «дискомфортом», еще

хуже было на третий, а приехав в Париж, слегла с температурой.

Утром мы покинули чудесный городок Бергамо, направляясь к Монте Бианко, Белой Горе, или, попросту говоря, к Монблану, — слово, известное всем нам с детства. Город Милан находился от нашего пути несколько в стороне, по словам моего друга, этот город особого туристического интереса собой не представляет: очень современен, забит автомобилями, но — Собор, Собор! Я знала, что нам предстоит проехать двенадцать километров по туннелю через Монблан, знала, что туннели, пусть хорошо освещенные и не столь длинные, нелегко даются моему другу с его слабым зрением. Впереди нас ожидало трудное испытание, к нему надо прийти с более или менее свежими силами, не стоит растрачивать их на улицы Милана. Вот я и твердила моему другу за утренним кофе в «Золотом ягненке», что прекрасно проживу без Милана и его собора, твердила, вспоминая про себя чеховское: «Жили мы без моста!» Мой друг настаивал, но не так чтобы очень сильно: его явно пугала мысль о транспортных заторах и пробках на улицах Милана, да еще в жару — день снова выдался ясный.

Немного попетляв, мы выехали туда, куда выехать следовало, помчались, и вскоре возникли стрелки-указатели с надписью «Монте Бианко», местность холмистая, слева и справа мелькали виды один прекраснее другого, а затем на безоблачном голубом небе обрисовалась снежная шапка Монблана, казалось — он рядом, впечатление обманчивое, ехали еще долго, но белая шапка не покидала нас, куда бы ни сворачивали, а она тут как тут... Я болтала, восхищаясь красотой пейзажей, громко радовалась тому, что мы миновали полосу дождей («Видите, как нам все-таки везет!»), словом, всячески развлекала и отвлекала моего друга, лицо которого по мере приближения к туннелю становилось все напряженнее.

Болтала, отвлекала, ободряла, а что-то беспокоило, что-то щемило... Страх перед туннелем? И это. Но не только это... Мчимся. Все ближе Монблан, все ближе граница, убегает из-под колес Италия — неотвратимо, невозвратимо. Явилась,

как мимолетное виденье, и вот уже становится воспоминанием. Италия. Что же я вспомню о тебе? Так много всего я видела, а что увидела? Пробеги по автострадам, пробежки по музеям и туристы, туристы, туристы — могла ли я толком тебя разглядеть, Италия? Но, быть может, другая на моем месте...

Все исчезло, занавес задернулся, ни солнца, ни неба, черная ночь, мы в туннеле, прости, Италия!

Вот он, этот коридор, прорубленный человеком, не ждущим милостей от природы, сквозь эту гордую земную возвышенность, небось веками мнившую себя недоступной и неприступной, — о человеческий гений, о труд, о цивилизация!

Черная ночь — это лишь в первые секунды, это после яркого солнца, туннель освещен, глаз привыкает, а все же, все же... Ехали молча. Справа от меня бежала стена, на ней время от времени рисовались контуры телефонной трубки (снимешь ее и — добрый голос), не дай и не приведи боже застрять в туннеле, не думать об этом, все обойдется, ведь машина, кажется, в порядке, доедем, доедем, но как он долог, этот путь, как длинна преисподняя, а мой шофер, мой спутник, мой друг молчит, других очков не требует (держу наготове), внезапно почудилось, что справа нас кто-то обгоняет, чего быть не могло, ехали у самой стены, и все же мне мерещилась рядом мчащаяся машина, а может, то была тень от нашей, а может, это был вообще обман уже утомившегося зрения. Интересно. Если у меня уже утомилось зрение, то как обстоит дело у моего шофера, спутника и друга? Не думать. Перестать глядеть на стену. Глядеть вперед. Еще лучше вообще никуда не глядеть, а закрыть глаза.

До чего же мил божий свет, когда попадаешь в него из туннеля! Как симпатичны показались мне пограничники, которые и осматривать нас не стали, рукой махнули — поезжайте, мол! — и вот мы уже катим по дорогам Франции, и тоже холмистая местность, и тоже прекрасные виды. А совсем рядом, рукой подать,— Швейцария. Стрелки-указатели утверждали: стоит свернуть туда-то и проехать какие-то пу-

стяки — очутишься в Женеве. Это мне почему-то казалось очень смешно, я воображала про себя, как мы заблудились, что с нами нередко случалось, и заехали в Швейцарию. Мала Европа, мила и мала!

Ехали весь день, отдыхали и ели в каком-то славном городке, затем остановились у бензоколонки и не сразу заметили (о чем-то болтали), что никто не подбегает к нашему автомобилю, не вытирает лобовое стекло, не интересуется уровнем масла, не хватает шланг, чтобы залить бензин, — никакого внимания не обращали на нас работники данной станции, скрывавшиеся, видимо, в помещении, ибо на территории ни души. Мы бы так долго сидели, если б мой взгляд не упал случайно на вывеску: «Селфсервис» (самообслуживание).

Мой спутник был возмущен безмерно. Это что же, самому выходить из машины, самому брать шланг, самому...

— Безобразие! Черт знает что! Едем дальше, найдем другую, нормальную станцию!

— А у нас дома, — кротко сказала я, — только такие бензозаправочные станции и есть.

— Какие такие?

— А чтоб все самому.

Промолчал недовольно.

К вечеру достигли курортного городка Нантуа на берегу озера, садилось солнце, озеро было розовым, утопали в зелени белые дома, и все кругом было, видимо, очень красиво, но я смутно это воспринимала, мечтала об отеле, о горячей ванне, ах, найдем ли мы тут пристанище?

Нашли, и без труда. Шли самые последние дни сентября, сезон здесь кончился, вода в озере, верно, уж холодная, в первой же гостинице нас ласково встретил сам хозяин («патрон») и сам же выскочил к автомобилю, чтобы внести наши чемоданы и втащить их на второй этаж. Кроме «патрона», молоденькой горничной и двух официанток в ресторане, другого персонала я тут не заметила, не считая, разуме-

ется, невидимых работников кухни. Была тут еще девочка лет десяти (хозяйская дочка), бегавшая с мячом и придававшая еще больше уюта этой небольшой, чистенькой, уютной гостинице. Было очень тихо, безлюдно, казалось, других постояльцев тут нет, в окно моего номера виднелось холодное озеро, что было не так уж приятно: меня бил легкий озноб. Я полежала в горячей ванне, а затем с радостью улеглась бы в постель, но пришлось одеться, пришлось идти вниз, в ресторан гостиницы, где было договорено в восемь часов встретиться с моим другом. Он еще в пути предвкушал, как мы славно поедим вечерком и какого вина выпьем, сообщил, что данный район славится как-то по-особому приготовленной уткой. Гурман! Я и сама не прочь вкусно поесть, но в тот вечер мысль о хорошо приготовленной утке не доставляла никакого удовольствия (полежать бы!), однако не хотелось огорчать моего друга в этот последний вечер нашего путешествия.

А он уже сидел за столом чистенький, прибранный, в сером костюме и водолазке и, держа перед собой карту вин, отдавал распоряжения официантке. На лице довольство, покой, даже — гордость. Позади нелегкое путешествие — толпы в музеях, жара и дожди, транспортные пробки, бешеные автострады и, наконец, дьявольский туннель, — все преодолено, со всем он, человек немолодой и нездоровый, блистательно справился, оба мы живы, оба целы и завтра, даст бог, будем в Париже. Попросил извинения, что заказал ужин, не дожидаясь меня, а нам уже катили столик, заставленный огромным количеством закусок (больше половины вскоре укатили нетронутыми!), а затем явилась по-особому приготовленная утка, сопровождаемая разными гарнирами и соусами. На моей тарелке очутилась гигантская порция, я ее и будучи здоровой не одолела бы. Обидно видеть, когда напрасно тратится великолепная еда (всегда думаешь, что в эти минуты где-то кто-то непременно голодает!), что я и высказала моему другу, заодно поинтересовавшись: на кого он рассчитывал, о чем он думал, заказывая этот лукуллов пир?

Оказывается, он думал об интересах хозяина гостиницы, этого милейшего человека...

— Взгляните, голубчик, в зале, кроме нас, заняты всего два столика, сезон кончился, надо же как-то поддержать этот отель!

Хозяин, признательный за поддержку отеля, на следующее утро нас грузил, провожал, подробно растолковывал, как выехать из Нантуа, на ведущую в Париж автостраду, и даже план начертил, кланялась, стоя на пороге, горничная, махала рукой девочка, мы отъехали, мелькнуло озеро в утреннем освещении, побежали мимо дома и деревья, мы выехали из Нантуа и сразу же заехали не туда, останавливались, изучали начертанный признательным хозяином план, разворачивались, путались, но наконец попали на нужную дорогу, оповестившую нас указателями, что она-то и выведет на автостраду.

Тут нас ожидало небольшое дорожное приключение. Мы проезжали через крошечный, из одной лишь улицы состоявший и совершенно безлюдный городишко, когда раздался пронзительный, всем шоферам горестно знакомый, в их сердцах тревожно отдающийся свист, свист представителя закона. Где он был раньше, этот представитель, — неизвестно, дорога казалась совершенно пустой, но откуда-то он возник (весь темно-синий, в ремнях и в кепи) и жестом пригласил моего спутника выйти из машины. Тот вышел, его отвели в сторонку, и я через стекло машины наблюдала за двумя фигурами, друг против друга стоявшими, о чем-то говорившими, а слов не улавливала, в чем обвиняли шофера — не понимала.

Мой друг пытается оправдаться (все мы пытаемся!), лицо испуганно-виноватое, улыбка заискивающая — все мы слегка заискиваем, очутившись в подобном положении, но мне чудилось, что друг мой держит себя уж слишком сервильно...

Боже мой! Его уводят куда-то! Куда? Вглядевшись, увидела бок фургона, полуприкрытый деревьями и кустами, ага,

здесь полицейский пост! Минут десять, если не больше, я ждала моего бедного друга, наконец он появился, сел за руль.

В чем же дело? Превышение скорости в населенном пункте.

— Всего-то! А я уж думала, что нас спутали с какими-нибудь разыскиваемыми преступниками. А почему держали так долго?

— Протокол. Ну, и еще разные бумаги...

— Значит — штраф? И сколько?

— Пока не знаю. Пришлют бумагу на мой адрес в Париж.

— Ну так — ничего страшного! Чего ж вы так испугались?

— Голубчик! Они по первым словам моим понимают, что я — иностранец. Ну это... Ну, неприятно как-то...

— Да какой вы иностранец! Вы уже сто лет французский гражданин!

Промолчал.

А местность продолжала быть холмистой, и прекрасные виды бежали мимо. На юге Франции куда красивее, чем в суровой мопассановской Нормандии. Иностранец! Если и тут он иностранец, то где он не иностранец? А вообще, что это значит: «отечество»? Только поскромнее, без громких слов! Земля? Культура? Язык?

Познабливало, видимо, повышалась температура, не страшно, путешествие кончается, в Париже отлежусь у сестры, повезло, что не захворала раньше, а как хорошо кругом, я думала, во Франции не так уж много лесов, а оказывается — много, я думала, нет просторов, а оказывается, они есть, благословляю вас, леса, долины, горы, воды, а ведь она прекрасна, земля Франции... Иностранец! Какая дичь! «Но где мой дом и где рассудок мой?» Мысли путались...

Мое состояние было замечено и встревожило моего спутника, я успокаивала, пустяки, обычная простуда, мы где-то останавливались, искали аптеку, покупали аспирин, позже

опять останавливались, чтобы шофер мог отдохнуть и поесть (я в тот день питалась исключительно аспирином и чаем), снова ехали...

Кончились леса и долины, автострада стала все чаще разветвляться, все чаще стали мелькать стрелки-указатели с названиями городов, мы же держались той, на которой написано: «ПАРИЖ», и вскоре стало угадываться его близкое присутствие. Задымили справа и слева высоченные трубы, рисовались на фоне неба очертания гигантских промышленных сооружений, мы подъезжаем, мы — въехали.

Мы въехали в город, имеющий на нас, русских, «такое сильное волшебное, призывное» действие. Мой друг попал сюда мальчиком и дожил до старости: учился, женился, похоронил родителей, трудился. И плоды этих трудов вполне зримы: ряд парижских зданий красуются, упираясь в небо непокорными главами, благодаря его умению, его знаниям, его таланту. Но к делу рук своих он относится холодно: «Терпеть не могу эти современные коробки, а только их и приходится строить!» Вся жизнь его в этом городе, который он любит, знает, как собственную ладонь, и все же считает себя в нем — иностранцем! Но если не здесь, то где его дом? Что ж, оно и в самом деле существует — это химическое соединение человеческого духа с родной землей, от которой не каждому удается оторваться?

Вот она показалась, проклинаемая когда-то Мопассаном (и не им одним!) Эйфелева башня, отовсюду, как Монблан, видная, все проклятья презревшая, преодолевшая, все победившая, на всех значках и сувенирах изображаемая, ставшая едва ли не символом Парижа.

Кончилось наше путешествие.

Я больше никогда не увижу Италии — чудесам не свойственно повторяться,— я виновата перед ней, не смогла, не сумела оценить ее сокровища, но хотя бы прикоснулась к ней, ходила по ее земле, видела ее древние камни.

Спасибо моему старому другу.

УРОКИ ГЕОГРАФИИ

1

Гости съезжались на дачу.

Слово «дача» здесь, впрочем, неуместно. «Дача» — бревенчатый дом, клумбы, много берез и тихая речка поблизости, и непременно тоже поблизости — лес, где ранними предосенними утрами бродят грибники в резиновых сапогах, а выйдешь на опушку — поле, размахнувшееся до горизонта... Тут же речь пойдет не о русской даче, а о французской вилле, и совсем будут иные пейзажи, но гости-то и в самом деле съезжались, так стоит ли из-за одного слова отказываться от классического начала? Гениям и тем это начало помогало, мне ли им пренебречь?

Сегодня вечером мы ждем первых гостей: тетю Эдме и дядю Поля. Они живут в местечке Сан Рафаэль, что на Лазурном берегу, прибудут поездом в город Нант, там их встретит на автомобиле Жиль, муж моей племянницы Вероники, и доставит сюда, на эту прекрасную виллу.

Дети (одному семь, другому три) уложены спать, но затихают не сразу. Сразу они не затихают никогда. Выбегают из детской и требуют избавить их от залетевшего комара, или просят пить, или... Желания их разнообразны. Но вот успокоились, затихли, минут десять их не слышно, кажется, уснули, но стоит в это поверить, как вновь появляется младший, эдакий блондинчик в ночном одеянии голубого цвета. Крики взрослых: «Опять он явился!», «Что ему, господи, надо?» А ему, оказывается, надо всех перецеловать. Еще раз со всеми проститься. Без этого он не заснет. Сердитый тон взрослых меняется на ласково-ворчливый: «Ладно, ладно, ну поцеловались — и будет! Ну — иди, иди!» А он, шлепая босыми ножонками, всех обходит, обнимает, чмокает своими розовыми губками, а щечки его атласно нежны, а светлые

волосики приглажены после душа, и до чего ж приятно пахнет его маленькое тело, и можно ли сердиться на этого ангела?

Десятый час, темно. Только что завел машину и отъехал Жиль, мы с Вероникой сидим в садовых креслах, перед нами стена дома и настежь распахнутая дверь в освещенную столовую, за нами живая изгородь кустов, закрывающая забор и ограждающая от взглядов прохожих; от их голосов, конечно, защиты нет, но в этот час прохожих мало. Редко-редко звук шагов по асфальту, обрывки французских фраз, как это странно — жить в окружении французского языка, каждый раз надо заново привыкать... Голоса и шаги умолкают, вновь тишина. Маленькие ангелы выскакивали из детской уже раз шесть, и только что по требованию младшего был проведен повторный поцелуйный обряд (отец еще, к счастью, не уехал, его отсутствие вызвало бы вопросы и дополнительные осложнения). Затихли. Появляется надежда — что до утра. Дети, кто спорит, это прекрасно. Но как хорошо, когда они спят!

Ночь тиха, не шевелятся верхушки деревьев. Хотелось бы для красоты слога добавить, что слышен мерный величественный шум океана, напоминающий о вечности и о бренности всего земного, но нет, не слышен! Он, океан, рядом, ходу до него пять-шесть минут, но нас разделяет множество вилл и множество автомобилей, выстроившихся вдоль обочин. Иногда доносится звук заводимого мотора, кто-то куда-то собрался ехать в этот поздний час. В казино, быть может? Вертящееся колесо рулетки, бледные лица, лихорадочно блестящие глаза, обнаженные плечи женщин, кучки золота на зеленом сукне стола... Но это — из романов. Золото на столы в наше время не бросают. Насчет обнаженных плеч — точно не знаю. Знаю лишь, что эта грешная жизнь начинается поздно, двери казино распахиваются чуть не в полночь...

Курим. Наслаждаемся сравнительной тишиной, ласковым теплом вечера, радуемся этому дому, этой вилле, мы сюда

въехали всего два дня назад, еще не привыкли к ее удобствам, к ее просторам. Есть куда разместить гостей. Вероника давно мечтала побыть хоть ненадолго хозяйкой большого дома, и чтоб у нее по очереди гостили родственники и друзья. И встретятся наконец, и поживут бок о бок две ее тетки, французская и русская: тетя Эдме и я. Тридцать шесть лет знаем о существовании друг друга. Не виделись никогда. Найдем ли общий язык?

Она провела большую часть жизни в Оране, Алжире, там выросла, там замуж вышла. Много чего с Алжиром происходило: войны, мятежи, бурный конец пятидесятых годов, вторичный приход к власти де Голля, еще более бурное начало шестидесятых, и выбита почва из-под ног алжирских французов, там укренившихся, пустивших корни, разбогатевших, — все это меняло, сотрясало жизнь тети Эдме и ее семьи, меня же столь не касалось, как если бы происходило на другой планете. Не касалось. Не интересовало. Спроси меня, где находится Алжир, я бы... Ну что в Африке, где-то в Африке, это я бы ответила, но в какой именно части Африки? Что в северной, самой северной, на берегу Средиземного моря, — это уж мне пришлось в атлас заглянуть, чтобы ответить... Как возмущался Александр Александрович моими слабыми познаниями в географии!

Ну, а ее, тетю Эдме, касался ли Шанхай моей молодости, с его войнами, бедами, эмигрантской унизительной неустроенностью, японским господством, чудовищной послевоенной инфляцией, чудовищной спекуляцией, приходом американцев? Моя ли «скачка» была труднее? Ее ли? Кто знает.

Обе мы ныне стары. Она и ее муж (адвокат на пенсии) живут сейчас в Сан Рафаэле. Ее заботы: дом, кухня, сад. Я — москвичка и все пытаюсь писать. Инопланетянки. Найдем ли общий...

Да вот оно, наше общее: эта молодая, красивая, рядом со мной сейчас сидящая женщина и два маленьких ангела, на-

конец-то угомонившиеся, наши с тетей Эдме внучатые племянники...

Сидим. Курим. Обмениваемся репликами. Интересно будет познакомиться с тетей Эдме. Это произношу я. И добавляю: «Забавно! Нет, до чего же забавно!» Другого слова не нашла (хороши забавы!), но Вероника поняла меня, о, мы с ней давно, двадцать лет понимаем друг друга, с того марта 1961 года, когда она девочкой-подростком вместе с матерью и маленькой сестрой впервые приехала в Москву, впервые увидела свою бабушку и тетку, помню этот застенчивый интерес, с каким глядели на меня ее умные глазенки, и вопрос сестры: «Тебе нравится твоя русская семья?» Эта семья Веронике нравилась. Она стала к нам ездить почти каждый год, совершенствуя свой русский язык, сначала как студентка, затем как преподавательница. «Из этой девочки выйдет толк!» — говорил Александр Александрович, очень Веронику полюбивший... Толк из нее вышел. Ныне она профессор Сорбонны, дядя Саша не дожил до этого...

Сидим, курим. Чувствую, что предстоящее свидание двух теток с разных планет беспокоит Веронику. Гладко ли все обойдется, не возникнет ли взаимной неприязни, прячущейся под любезными улыбками, но вслух мы говорим о другом... Восхищаемся виллой. Тете Эдме и дяде Полю непременно понравится отведенная им комната на втором этаже...

Здешние дома, именуемые виллами, разнообразны. Наша двухэтажная, таких большинство, есть и трехэтажные, много одноэтажных. Различны их стили, рожденные фантазией и средствами владельцев. Приземистые, крепкие, немного хмурые дома, видимо, старобретонского типа, затем имитации средневековых замков (грубо отесанный камень, островерхие башни), испанские гациэнды с плоскими крышами, дома-модерн (ничего лишнего, острые углы, сверкающая белизна, много стекла), ну и уютные, приветливые, обсаженные глициниями и розами английского вида коттеджи, и, если бы мимо них не мелькали автомобили, могло показаться, что

там живут герои Диккенса, преодолевшие к концу романа все свои невзгоды, и какая-нибудь прелестная крошка Доррит сидит за пяльцами у окна.

При каждой вилле гараж. Далеко не при каждой сад. Просторны дома. Малы участки. В прошлом году у виллы, снятой моими родственниками, сада не было. Был пятачок земли (куренка не выпустишь!), весь засыпанный рыжей галькой, ни травки, ни деревца. Ну, стояли там две небольшие пальмы, но эти экзотические растения с их шерстяными ногами и жестяными листьями я как-то не мыслю деревьями... Одна из дачных радостей — уединенное кресло в саду, в руках книга, под ногами трава, ну, а над головой чтоб, «вечно зеленая, старый дуб склонялся и шумел». Но там ничего этого не было, и я со своей книгой таскалась в маленький парк при отеле «Рояль», и земля там была, и трава, и деревья (искусно подстриженные, но уцелевшая листва все-таки шелестела), а вот уединения никакого! Мимо ходили, рядом садились — кипела жизнь. Я шла на пляж, усаживалась под тент, моими родственниками оплаченный, в один из трех оплаченных шезлонгов, под ногами песок, дубов, конечно, нет, зато перед глазами море, но жизнь тут кипит еще бурнее, чем в парке... Смельчаки, осваивавшие одиночное катание на парусных досках (винд-серфинг — модный нынче спорт), с хохотом валились в воду, лица, не имевшие оплаченных шезлонгов, сидели и лежали на разостланных полотенцах, громко переговариваясь; шумно играли в песке дети, а за спиной, по набережной мчались машины, их бесконечные потоки...

Нет, не вся набережная отдана в их распоряжение. Миновав отель «Рояль» и почти к нему примыкающее здание казино, несколько метров не доехав до самого тут роскошного отеля «Эрмитаж» — автомобиль упрется в знак запрета. Постояльцы «Эрмитажа» как раз вот и слышат шум океана и почти не слышат автомобилей, и обитатели вилл, тянущихся по набережной за отелем, тоже избавлены от грохота цивилизации. Виллы на этой заповедной части набережной

очень дороги: тишина драгоценна в наше время и все растет в цене...

Нам в этом августе повезло. При нашей вилле сад, прекрасно запущенный сад, забота садовников не коснулась его кустов, его деревьев — растут, как хотят. Сосны, липы, кусты орешника и еще какие-то мощные стволы с мощными кронами (не удосужились узнать их название!), сад обегает вокруг дома, ограда утонула в густых зарослях, и кажется, что сад бесконечен, и я уже облюбовала местечко для уединенного кресла, а облюбовывая, наткнулась на молодую березку, скромно притаившуюся в самом дальнем от дома уголке. Хотелось спросить ее: что она тут делает?

Лишь третьего дня мы сюда приехали. Вместе с нами, сев в автомобили и переполнив поезда, выехал весь Париж — такое, во всяком случае, создалось впечатление. Французы люди организованные. Дружно едят в одно и то же время — святой полуденный час второго завтрака, улицы заметно пустеют. Дружно избрали для отдыха один и тот же месяц — август,— город заметно пустеет. Всеобщий одновременный выезд не у всех проходит благополучно. Легче тем, кто едет на север (как мы в Бретань), что же касается дорог, ведущих на юг... О том, что на этих дорогах происходило, нам поведают газеты. И местная курортная, и столичные два дня подряд будут полны описанием дорожных мытарств автомобилистов...

За нашими спинами шуршат резиной по асфальту редкие в этот час машины, мы прислушиваемся, вот одна затормозила — насторожились, привстали,— нет, это не у нас, это у соседнего дома, снова сели, еще машина... А это уж точно у нас, хлопанье дверок, голоса, вскакиваем, Вероника бежит встречать гостей, я остаюсь на месте. Радостные восклицания, французский говор, шаги по каменным ступенькам, ведущим с мостовой к нашей калитке, и вот передо мной седая дама в очках, небольшого роста, крепко скроенная, с энергичным рукопожатием, излучающая бодрость, деловитость,— это материализовалась спустя десятилетия тетя Эдме... Следом сту-

пает старый господин, он худ и длинен, раза в полтора выше ростом жены, очки, выражение лица детски-кроткое, известно ли мне было, что его зовут «Поль» и что он адвокат? Забыла я это или не знала никогда?

Стол накрыт, приезжих будут кормить, оживленный говор, да, да, поезда переполнены, путь долог, Поль, возьми еще салату, Поль! Как он глух, боже мой! Дети здоровы? Где? За этой дверью, а мы тут кричим! Ничего, ничего (это врываюсь в разговор я), уж если они заснули — их пушками не разбудишь, и взгляд на меня тети Эдме удивленно-неодобрительный. Быть может, выражение «пушками не разбудишь» их языку непривычно, я перевела дословно, и тетю Эдме удивляет странность моей лексики и не нравится, что слово «пушки» применено к ангельскому сну двух ее внучатых племянников. Застольная беседа вскипает вновь, перешла на детей, родители рассказывают о шалостях младшего, об уме и любознательности старшего (умиленные улыбки, я уж не встреваю), а тетя Эдме все ко мне приглядывается, иногда мы встречаемся глазами и тут же, любезно улыбнувшись, отворачиваемся, я воображала ее совсем другой... Какой же? Да нет, если откровенно, то никак не воображала, при звуке ее имени рисовалось нечто туманно-бесформенное, никогда я не задерживалась мыслями на ней. Ни ее себе не представляла, ни города, где она провела большую часть своей жизни. Оран, Оран — звук пустой, да существует ли на земле это место? Оно слегка обрисовалось во время чтения «Чумы», вот, оказывается, где живет, где жила родня Вероники: город-порт, лежащий «в виде улитки на плоскогорье», влажная весенняя жара, летний мучительный зной, шквальные ветра, быстротечные сумерки, ливневые дожди, мало зелени... Вот такое книжное представление об этом невеселом месте возникло у меня после чтения Камю...

Вероника уносит посуду на кухню, Жиль тащит чемоданы по деревянной лестнице наверх, дядя Поль рвется ему помочь, мы с тетей Эдме одни за столом. Пестренькое, простенькое летнее платье, седые, слегка вьющиеся волосы заче-

саны гладко, никакой косметики, она не из молодящихся старых дам, она — какая есть! — откровенно седа, а была брюнеткой, черные брови, карие глаза живые, внимательные, и что-то в этом взгляде, в складке тонких губ — твердое, бескомпромиссное. Молчим. Что бы ей сказать эдакое приятно-светское? Не успеваю. Она — мне:

— У вашей матери был удивительный почерк, такого я ни у кого не встречала: острые, длинные, четкие буквы. И прекрасный французский язык. Она нам и про вас писала...

Вернулась Вероника, сбежал сверху Жиль, нам предлагают идти на второй этаж (там наши спальни, три двери, выходящие в гостиную), мы поднимаемся, мы идем, мама ей писала, когда же, когда? Той осенью сорок пятого года, когда и мы, и они (видимо, одновременно и с таким опозданием!) узнали о гибели Пьера и появлении на свет Вероники? Нет, вряд ли тогда. Позже, позже... Тогда, думаю, когда моя сестра привезла семье своего убитого мужа десятимесячную Веронику и оставила ее на год, на полтора (ничего-то я толком не знаю!) французской бабушке и французской тете, обе в глубоком трауре по сыну и брату, обе обожали его маленькую дочь и баловали невозможно, это мне сестра много лет спустя рассказывала — что баловали невозможно! Вот, вероятно, мама и писала им в Оран, когда там жила Вероника, а маме посылали фотографии ее внучки, как мама мечтала ее увидеть и увидела — но сколько же лет спустя! До сих пор у меня перед глазами фотография: очень маленькая, пышно разодетая девочка (банты, оборки, шляпка) рыдает над валяющейся у ее ног очень большой и тоже пышно разодетой куклой, рядом ствол дерева и перспектива улицы, всегда думала, что улица парижская, теперь понимаю — нет, оранская, как мало я тогда в это вникала, конец сороковых годов, близился мой отъезд из Шанхая...

— Какая чудесная комната,— сказала тетя Эдме.— И огромная!

— Пятьдесят метров,— брякнула я, очнувшись.

— Откуда вы знаете?

Я хотела сказать, что глаз у меня наметанный, да и как ему таким не быть, полжизни провела в снимаемых помещениях, но не знала, как по-французски «наметанный», упоминание же о моих случайных жилищах вообще неуместно, ибо нуждается в объяснениях и, значит, далеко заведет. И я пробормотала, что мне так кажется. Тетя Эдме согласилась: да, пожалуй, что-то в этом роде. После чего мы стали дружно восхищаться комнатой.

Она была красива, обжита и, несмотря на свои размеры, уютна. И глубокие удобные диваны и кресла, и низкий стол перед большим диваном (вглядевшись, видишь — это снятая с петель старая коричневая дверь на подставках), и лампы, и камин, и встроенные в угол книжные полки — не полированные, не застекленные, но забитые книгами, читаемыми, потрепанными,— все было скромно, лишено претензий, направлено только на удобство здесь живущих. Ни один предмет не настаивал на том, чтобы им любовались, им похвалялись и особо осторожно с ним обращались, трясясь над его лакированными боками и поверхностями. Диваны, кресла, столы, лампы, полки — свое место знали, свое назначение (служить человеку) понимали, от этого, быть может, комната казалась красивой... А в дневные часы, когда отдернешь шторы с окна и двух дверей (одна балконная, другая выходит на каменную лестницу, ведущую в сад), то за стеклами видишь деревья, видишь листву, и кажется, что комната украсилась тремя огромными зелеными картинами...

— Да тут целая библиотека! — воскликнула тетя Эдме.

— И превосходная! — отозвалась я, успевшая на этих полках пошарить и обнаружить там старинные словари и атласы, изданные в начале прошлого века. «Как хозяева не побоялись, что книги растащат!» — хотела я добавить, но вовремя удержалась и, простившись, пошла к себе, а гостей повели в их спальню, комнату с темно-вишневыми обоями, и мне было слышно (стена у нас общая), как гости комнату хвалили.

А у меня обои темно-голубые, на них синие с желтыми гребешками райские птицы и райские цветы с изумрудными листьями, старая удобная мебель — кровать-тахта, комод, секретер красного дерева с множеством ящичков и слегка покатой доской. Легко вообразить, как в начале века здесь писались надушенные записки, приглашения, поздравления, но вот пишущую машинку на эту доску не поставишь, мне же непременно требуется иметь при себе машинку (а вдруг придет в голову что-то гениальное, писать же рукой разучилась давно), и Жиль приволок мне из гостиной стол — красное дерево, сверху потертая замша мышиного цвета. Стол поставлен у окна, за окном сад, ничего, кроме сада, не видно, в комнату тянутся ветки орешника, а со стен, с пестрых обоев глядят на меня старые гравюры.

Придя к себе, я не сразу укладываюсь спать, я сажусь у стола боком к окну (а за ним ночь, кусты орешника), мне хочется упорядочить впечатления вечера, подумать о тете Эдме, о ее недавно скончавшейся девяностолетней матери, Вероникиной бабушке, о моей странной с ними связи, но мысли разбегаются, глаза бродят по комнате, задерживаются на тахте, на ее покрывале, в точности повторяющем цвет и рисунок обоев, и я некоторое время тупо удивляюсь тому, что людям удалось где-то достать ткань, ну совершенно такую же, как обои...

Пора ложиться спать.

2

Гости продолжали съезжаться.

На следующий день к нам прибыла Катя, дочь моей сестры от второго брака.

В том марте 1961 года, когда я после долгой разлуки встретилась с сестрой, Катя была восьмилетней девочкой, бойко болтавшей по-русски, прелестной и своеобычной...

Вот мы едем в автомобиле через Бородинский мост, сестра спрашивает, как этот мост называется, я отвечаю, добавив, да, да, в честь того самого сражения, вмешивается Катя: «Какое сражение?» — «А это где предки твоей мамы били предков твоего папы». Сестра засмеялась, Катя же примолкла, о чем-то задумалась, а через минуту объявила: «Бедный папа!»

Вот мы в Театре Образцова, утренник, дети, дети, очень много совсем маленьких трех- и четырехлетних, сосут леденцы на палочках, Кате, конечно, потребовался такой же леденец, на сцене спектакль из жизни медвежат, девочка-медвежонок падает в реку, мальчик-медвежонок ее вытаскивает, девочка пищит: «Мне холодно! Холодно!», маленькие зрители весело смеются, а Катя громко произносит: «Это не смешно! Это жалко!» Взволновалась, покраснела, в поисках сочувствия сжала мою руку липкой от леденца ладошкой, а я тогда впервые в ее детском лице увидела сходство с моей матерью.

С годами это сходство не исчезло, иногда оно незаметно, но вдруг в каких-то поворотах головы, в выражении лица проступает явственно, и мне странно узнавать черты матери в этой высокой, очень тоненькой, очень современной молодой женщине... Господи, чего она не проделывала за эти годы со своими волосами, отпускала ниже плеч, красила пряди так, что одни были темные, другие светлые, носила челку, зачесывала гладко, а этим августом, сохранив свой естественный цвет темной шатенки, явилась стриженная под мальчика. Это идет ей, а впрочем, ей все идет, любые прически, любые одежды... Моя мать, судя по ее молодым фотографиям, такой красоткой не была, но похожи, похожи! Тот же немного вздернутый нос и овал лица, но главное — что-то неуловимое, словами не определимое. Похожи. И до чего непохожи! Мать, в вечном окружении книг, бумаг, бесчисленных тетрадей, до последних дней жизни не утратившая привычки записывать свои мысли по поводу только что прочитанного, и Катя, окруженная портативными магнитофонами, мини-рациями, телеэкранами, те-

лефонами, Катя, чья профессия, боже мой, брокер! Работа, связанная с биржей, с повышением и падением акций, работа азартная, рискованная, требующая интуиции и я не знаю, чего еще, ибо говорю об этом очень приблизительно... Без телефонов брокер шагу не ступит, и к нам сюда, на виллу, раздавались звонки, просили Катю, на проводе лондонская контора, Катя брала трубку, лицо ее менялось, становилось озабоченным, иногда тревожным — что-то там не ладится? Но она, поймав мой взгляд, улыбается своей сияющей киноулыбкой, маскировочной утешительной улыбкой, все в порядке, не беспокойся! А я не верю.

Живет своей нервной, мне непонятной жизнью лондонская биржа, упали акции фирмы, выпускающей какао, а акции фирмы, выпускающей дверные ручки, поднялись, или наоборот, а может, что-то совсем другое выпускают эти фирмы, откуда мне знать? Могла ли я думать, что капризы каких-то акций меня коснутся? А — коснулись. Мне близка эта девочка, небезразлична ее судьба...

Она была замужем за англичанином, развелась, но осталась жить в Лондоне. К нам сюда приехала из французского города Ним, где провела одну из двух недель своего отпуска, играла там в теннис по шесть часов в день, именно там играет в теннис обеспеченная молодежь Западной Европы, значит, и Катя должна играть в теннис именно и только там.

Вид измученный, лицо серое, подурнела, ну зачем надо было махать ракеткой по шесть часов в день, да еще в эту жару? Тренер считает, что надо играть не меньше, если хочешь чего-то достигнуть. Ты что, в чемпионки готовишься? (Это говорит Вероника.) Нет, но я уже заплатила за шесть часов в день. Господи, она еще деньги платила за эти каторжные работы! — а это восклицаю я. Затем мы обе убеждаем Катю пожить здесь спокойно, спать ложиться рано, и никаких ресторанов, и никаких попыток проникнуть в казино — нам известна Катина страсть к азартным играм...

Дети бурно радуются появлению молодой тети. Они ее любят вполне бескорыстно, однако некоторая доля корысти к их радости все же примешана: тетя неизменно является с подарками, и с какими! Недремлющая игрушечная промышленность общества потребления дублирует для детей все новинки современной техники: и фотоаппараты, и магнитофоны, и мини-рации, и электронные наручные часы (ни заводить их не надо, ни стрелок на них нет). Очень стало оживленно после Катиного появления. Младший включил свой личный магнитофон (развеселое хоровое пение), старший бегает по саду, вооруженный мини-рацией («уоки-токи») — непременная принадлежность полиции, обмен информацией с любого расстояния. Второй парный аппаратик стоит на садовом столе перед домом, нам что-то сообщают, от нас требуют ответа — очень весело.

Мне всегда казалось, что не следует дарить детям свистки, барабаны, а также гармоники — о магнитофонах и прочих штуках не думала, не предвидела, что и их превратят в игрушки. Не лучше ли занять детское внимание чем-нибудь спокойным и развивающим сообразительность? Каких только «юных конструкторов» не выпускает бдительная игрушечная промышленность, с каждым годом эту продукцию совершенствуя. В доме покой и тишина, когда наши дети, сидя на полу, возводят дома, башни, строят корабли (от парусных до крейсеров и миноносцев), паровозы, самолеты, грузовики, контейнеровозы... Эти «юные конструкторы» — дары дедушек и бабушек, которые, как и я, против свистков, барабанов, мини-раций и магнитофонов. Но мы — поколение отживающее. Катя же — представитель иного племени.

Она и себе купила модную игрушку для взрослых — магнитофон с наушниками. Это еще зачем? Как зачем? Вещь необходимая. Едешь, к примеру, в поезде, летишь в самолете, вокруг шум, разговоры, а ты надел наушники и от всего отключился, погрузившись в мир музыки.

В Бетховена она погружается? В Моцарта? В Брамса? Или

в Шопена? Нет, конечно. Какие-нибудь модные сегодня «битлы» взвизгивают в ее наушники под дробь барабанов, но это не обсуждается, о вкусах не спорят, тут уж — кто что любит. Другое беспокоит нас с Вероникой. И погружение в мир музыки, и подарки детям денег стоят, и немалых, не миллионерша Катя ими швыряться, и работа у нее рискованная, но благоразумие чуждо этой широкой натуре. Французская бережливость — тем более. Зато русский размах налицо. Хочется верить, что он сочетается с американской деловитостью. Но — не знаю, не знаю!

Утром я слышу, как мурлыкает, напевая, за стеной дядя Поль — такая у него привычка. Затем топотание детских ног по деревянной лестнице и вопль: «А табль! А табль!» Нас зовут вниз, к столу. И в минувшем году маленький Коля брал на себя функции зазывалы-глашатая, но кричал так: «Ата! Ата!» Ведь было ему всего два года.

Хозяева уже внизу. Жиль успел съездить на рынок, Вероника — сварить кофе. Спуститься вниз предлагают нам троим: тете Эдме, дяде Полю и мне. Остальным спускаться не надо: их комнаты на первом этаже. Одна из них детская, в другой живет юная полька, студентка Агата, приехавшая с нами помогать хозяйке и присматривать за детьми, в третьей — Катя.

Случается, что мы — тетя Эдме, дядя Поль и я — одновременно выйдя из своих комнат, сталкиваемся в гостиной перед лестницей. Обмен приветствиями, затем чичиковско-маниловское топтание (мы с тетей Эдме уступаем друг другу дорогу), затем, слегка теснясь, спускаемся плечом к плечу, за нами журавлиными ногами шагает дядя Поль, напевая: тум-тум-тум-ра-ра-рам... Сошли. Здороваемся. Занимаем свои места, вынимаем из деревянных колец и кладем на колени цветные салфетки. Раскладывать их у приборов, помнить, какая чья,— обязанность старшего. Иногда он помогает Агате и стол накрывать. Бывает, что включается и младший, хватает из

буфета одну, а то сразу две тарелки, несет, мы замираем от ужаса, ощущение такое, будто следишь за канатоходцем, — приближается, приблизился, тарелки благополучно извлечены из этих маленьких рук, ну, пронесло, ведь тарелки чужие, вилла сдается и с мебелью, и с посудой.

Не будите Катю! Человек, перенесший каторжные работы в городе Ним, нуждается в отдыхе! Но Катя хоть с опозданием, но является. Все в сборе.

На одном конце большого овального стола, поближе к кухонной двери, Вероника, на противоположном — я. По бокам все остальные. Слева от меня Жиль. Справа дядя Поль. Как он учтив, как он заботится обо мне, своей соседке! Спасибо, я уже брала сахар, себе возьмите! Да нет, я уже... Позвольте вам положить... Не беспокойтесь, ради бога!.. Да, пожалуйста... Нет, благодарю вас... Спасибо, не хочу. НЕ ХОЧУ! (Он глуховат, дядя Поль!)

Погруженные в эти реверансы, мы не сразу поняли, что случилось на другом конце стола, почему рыдает Коля... Так и есть. За чем-то потянулся, что-то опрокинул. Его ругают, им недовольны. Он плохо переносит недовольство окружающих. Он за мир, за дружбу, за любовь. Голубые глаза наполняются влагой, губы принимают форму трапеции, и вот он уже рыдает, его просят уйти в детскую и рыдать там, в ответ он рыдает еще пуще и произносит: «Que je suis malheureux!» (Как я несчастен!) Вчера за обедом это заявление вызвало общий смех, Коля нашу реакцию запомнил, взял на вооружение, и сегодня эти слова повторяет, кося, несмотря на рыданья, хитрым глазом (актерская натура!), но мы не поддаемся, храним каменные лица, смеется лишь Катя, она это слышит впервые.

Вероника говорит с детьми только по-русски. Пусть они отвечают ей по-французски, пусть, неважно. Зато все понимают, а старший, если хочет, и поговорить может на нашем языке. Я уважаю упорство Вероники. Не так это просто, живя в стихии одного языка, никогда не сбившись, говорить с

детьми на другом. На летние месяцы прибывает подкрепление в лице меня — еще один человек говорит с детьми по-русски и на этом же языке с их матерью. Этим августом «русский лагерь» укреплен еще юной полькой Агатой. Она учила русский в школе, на этом языке ей говорить куда легче, чем на французском, и вот за столом звучат одновременно два языка. С ей свойственной бойкостью включается в русскую речь Катя. Падежи для нее не существуют, забывая название предмета, называет его попросту «эта штука», но чешет, не задумываясь, понять ее вполне можно, и это поражает меня. В детстве Катя, благодаря усилиям моей сестры Ольги, болтала по-русски, но позже никаких попыток расширить и укрепить свои познания не делала, не училась, не читала, редкими приездами в Москву все и ограничивалось, а — говорит! Унаследовала, видимо, способности моей матери, на редкость ухватчивой к языкам,— таинственная штука гены! Ее склонности к интеллектуальным трудам не унаследовала, видеть Катю с книгой удается не часто, но — способна, способна!

Катя помогает Веронике и Агате убрать со стола, мыть посуду не надо, лишь поставить ее в посудомоечную машину, что-то во что-то включить, и машина, тихо жужжа, начнет делать свое полезное дело, а Вероника с Агатой готовят второй завтрак — это отнимает у них час-полтора, не больше. Им помогать не разрешается никому, все свободны, все делают, что хотят, условие одно: в определенные часы без опозданий собираться за столом. Таково распоряжение нашей хозяйки Вероники, таково ее желание: родственники и гости ни во что не вмешиваются, ни в чем не помогают, тяготы быта целиком лежат на хозяевах. Жиль ездит на рынок, Вероника и Агата готовят еду, машины моют и стирают, что же касается уборки помещения и утюжки одежды (машина, умеющая отглаживать выстиранное, еще, кажется, не изобретена, но, думаю, и это не за горами), то ровно в полдень прибывает на собственном стареньком автомобиле уборщица, мадам Авис, а ровно в три — отбывает. За свой труд она бе-

рет 24 франка в час. Автомобиль для нее отнюдь не предмет роскоши, а — можно смело сказать — орудие производства, ибо лишь с помощью автомобиля ей удается поспевать ко всем тем, кто в ее услугах нуждается. В эти летние месяцы, на этом населенном курорте в услугах мадам Авис нуждаются многие... Но ведь сезон кончится, осень, дожди, зима, наконец, и снова дожди, и свинцовое море, и темно-коричневый мокрый песок на оголенном пляже, и опустелые улицы (как же здесь, наверное, грустно зимой!) — так вот зимой что делает мадам Авис? Мне хочется спросить ее об этом, поговорить с пей, но — невозможно: она работает. Господи, как она работает! Если в час двадцать четыре франка, то, значит, в минуту сорок сантимов, и совесть не позволяет мадам Авис тратить эти оплаченные минуты на что-то, кроме работы. Ни разу за весь месяц не пришлось мне видеть, чтобы эта худенькая шатенка лет сорока на вид хоть раз бы присела, дух перевела. Жужжит пылесос, мелькают губки и тряпки (уборка ванных комнат), летает по гладильной доске утюг. «Бонжур, мадам!» — говорю я. «Бонжур, мадам!» — откликается она, не прерывая работы, серьезная, сосредоточенная, лишь глаза вскинет, чтобы поздороваться, мелькают тряпки, летает утюг... Куда уж тут соваться с расспросами, и так ощущаешь неловкость, ты шляешься взад и вперед, бездельница, а человек работает. И как работает! Лишь однажды с помощью Коли удалось кое-что выяснить... При появлении мадам Авис Коля обычно не присутствует (он либо на пляже, либо в бассейне), но, вернувшись, услыхав пылесос, Коля устремляется вверх по лестнице: он должен непременно поздороваться с мадам Авис! Я была однажды свидетелем этой сцены взаимных приветствий. «Бонжур, мадам Авис!» Вскидывать глаза не надо, детский голосок раздается снизу (светлая головенка, голубые глаза, сияющая улыбка), и разгладилось сосредоточенное лицо мадам Авис, и замерла в ее руке кишка пылесоса, и в ответ голосом растроганным: «Бонжур, мон пти!» — ах Коля, покоритель сердец! Вот тут-то я и прорвалась с вопросом, поинтересовавшись, есть ли у мадам Авис дети, ус-

лыхала в ответ, что — трое, хотелось еще узнать, есть ли муж, и если да, то где работает, но этого спросить не удалось, кишка пылесоса вновь шевельнулась в руке мадам Авис и заработала энергично, наверстывая потерянную, оплаченную минуту...

Учрежденный хозяевами распорядок дня меня очень устраивал. Хочу — пишу в своей комнате, хочу — сижу в саду или иду в бассейн или на пляж, ни ответственности, ни обязанностей, свобода. Мне это нравилось. Тете Эдме — нет. Без обязанностей, без домашних забот жить она не привыкла. Ее помощь на кухне отвергают. Попытки пойти на рынок — пресекают. Накрыть на стол — и то не разрешают! Не нужно, тетя Эдме, отдыхайте, тетя Эдме, вы и так крутитесь целый год (и дом, и сад, и огород, и магазины), так поживите же, ничего не делая! Но если тетя Эдме не умеет жить, ничего не делая? Если безделье томит ее? И если ей непременно требуется быть в доме полезной, но чем, но чем? Она обожает детей, но у детей уже есть няня, добрая, кроткая и тоже их обожающая — дядя Поль. Он и Жиль ходят с детьми в бассейн, на пляж, и, пока Жиль осваивает виндсерфинг, добрейший дядя Поль присматривает за малолетними. Так что присутствие тети Эдме на пляже возможно, но не обязательно. Обязанностей нет, их приходится изобретать. На столе в качестве непредусмотренного сладкого появляется торт из мороженого (восторженные клики детей, изумление Вероники), а тетя Эдме со скромным достоинством объясняет, что шла мимо «Друга Пьеро» (лучший кондитерский магазин курорта) и подумала, что неплохо бы... В другой раз на столе появляется прекрасный виноград — это тетя Эдме случайно шла мимо...

Утром Жиль привозит местную курортную газету, а иногда вдобавок и столичную: «Монд» или «Фигаро». Основные читатели, газетных строк глотатели — дядя Поль и я. После кофе мы поднимаемся наверх в гостиную и погружаемся в чтение. Но перед этим — реверансы. Он: «Какую газету вы предпочитаете?» Я: «Мне совершенно все равно!» Он: «О нет,

но все же...» — «Клянусь вам!» — «Нет, но...» — «Ну, хорошо, вот эту!»

Однажды случилось так, что газета была всего одна. Я же в столовой задержалась, поднялась наверх, когда дядя Поль уже в газету нырнул. Не поднимись со мною вместе тетя Эдме, я бы, не тревожа дядю Поля, тихо убралась к себе. Но рядом была тетя Эдме. Поль! ПОЛЬ! Ну как же так, овладел газетой, а он тут не один, мадам Наташа тоже любит читать, следовало сначала ей предложить. Вскочил, бедненький, кротко заморгал. Мои ответные крики — мне не срочно, я потом, о, пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь, нет, я не возьму, я потом! — никакого действия не возымели. Мне всучили эту постылую газету, всучили чуть не насильно, господи боже, воспитанность, учтивость — прекрасны, но не до такой же степени, попроще бы, попроще! Ведь вот с Жилем, представителем иного поколения, простота отношений возникла у меня сразу, а с этими двумя — напряженно, напряженно...

Она обращается ко мне так: «мадам Наташа». Я к ней: «мадам». Как не хватает здесь нашего доброго русского обычая имен-отчеств. И уважительность в этой манере обращения, и тепло, и дружелюбие. Лишь у нас в России... А, впрочем, что я расхвасталась? Это-то у нас есть, а другого, тоже необходимого, другого нет. Я имею в виду французского «месье-мадам», польского «пан-пани». А мы вот не знаем, как обращаться к людям незнакомым! «Улица корчилась безъязыкая» и, помучившись, выход нашла. «Женщина! У вас чулок порвался!» «Мужчина! Сдачу забыли!» Все чаще слышишь эти окрики, и, по-моему, они ужасны, но чем заменить их, чем?

С балкона, выходящего на каменную перед домом площадку, на живую изгородь, я вижу отбывающую на пляж небольшую процессию: дядя Поль, увешанный как елка детскими игрушками, Коля (его рост едва достигает сухого обнаженного колена дяди Поля) тащит за собой на веревке грузовичок, Дима с ведерком и лопаткой, Жиль, тоже обла-

ченный в короткие штаны и рубаху. Шествие заключает Катя. И на ней короткие штанишки, поверх просторная майка (именуемая «тишерт»), все словно бы очень просто и непритязательно, однако эта стройная фигурка так и просится на страницу модного журнала. Магнитофон с наушниками отбывает вместе с Катей: а вдруг ей захочется, отключившись от шума пляжа, погрузиться в мир музыки?

Прогремел по камням площадки и ступенькам лестницы Колин грузовичок, отзвучали голоса, ушли. Тети Эдме с ними нет. Она внизу. Быть может, делает попытки прорваться на кухню — тетя Эдме, говорят, великий кулинар! — но помощь ее отвергают. Чем ей заняться? Быть может, она пойдет гулять и по дороге что-нибудь случайно купит? Не знаю.

А вот мне чем заняться — знаю. Издавна приучила себя сидеть утром за письменным столом: человеку, избавленному от служебных присутственных часов, без самодисциплины не обойтись. Здесь я на отдыхе, и писать мне нечего, вести дневники не умею, но образовалась привычка, вот я и провожу за столом час-другой. Иногда отстукиваю письма друзьям, иногда, отодвинув машинку, читаю, а бывает, сижу просто так, уперевшись локтями в стол, глядя перед собой.

Окно распахнуто в сад, зеленая лужайка пестра от тени листвы и солнца, на пригорке деревянные, грубо сколоченные тяжелые (с места не сдвинешь!) скамья, стол и стул, мелькнуло пестренькое платье тети Эдме, собирается она, что ли, почитать в саду, впрочем, я не заметила у нее особого пристрастия к чтению, да и жарко сейчас, в саду хорошо ближе к вечеру, так и есть, ушла куда-то... Городок Юэ, городок Юэ... Впервые я узнала, что есть на свете такое место, чуть не сорок лет тому назад из письма сестры, там служил Пьер, там они жили, там был их дом, там Пьер погиб. Городок Юэ. Была фотография, нам с матерью в Шанхай присланная: Ольга и ее муж сняты во весь рост, Пьер в военной форме, пле-

чистый, крепко скроенный, тетя Эдме уверяет, что Коля похож на Пьера, а мне кажется, что Коля очень русский ребенок, но, быть может, мы обе правы: ничего специфически французского нет в немного квадратном лице Пьера с коротким носом и широко расставленными глазами... Почтовая связь Индокитая с нами была очень нерегулярна, а с марта 1945 года и вовсе прекратилась, всего три-четыре письма получили мы с мамой и одну фотографию. Сестра называла мужа то «Пьер», то «Петя», «Мы с Петей», «Мой Петя»... «Петя» учил русский язык. А еще сдавал какие-то экзамены, ему по службе полагающиеся, письменный выдержал, на устном провалился, ему надо было ехать в Ханой пересдавать, и мы, писала сестра, решили ехать вместе... Ездили? Чем это кончилось? Не помню, не помню. Годовщину своей свадьбы они праздновали вдвоем, и вообще им всего больше нравилось проводить время вдвоем. «Мама, видела бы ты, какой у нас чудный дом! Петя им очень гордится. Мы все мечтаем, как ты к нам приедешь!» Была у них собака Тимми, и кошка, именуемая просто «Кошка», и кролики, и куры, и петух. Свой дом, первый свой дом в жизни моей сестры. Наши случайные беженские жилища, комнаты гостиничного типа, ресторанные обеды, разогреваемые на спиртовках, вечные долги, вечные переезды. И вдруг: свой дом. «Это был веселый дом с собаками и детьми...» Дети ожидались. Сестра поехала к друзьям в Сайгон что-то покупать для будущего ребенка. Пьер в ее отсутствие должен был оборудовать детскую. На этом все и кончилось. «Мама, у тебя есть письма Пьера, сбереги их, у меня ведь ничего от него не осталось, ни строчки, ни фотографии!» А что могло остаться у человека, уехавшего на две недели, уверенного, что в свой дом вернется? Поразительно, что сама она уцелела, что ее не было в городе Юэ в тот вечер японского неожиданного нападения, в ту варфоломеевскую ночь! Обратный билет она взяла на десятое марта. А взяла бы на девятое... взяла бы на девятое, ее давно уже не было бы на свете. Ни Вероники бы не было, ни Кати, ни этих двух маленьких мальчиков... Ну, а я не сидела бы сейчас в ком-

нате с французскими гравюрами и синими обоями, перед настежь распахнутым в сад окном. Какие таинственные силы распоряжаются нашими судьбами, нашими жизнями?

3

Гости продолжают съезжаться.

К своим телефонам, телеэкранам и биржевой суете уехала Катя, но еще вернется — обещала провести с нами последние дни нашего здесь пребывания. На уик-энд явились друзья Вероники и Жиля: муж, жена, трое детей. Их есть куда разместить. Старшая девочка в комнату Агаты, там две кровати, супруги с младшей девочкой (очаровательная блондинка двух с половиной лет) в Катину комнату, где тоже две кровати, ну, а мальчик в детскую к Диме и Коле, там три кровати. Все утряслось на первом этаже, наш верх не затронут, появление новых гостей, новых детей коснулось меня мало, расписания моего не сбило, о моя милая комната, мое чудесное убежище. Я эгоистично живу своей жизнью, появляясь на люди, в столовую лишь в часы еды. Вечером тетя Эдме встречает меня словами: «Вы были совершенно невидимы, мадам Наташа!» Ей непонятно, что я там делаю, уединившись в своей комнате? Ведь у меня, члена семьи, тоже есть какие-то обязанности, ну, хотя бы перед детьми! Вежливость не позволяет тете Эдме это высказать, я же просто киваю с улыбкой, да, была невидима, и все тут.

Обязанности перед детьми... Мое дело, думается, расширять их познания в русском языке, говорить с ними, читать им вслух, в прошлом году, когда мы жили без гостей в маленьком доме, я этим и занималась. Со старшим играла в настольные игры (способный мальчик и в шахматах разбирался), младшему читала стихи из книжки с картинками. Картинки изображали юных пейзанок в платочках на фоне теремов и самоваров, каждой были посвящены рифмованные строчки. «Баю-баю-баю-бай, ты, собачка, не лай, белолапа,

не скули, мою Таню не буди!» Это четверостишие особенно пленило двухлетнего тогда Колю, еще ему почитай и еще, а этим летом, увидев меня, радостно вскричал: «Баю-бай!» и притащил истрепанную книжку с пейзанками. Как бы я, о господи, не связалась навсегда в его памяти с этой «белолапой»!

Я помню свои обязанности перед детьми, но заниматься с ними, читать им сейчас, когда дом гудит людьми, невозможно — и вот уклоняюсь, уединяюсь.

Тетя Эдме свою роль понимает иначе. Именно теперь, когда в доме гости, не родственники, посторонние, две пожилые тети включаются в помощь хозяевам. Гостей следует развлекать, с ними беседовать, и не только во время общих трапез! Дети же, когда их стало пятеро, тоже требуют внимания, особенно двое маленьких. Одному — три, другой — два, то штаны им менять, то на горшок сажать, то вмешиваться в их ссоры, разнимать, утешать... Перевозбужденный многолюдьем, впечатлительный Коля дурно ведет себя за вторым завтраком, капризничает, не ест, его непременно надо уложить спать, он устал... Не будет он спать! Губы складываются трапецией, рыданья, Колю уговаривают, Колю ведут в детскую и укладывают, этим радостно, с сознанием своей нужности занимается тетя Эдме, и она же остается сторожить спящего, когда все уходят — кто на пляж, кто куда... И она же меняет ему штаны и простынку, ибо во сне Коля тоже нехорошо вел себя, о чем тетя Эдме сообщает вернувшимся такими словами: «Он не успел закрыть свой маленький кран!»

4

Гости уехали, а следующие еще не приехали. Уложив детей спать, сидим в гостиной: кто телевизор смотрит, кто читает. Телезрители занимают небольшой диванчик против книжных полок (на одной из них стоит телевизор), читатели находятся в противоположном конце комнаты, в креслах у

балконной двери. На экране комедия редкого идиотизма, никто не пожелал ее досматривать, на маленьком диване лишь мы с дядей Полем. Для меня телевизор — урок французского языка, тренировка слуха на понимание быстрой современной речи, вот я и терплю, а дядя Поль сидит со мной, мне кажется, исключительно из учтивости, не решаясь встать и уйти... Что касается тети Эдме — она читает. Сидит в кресле под лампой, держа перед собой книгу карманного формата в дешевом издании, так называемую «ливр де нош». Поскольку прежде я видела тетю Эдме лишь просматривающей газеты или листавшей журналы, с книгой же не видела никогда — меня заинтересовало: что она читает? Вопрос этот занимал меня, отвлекаясь от экрана, я все поглядывала на книгу, но названия ее издали увидеть не могла. Чтение не слишком увлекало тетю Эдме, минутами она задремывала, голова склонялась на грудь, рука с книгой падала на колени, это пробуждало тетю Эдме, она вздрагивала, встряхивала головой, вновь принималась за чтение... Комедия кончилась, пора спать, прощаемся, идем в свои комнаты, я вижу, что книга оставлена на столике у лампы, делаю маленький крюк, иду мимо, сейчас я увижу, что именно заставляла себя читать тетя Эдме...

«Игрок» Достоевского во французском переводе. Откуда взяла его тетя Эдме, догадаться нетрудно: на книжных полках этой виллы многое можно найти, от современных детективов до старинных атласов и словарей... А вот чем объяснить выбор тети Эдме?

Кажется, я это поняла.

Мое присутствие, некоторая странность моего поведения, звуки русской речи, постоянно звучащей в доме, ежедневно, настойчиво твердили тете Эдме, что в семье, в ее семье, в дочери любимого брата и его внуках есть часть чужой русской крови. Нация далекая, нация непонятная... Не потому ли потянуло тетю Эдме к Достоевскому, который, как каждому известно, является специалистом по загадочной славянской душе?

А назавтра у нас с тетей Эдме возник долгий разговор, вызванный моей оторванной пуговицей. Дядя Поль, Жиль и дети на пляже. Вероника отдыхает в своей комнате. Агата уехала на велосипеде знакомиться с окрестностями. Тетя Эдме одна в гостиной у распахнутой настежь балконной двери томится над «Игроком». Вечерело, но жара еще не спала.

Я собралась почитать в саду, вышла из своей комнаты, мы с тетей Эдме обменялись вежливыми улыбками, и тут она мне сообщила, что одна из пуговиц моего платья висит на нитке, ее легко потерять. Я оторвала пуговицу, сунула в карман, пришью потом, хотела идти, но меня удержали. Тетя Эдме предложила пришить пуговицу немедленно. Нет, что вы, что вы! Она настаивала, настаивала горячо... Шить я терпеть не могу, иголки мне мстят, падая и исчезая, нитки ехидно закручиваются в узелки... Тетя Эдме продолжала настаивать. Ну что ж, если ей так хочется... Шить решили в саду, я переоделась, спустилась в сад, тетя Эдме со своей рабочей шкатулкой уже поджидала меня. Шила долго. Пришила оторванную пуговицу, остальные стала закреплять...

Обмениваемся репликами о погоде, ну, жарко, но пусть лучше жарко, чем дожди, дети весь день на воздухе, нащупав объединяющую нас тему, на ней задерживаемся, какие разные характеры у мальчиков, да и внешне они разные, один смугл, темноволос, другой беленький... Я вновь услыхала, что Коля — вылитый Пьер, тот в детстве был таким же круглоголовым блондинчиком, существует фотография, это сходство подтверждающая,— двухлетний Пьер в платьице на фоне морских волн, это такой задник был у фотографа, где Пьера снимали...

Иголка послушна, нитки покорны маленькой, широкой, умной руке тети Эдме, долго теперь не оторвутся мои пуговицы! Что вы сказали, простите? Нет, никогда. Тетя Эдме кивает. Да, да, она вспомнила, что я не могла видеть ее брата, ведь мы с матерью жили тогда в Шанхае, а Пьер с Ольгой в Индокитае, но это все-таки близко, мы поначалу имели све-

дения, знали об их браке, об их доме, а тетя Эдме и ее мать жили в Оране, за тридевять земель, и почтовой связи с Индокитаем не было несколько лет. Пьер, нежный сын и брат, писал домой часто, а потом эта проклятая война, все связи разорваны, а когда-то Пьер обещал Эдме, своей старшей сестре, ей первой сообщить, если задумает жениться, но она, но они с матерью, лишь из письма, последовавшего за той страшной телеграммой, узнали, что у него жена и ребенок, ребенок, родившийся через пять месяцев после его гибели...

— Телеграмма была подписана «Ольга», а пока не пришло письмо, мы понятия не имели, кто такая Ольга!

Тетя Эдме вскидывает на меня свои темные глаза, я еще не видела в них такого сурового, мрачного выражения, тридцать шесть лет прошло, а рана, нанесенная гибелью брата, все не зажила?

— Когда я думаю, что лето сорок пятого года мы спокойно жили... Ну, не спокойно, конечно, вы же знаете, что делалось тогда в Оране...

(Ничего я не знаю! Спроси меня тогда, где он находится, этот Оран, я бы не ответила!)

— ...когда я думаю, что мы смеялись, разговаривали, завтракали, ходили в кино, а его уже не было на свете, уже месяц, два месяца, три месяца не было на свете...

Опустила голову, замелькала иголка. Молчим.

Зима, весна, лето сорок пятого года.

Шанхай под властью марионеточного, японцами состряпанного, правительства Ван Цзинвея. Центральное отопление не работало, обогревались буржуйками, морозов в Шанхае нет, но промозглую сырость выносишь не легче, нет бензина, стояли автобусы, не видно автомобилей, в ТАСС я ездила на велосипеде, а на чем еще? Все ездили на велосипедах. Денежная единица марионеточной валюты именовалась «сиарби», чудовищная инфляция, чудовищная спекуляция. За каждый пустяк платили десятки тысяч, затем счет пошел на миллионы, полуголод, холод, но не страшно, но выносимо,

немцы изгнаны из России, война вот-вот кончится, кончится победой, но мы тут под властью японцев, чем с нами кончится — это еще неизвестно. И Ольга, Ольга! Что там с этим городком Юэ? Газетные сообщения тревожны, а еще более тревожны слухи. Город уничтожен. Гражданское население вырезано. Мать ходила на работу, сидела над ученическими тетрадями, что-то переводила — она умела владеть собой. Май. Победа. Ликование в Клубе граждан СССР. Обнимаемся, целуемся, поем. От сестры все никаких вестей. Лето. Жара, Хиросима. Война Японии с СССР. Нас, сотрудников ТАСС, сначала держат под арестом в служебном помещении, а затем мы проводим два незабвенных дня и одну незабвенную ночь в японской тюрьме. Тюрьма называлась по-английски «Бридж хауз» (Дом у моста), всякие ужасы рассказывали об этом доме, и вот пришлось там побывать. Заключенные сидят в клетках, три стены нормальные, вместо четвертой решетка, выходящая во двор, размер примерно пятнадцать метров, пол цементный, в углу параша, мужчины и женщины вместе. Нас, четырех сотрудниц ТАССа, от наших мужчин отделили, с нами в клетке сидели два китайца и пятеро европейцев: длинные волосы, бороды, засаленная, изодранная, потерявшая цвет и форму одежда; у одного из пятерых вместо бороды какие-то перышки, борода еще не росла, человеку было восемнадцать лет, его звали Марти. Это мы позже узнали, что его звали Марти, что все пятеро — американские летчики, сбитые над Шанхаем, и сидят они в клетке уже второй месяц. Ни коек, ни нар, спать на полу, сидеть на полу, и велено по-восточному (на пятках, поджав ноги), не шевелиться, не шептаться, взад-вперед, как маятник, ходил часовой, но не одна у него поднадзорная клетка, а шесть либо семь, он отходил, его не было несколько секунд (высчитали, сколько именно), мы разминали затекшие ноги, перешептывались и даже шутить пытались, друг друга подбадривая. О чем думаешь в такие минуты? Оплакиваешь свою молодую, нелепо оборвавшуюся жизнь (уверены были, что живыми не выйдем!), пыток страшишься, ужаса долгого пребывания в клет-

ке страшишься... На второй день, часа в три примерно, увели куда-то двух китайцев, мы думали — на допрос. То было пятнадцатое августа. Японский император признал поражение Японии. Этого мы знать не могли, но вот увели китайцев, и что-то изменилось в тюремном режиме, что-то в нем пошатнулось, часовой исчезал не на секунды, на минуты, вот тут мы и стали переговариваться с бородачами. Поздно вечером загремел замок, дверь в решетке распахнулась, нам, четверым, было приказано выйти — американцев освободили на следующий день, о чем мы узнали позже... Мы шли гуськом по открытой галерее второго этажа, задыхаясь от дыма, внизу во дворе горели костры, жгли бумаги (тюремные архивы, по-видимому), шли, еще не веря, что мы свободны, и дым этот был «нам сладок и приятен». Но вот мы за воротами, грязные, с закопченными лицами, мы свободны, знакомые места, река, мост, джонки, сампаны, серые здания набережной, звездное милое небо, боже, как прекрасна жизнь, и какой свежестью, каким счастьем пахнула на нас душная августовская ночь...

— ...в бога я не верю,— говорила тем временем тетя Эдме,— перестала верить, а прежде была религиозной.

Это когда же, это с чего же она заговорила о боге?

— Его убили, и кончилась моя вера! Если бог допустил гибель цветущего, молодого, полного сил человека, если бог мог такое допустить...

Вновь этот мрачный взгляд исподлобья. Не простила. Тридцать шесть лет прошло, а ничего не забыла и богу не простила. А разве только это допустил бог в нашем веке? Но гибель любимого брата ей заслонила все войны, все концлагеря и все газовые камеры. Семья. Культ семьи. Для таких, как она,— семья превыше всего. Ради семьи, ее чести, ее благополучия — готова на все. А, может быть, я фантазирую, может быть, это мориаковские персонажи мне мерещатся? Может быть, все мы так устроены: то, что коснулось нас лично, наших близких, нашей крови, нам важнее всех мировых катаклизмов?

За эти дни я уже поняла, что тетя Эдме человек твердых принципов, твердых понятий о долге, знаю от Вероники, как самоотверженно в течение многих лет ходила она за своей больной матерью, но вот этого тлевшего в ней огня, этого бунта, этого темперамента — не подозревала.

(Я вернусь в Москву и сразу же кинусь разыскивать моей матерью сбереженное письмо сестры от конца октября 1945 года. Достану и прочитаю книгу об Индокитае, ибо впервые за эти десятилетия проснется у меня желание вникнуть в то, что произошло в «городке Юэ»... Я прочитаю: «Своеобразие положения Индокитая по сравнению с другими захваченными Японией странами Юго-Восточной Азии было в том, что она не сместила французской колониальной администрации». А не сместила она потому, узнáю я, что эту администрацию возглавлял адмирал Деку, ставленник Виши. Но после июня 1944 года, после вступления во Францию союзных войск, позиция Деку изменилась. Он отказался сотрудничать с японцами. 26 сентября 1944 года Деку заявил, что судьба его администрации будет тесно связана с судьбой деголлевской Франции. Вот тут Япония и решила покончить с французской администрацией... Из этой книги я узнáю, что «городок Юэ» не городок был вовсе, а город, столица Аннама. И в принятой нами транскрипции название его пишется так: «Гуэ». «Девятого марта 1945 года японские власти в Индокитае разоружили французские гарнизоны, арестовали представителей французских властей... Но японцы встретили ожесточенное сопротивление индокитайского народа, аннамитских и части французских войск, расположенных в Индокитае». Столица Аннама город Гуэ был в числе тех, кто оказал ожесточенное сопротивление...

«В девять часов вечера,— писала сестра,— японцы неожиданно напали, Пьер и его солдаты защищали свой пост. В полночь Пьера убили».

Одна из судеб, стоящая за словами: «оказали ожесточенное сопротивление». Один из тех, кто попадет в число погиб-

ших, цифру сообщат газеты, «столько-то тысяч», цифру неточную, приблизительную, газетная строчка, по которой скользнут глаза. А за нею — что? Где он был в момент неожиданного японского нападения, этот молодой человек, на которого похож наш Коля? Дома, вероятно, ведь вечер. Назавтра ждал из Сайгона жену, успел обклеить обоями комнату, предназначенную быть детской, и, быть может, в тот вечер, насвистывая, любовался плодами трудов своих, а под ногами вертелась собака Тимми и громко залаяла, когда раздался... Что именно? Стук в дверь? Сигнал тревоги? Звон колокола раздался, того самого, что звонит по каждому из нас?.. Переоделся, рванулся в переднюю, собака за ним, отогнал ее, выскочил наружу и захлопнул дверь дома, которым гордился и куда ему уже не вернуться... «Эти полтора года мы были очень счастливы... Знаешь, мама, я хотела иметь ребенка, чтобы у него все было, а у нас с ней нет ничего. Она похожа на Пьера, такое же квадратное личико... Беспокоюсь о вас, давно нет вестей из Шанхая. Ты, вероятно, очень устала от этой жизни, моя бедная мама! Боже мой, наступит ли прекрасный день, когда будет мир и не надо будет поминутно дрожать за своих близких...»)

— Ну вот и все,— сказала тетя Эдме,— теперь ваши пуговицы долго не оторвутся!

Улыбнулась. Я тоже улыбнулась и, привстав, сказала, что очень ей благодарна. В ту минуту я и сама не знала — насколько же я ей благодарна!

Она ушла, забрав свою рабочую шкатулку, я осталась в саду. Браться за книгу не хотелось. Да и какая уж тут книга, вон слышны голоса, наши вернулись с пляжа, сейчас мальчиков поведут под душ, иногда это проходит гладко, иногда с капризами, затем в пижамах, с влажными головенками они выйдут в столовую. Сверху, напевая «тум-ту-рурум», спустится дядя Поль с его журавлиными ногами, маленькой головой на длинной шее, добрым лицом, умытый, переодевшийся. И усядется за овальный стол наша пестрая семья.

Вечерние длинные тени. С улицы слышны шаги, французский говор, все дружно идут с пляжа, близится священный час вечерней трапезы. Серая стена виллы, крыша из мелкой черепицы грифельного цвета, вон окно моей комнаты, полуприкрытое ветками орешника. Я встала, захватила платье, книгу, обвела глазами сад, вновь радуясь его запущенности, забор тонет в густых зарослях, забора не видно, кажется, что сад бесконечен, а что это тихо белеет в том отдаленном уголке? Березка. А я и забыла о ней! «Гой ты, Русь,— сказала я березке,— моя родина кроткая...»

5

Мы с Жилем отправляемся в концерт. Концертный зал в том же здании, что казино, сдается под гастроли приезжих знаменитостей, а в обычные дни там кино показывают. На стендах набережной висят афиши; в прошлом году они нас оповестили о концерте Святослава Рихтера, гастролировавшего во Франции, мы обрадовались, Жиль кинулся за билетами, билеты еще не продавались, а вскоре из тех же афиш стало известно, что концерт отменен, что до нашего курорта Рихтер не доехал... Жиль любит классическую музыку, часто ее слушает, разбирается в ней, и дома у него магнитофон, и в автомобиле, на кассетах записи симфоний, фортепианных и скрипичных концертов, фортепиано соло... За обедом Жиль сообщает мне, что на днях в зале казино концерт пианиста Жоржа Шифра. Уговаривать меня не надо, слушать фортепиано я готова всегда, и вот мы идем, вернее, едем, здание казино от нашего дома довольно далеко...

Жара и к вечеру не спала, в зале душно, кто веером обмахивается, кто — программкой, одежды легкие, летние, но пристойные, явиться на концерт в коротких штанах никому в голову не придет, молодым, быть может, такое в голову бы и пришло, но молодых почти не видно, тут люди среднего и пожилого возраста, много седых и лысых голов. На эстраде рояль с золотыми буквами «ЯМАХА», вижу впервые, при-

выкла к «Стейнвею». Жиль говорит, что рояль японский, и вот уже несколько лет, как «Ямаха» всех победил, вытеснив с концертных эстрад другие марки роялей. Ну японцы, ну нация! Страна восходящего солнца, цветущей вишни и горы Фудзияма. Полоска земли, омываемая морями, взрываемая землетрясениями. И на этой непрочной полоске такую промышленность развернули, такого высокого качества достигли, что обогнали на мировом рынке своих конкурентов во множестве областей! Корабли, автомобили, бытовая электроника — и теперь вот еще и рояли!

На пианисте, рыжеватом мужчине средних лет, не фрак, а светлый летний костюм и голубая рубашка. Программа концерта облегченно курортная: часто исполняемые вальсы и мазурки Шопена. Эта узнаваемость публике приятна, бьет без промаха, все очень довольны, а какая-то за нами сидящая дама даже подпевает... На требование бисировать пианист сказал: «Ну что? Опять вам Шопена сыграть?» Второй раз бисировать отказался. Распахнул пиджак, продемонстрировав залу потемневшую от пота грудь рубашки: «Пощадите, месье-дам! Сами видите! Жарко!» Смех. Аплодисменты. Очень все непринужденно.

О качестве игры его судить не смею. Тут я доверялась Александру Александровичу, он в этом понимал, сам немного играл на рояле, в музыке толк знал, много ее слушал, в своих вкусах был пристрастен, недостатком это не считал («нельзя быть всеядным!»), в последние годы жизни невзлюбил Шопена («Да разве сравнишь его с Шуманом!»), восхищаясь Рахманиновым-пианистом, к произведениям его был более чем холоден, любил Моцарта и Брамса, а Бетховена — очень выборочно, но самыми любимыми были у него, пожалуй, Мусоргский и Прокофьев.

Мы с Жилем пробираемся к выходу, поминутно извиняясь, выбрались наконец. Перед нами набережная, фонари, блеск в одну бесконечную линию выстроившихся автомобилей, толпа гуляющих, а за этим — океан с серебряной от полной луны дорогой. Меняются времена, меняются люди, жизнь

на земле меняется, а ему дела нет, он горд, он вечен, он без внимания к этой человеческо-автомобильной суете. Идем к автомобилю. Его еще разыскать надо среди многих прочих. Этот наш? Нет, не этот. Наш дальше.

В Ялте зал местного театра тоже отдавался под концерты приезжих гастролеров, мы там как-то слушали пианистку Маргариту Федорову (Александр Александрович очень ее игру одобрил!), а выйдя, тоже видели набережную, другую, чем эта, окаймленную пальмами, куда более пустынную, и ни единого автомобиля, путь на набережную автомобилям был закрыт. Только море похоже. Все моря, вероятно, похожи друг на друга, когда они спокойны и освещены луной. Сколько апрелей мы провели в Ялте? Семь? Восемь? А ведь я туда больше никогда не поеду.

Народу-то, народу! Ходят, сидят на парапете спиной к океану, на скамьях лицом к океану, едят мороженое, смеются, переговариваются, окликают друг друга. Иная музыка языка, иные интонации, иные междометия, наших «ой», «ох», «да ну?» здесь не услышишь, тут восклицают, тут удивляются по-своему... Я в Европе с моей русской тоской... Это откуда? Достоевский, конечно. Но ведь тот же Достоевский устами того же Версилова говорит, что «русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог... и даже это нам дороже, чем им самим!». Да нет, мне здесь хорошо, мне отлично, по отечеству не скучаю, скоро я туда вернусь — к своим друзьям, к своим книгам, к своей привычной жизни.

Дом спит. Мы с Жилем осторожно поднимаемся по лестнице, наверху прощаемся, расходимся. Оказывается, спят не все. Легкий стук в мою дверь: Вероника. Она ко мне иногда наведывается по вечерам, когда дом затихает, посидеть, поговорить, выкурить последнюю сигарету.

Я люблю эти вечерние посещения: они вновь подтверждают нашу с Вероникой душевную близость. И с кем еще здесь можно вести русские нескончаемые разговоры о жизни, о литературе, о несовершенстве мира, о политике, наконец? Не на

все мы смотрим одинаково, иной раз и спорим, но — близки. Веронике нужны эти беседы, мои приезды, мое присутствие, я не лишняя в ее доме. Сознавать это радостно еще и потому, что помогает мне оправдывать в собственных глазах ту роскошно-бездельную жизнь, какую я здесь веду...

Наполовину француженка по крови, родилась в Сайгоне, раннее детство в Оране, девочкой жила в Германии, затем Париж прочно и навсегда. В Москву впервые попала пятнадцатилетней, откуда же в ней эта тяга к России, почему ей так сразу по сердцу пришелся Александр Александрович с его страстной любовью к своей науке и своим ученикам, к музыке, к шахматам, к охоте, с его равнодушием к чинам, званиям и прочим внешним признакам успеха, с его шутками, чудачествами и непременными рюмками водки перед обедом и ужином? Человек для западного восприятия нелегкий — чем он пленил эту девочку, пришедшую к нам из иных миров? И сам он расположился к ней с первого взгляда, у них возникла переписка, она обращалась к нему в письмах: «мои шер онкль», он к ней: «ма птит». Изображать французские слова кириллицей — это одно из любимых увеселений Александра Александровича, сразу усвоенное и подхваченное Вероникой, до чего она быстро все схватывает! После того первого раза она стала ездить в Москву почти каждый год, стремилась сюда, ей было хорошо у нас, с нами. «Город, который так любит Вероника!» — сказала однажды моя сестра, идучи со мной по какому-то арбатскому переулку... Гены, гены, их капризы, их затейливые комбинации,— ну как иначе это объяснить?

6

В доме новые гости: родители Жиля.

Пьер (домашнее имя «Дади») немного моложе дяди Поля, а Габриэль — тети Эдме. Эти две пожилые пары друг на друга непохожи, особенно дамы. Тетю Эдме с ее маленькими, ши-

роками, лишенными украшений руками так и видишь в саду (копает, подрезает, поливает) или на кухне — поверх платья фартук с карманами, помешивает в кастрюле, пробует, подливает, подсыпает. Что касается Габриэль с ее золотыми украшениями и элегантными, обманчиво простыми летними туалетами, ее лёгко себе представить среди дам, приглашенных на очередной показ моделей у Кристиана Диора. Это не значит, однако, что Габриэль ведет беспечную жизнь богатой дамы. Богатство когда-то было, его уже нет, от него осталась лишь хорошая квартира в хорошем парижском квартале. Габриэль от хозяйственных забот не избавлена, стряпает, и убирает, и покупает. Но это где-то за кадром. Вид у Габриэль такой, будто она далека от прозы жизни и всегда пребывала в долине роз. Начитанна, образованна. Следит за прессой. Если для тети Эдме наша жизнь так загадочна, что и вопросов не возникает, то у Габриэль какие-то представления имеются, вопросы появляются, ну, несколько поверхностные, светским тоном задаваемые — но появляются. Стройна, подтянута, подвижна, рыжевата, белокожа (руки в веснушках), и всегда эта сияющая улыбка, эта западная светская улыбка — а что за ней — неизвестно. Кое-что, впрочем, известно: роль свекрови выполняет блистательно. Тактична, ни во что не вмешивается и всегда готова, бросив все свои дела, по первому намеку, прийти на помощь Веронике.

Ее муж «Дади» ростом высок (но ниже дяди Поля и в плечах шире), немногословен, очень добродушен, одет всегда как картинка.

Мне очень нравится слушать, как Габриэль говорит с детьми. Без сюсюканья, серьезно, уважительно, как с равными. И никаких окриков, никаких замечаний, если упрек, то в форме вопроса: «Ты не находишь, что этого делать не следует?» И вообще мне нравится слушать Габриэль: прекрасный литературный язык, прекрасная дикция, каждое слово понятно — это говорит мое уходящее поколение, ка́к бы оно, уйдя, не унесло с собой и этот язык! Когда между собой разговаривают молодые французы (бешеный темп, жаргонные словеч-

ки), я половины не понимаю, я прихожу в отчаянье, господи, сколько же времени и сил убито на овладение этим языком, и все напрасно, и я — бездарна! Но вот заговорили пожилые французы, и мне понятно все, и можно жить, уважая себя.

Две эти пары объединяет любовь к внукам и еще — Алжир: и те, и другие провели там детство и молодость. Живучи там, знакомы не были, но воспоминания об Алжире — неисчерпаемая тема их бесед.

Семья увеличилась, за большим овальным столом уже не только родственники жены, но и родственники мужа, стол захлестнула стихия французского языка, французских восклицаний, французского смеха, отдельные русские слова (ими обмениваются на том конце стола Вероника с Агатой) потонули в этой стихии... Я-то в нее погружена с головой, справа — дядя Поль, слева — Дади, рядом с ними их дамы, беседа оживленная, тема — Алжир, ну как же, известный был врач, неужели не помните? Ах, это тот, который жил на той улице, где... Да, да, вот именно!

Время от времени эти диалоги прорезает голос Вероники, она обращается к сыновьям, она говорит с ними только по-русски, произнося слова громко и четко: «Дима, где твоя салфетка? Опять па полу?», «Коля, если ты сыт, можешь встать из-за стола!»

Звуки чужого языка, обращенного к их внукам, Эдме и Габриэль воспринимают по-разному. На лице Эдме появляется выражение некой покорной отрешенности: не знаю, зачем это нужно, но не мое дело, не вмешиваюсь, молчу. А у Габриэль такой вид, будто она впитывает в себя эти непонятные звуки и — восхищена. Делится восхищением со мной — как мелодичен ваш язык! Что-то общее с итальянским, не правда ли? Обожаю, когда при мне говорят по-русски!

Ну, я думаю, тут налицо некоторое преувеличение, но эта любезность мне приятна.

Идем наверх в гостиную пить кофе. Я бы не прочь сразу

улизнуть к себе, но порыв этот сдерживаю, надо побыть в семейном кругу, отвечать на светские вопросы Габриэль, быть может, придумаю что-нибудь рассказать им забавное, ну, в общем, надо включаться, надо помогать Веронике развлекать гостей. Болтаем. Мило. Оживленно. Касаемся разных тем, задержались на автомобильной. Автомобилей все больше, много аварий, ездить по Парижу становится пыткой, поставить машину совершенно некуда, а в Москве как? Отвечаю. Эдме автомобилей не любит, автомобилей не водит, вообразите, и Габриэль тоже!

— Мой отец ко дню моего рождения решил сделать мне сюрприз. Отец меня очень баловал! Утром под каким-то предлогом вызвал меня наружу, и там на площадке перед домом — автомобиль! Это было, я хорошо помню, в 1932 году! Сколько же лет мне исполнилось? Постойте, если я родилась в...

И Габриэль называет год своего рождения. Эдме воспринимает это спокойно, я же — изумлена, потрясена и даже восхищена. Нет, не каждая на такое способна! Большинство дам, особенно типа Габриэль, моложавые, элегантные, цифр называть не любят, цифр боятся, в их присутствии не рекомендуется погружаться в воспоминания. Не раз я видела, как расширялись от ужаса глаза женщины, муж которой в присутствии посторонних наивно произносил: «Помнишь то лето, кажется, в начале тридцатых годов, когда мы отдыхали в Сочи, и на твой день рождения...» «Остановить его, удержать! — читалось в глазах женщины,— успеть, пока он не назвал еще одной роковой цифры...» Так же, вероятно, трепетал представитель дикарского племени, если кто-то неопытный допускал в разговоре неосторожность, могущую повлечь за собой произнесение «табуированного» слова... Да что о других говорить! Ведь и сама я, хотя притворяюсь, будто мне все равно, своего возраста я не прячу, на самом-то деле, ну не прямо, а намеком пытаюсь убавить себе год-другой, хотя разумом понимаю, что это, в сущности, ничего, ничего не меняет!

В моей комнате ждет меня томик Тэффи, ее недавно переизданные в Париже «Воспоминания». Любимая писательница моих отроческих и юношеских лет. Ее юмор мне близок особенно, свои ранние фельетоны я писала под ее влиянием. «Воспоминания» я читала очень давно, видимо еще в Харбине, и с тех пор не перечитывала.

В доме тихо, все ушли куда-то, в саду жарко, стол, стул и скамья залиты солнцем, ветки орешника тянутся в мое окно, а оказывается, я кое-что помню из этой книги, антрепренер Гуськин, уговоривший Тэффи ехать на юг (с чего и началась ее эмиграция), оказался старым знакомым, его смешные фразы и словечки из памяти не ушли, я их часто вспоминала, я только забыла, откуда они! Внезапно, вместо французского окна, выходящего во французский сад, я увидела небольшое, почти квадратное окошко, глядевшее на тихую, пыльную харбинскую улицу, ну, конечно, вот где я читала впервые эти «Воспоминания»! В нашей последней приличной квартире из трех крошечных комнат, мы там прожили год с весны 1931-го по весну 1932-го, матери эта квартира была не по карману, съедала все, что мать зарабатывала, я стыдилась своего перелицованного пальто, кроме школьной формы было у меня всего одно платье, думалось, что дальше будет лучше, а дальше было еще хуже... Через это окошко однажды весенним вечером я убежала в театр. Помню, как я переодевалась, испуганно прислушиваясь, как старалась бесшумно открыть, а затем затворить за собой окно, от матери эту эскападу следовало скрыть, но почему все-таки окно? Почему нельзя было с теми же предосторожностями выйти через дверь? Не помню! Недели за две до этого мать взяла меня с собой на спектакль «Осенние скрипки» в Коммерческое собрание, играли любители, лишь о главном режиссере Орлове было сказано в афишах, будто он «бывший актер московского Малого театра», а о жене его, Сабине Верлен, тоже сказано, что она играла в каком-то провинциальном русском городке. Орлов играл в «Осенних скрипках» адвоката, Верлен — его жену, влюбленную в молодого помощника мужа: последнее чувство стареющ-

щей женщины. Помощник был рыжеват, непривлекателен, я не понимала, как можно было его предпочесть сумрачно-красивому Орлову,— как он мне нравился! Верлен (черные с проседью волосы, зелено-серые глаза, цыганский с хрипотцей голос) тоже нравилась. Плакать я начала со второго акта: городской сад, последнее свидание любовников, падают листья, осень, таперша играет печальные вальсы. В антракте мать, встретив кого-то из знакомых, говорила, что Орлов бездарен, Верлен вульгарна, да и пьеса дурна — типичная мелодрама! «И все же в этих ролях я помню Книппер и Вишневского!» Покосившись на меня, мать добавила: «Ведь наши несчастные дети ничего в жизни не видели!» Но я была тем наивным и простодушным зрителем, который все принимает за чистую монету, и попытка объяснить ему, что монета фальшивая, вызывает у него отпор и раздражение. Домой мы ехали в старом дребезжащем «маршрутном» такси, с нами посторонние люди, было темно, я продолжала плакать, стараясь лишь громко не всхлипывать, я вновь слышала голос Орлова: «скрипки осени... флейты весны». Эти слова, этот голос, музыка печального вальса звучали в моих ушах и казались такими нестерпимо, невыносимо, душераздирающе прекрасными... Мы приехали, я, пряча лицо, сразу пошла в комнату, где уже спала Гуля, а мать сказала мне вслед: «В этот театр ты больше не пойдешь!» Но я пошла. Тайком. Хотя никак ие вспомню: почему все-таки через окно? Пьеса «Мораль пани Дульской» меня разочаровала, но влюбленность в Орлова и Верлен еще какое-то время продолжалась, и однажды, когда я встретила Верлен на улице (серое пальто в талию, серая шляпка, вуалетка), сердце мое дрогнуло, упало, я повернулась, пошла следом, и ветер доносил до меня запах ее крепких духов. Она вошла в какой-то дом, и позже я не раз делала крюк, чтобы мимо этого дома пройти... Вскоре Орлова и Верлен вытеснил из моего сердца опереточный актер Валин, в театр оперетты мать разрешала мне ходить, давала мне свои, из газет полученные, контрамарки, я не раз смотрела «Сильву», «Баядеру», «Роз-Мари», восхищаясь Валиным, иг-

равшим роли простаков... Летом 1932 года, изгнанные из той приличной квартиры, мы жили на окраине Модягоу, две комнаты, никаких удобств, зато палисадник с подсолнухами и можно делать вид, что мы живем на даче. Восьмого сентября, в Натальин день, было по-летнему жарко, пришли друзья, бывшие одноклассники, пили чай в палисаднике, мать ни за что не желала отказаться от привычки отмечать дни наших рождений и именин. Не помню лиц друзей, не помню, сколько их было, все прислушивалась к шагам на улице, ждала, не скрипнет ли калитка. Шаги слышались, калитка скрипела, кто-то приходил, но не тот, не тот, кого я ждала... За неделю до этого я написала письмо Валину, хотя не была с ним знакома, приглашая его в гости на именины, писала, надеясь на чудо, на «а вдруг?», скрыв от всех этот поступок. Гости разошлись, стемнело, а я все сидела в палисаднике, знала, знала, что никто не придет, а все-таки сидела, уже стыдясь своего письма, своей нахальной самоуверенности, какое счастье, что о письме никто не знает, кроме Валина, но он ведь никогда меня не видел, имя мое ему ничего не скажет, он забудет, забудет... Моя не сбывшаяся тогда мечта (увидеть любимого артиста у себя, в домашней обстановке) осуществилась через полвека: Валин, живущий в Москве, недавно был у меня в гостях: седой, худой, восьмидесятилетний человек. Все мечты когда-нибудь непременно сбываются, но часто так поздно, так не вовремя, что давно перестали быть мечтами, давно забыты и вытеснены другими... Ну, а в той полудеревенской квартире мы прожили, кажется, до октября, а потом уже стали жить втроем в одной комнате, но мать тем летом все не теряла надежды удержаться на уровне квартир, и бог мой, как она работала! Лишь в воскресенье оставалась дома, могла спокойно почитать в палисаднике с подсолнухами, тихо, зелено, звонят колокола в маленькой церкви при детском приюте «Дом милосердия», кончилась обедня, доносится говор расходящихся богомольцев, снова тихо. Наслаждаться бы матери этим отдыхом, но много лет спустя я прочитаю в ее дневнике запись, сделанную именно тем летом тридцать второго года:

«Боюсь воскресений... Девочки скоро уйдут от меня. Одиночество, которое и сейчас угнетает, с каждым годом будет все мучительнее». Прочитав эти строки, я сразу вспомнила ее лицо, ее слова: «Куда ты? Посиди дома, ведь я тебя совершенно не вижу!» Я бормотала, что иду к подруге, меня там ждут, но если мама настаивает... Усаживалась с видом жертвы: глядите на меня, здесь я! «Расскажи мне...— начинала мать и тут же — сердито: — Хорошо, хорошо, иди куда шла, иди!» Знаю: на себя сердилась в эти минуты больше, чем на меня: унизилась до просьбы! Ну, а я уходила. Не скажу, чтобы радостно, чтоб с легким сердцем, нет, смутное чувство вины присутствовало, но — уходила. Осенью начались занятия в Ориентальном институте, мать там преподавала, учили меня бесплатно, а дела наши становились все хуже, в дверь комнаты громко, требовательно стучали зеленщики, товарники и прочие лавочники («только тетки и кредиторы звонят в таких вагнеровских тонах!»), мы с Гулей цепенели от этих стуков, годом позже, немного освоив в институте китайский, я пыталась задобрить кредиторов, произнося несколько вежливых фраз на их родном языке, как все это было унизительно, о моя юность, о моя свежесть!

Что за крики доносятся в окно из этого французского сада? А, да они все там, я имею в виду дедушек, бабушек и детей. Дедушки и дети играют, а бабушки сидят на скамейке в роли болельщиков. Игра французская национальная: «буль», что означает — «шар». Этот шар, размером с теннисный мяч, не знаю, из чего сделанный, но довольно тяжелый, швыряют с определенного расстояния, целясь в другие шары, стремясь в какой-нибудь попасть и сдвинуть с места. А как же Коля с его маленькими ручонками? За него, как бы вместе с ним, швыряет шар дядя Поль, согнувшись, сложившись пополам, голова у колен, ну, молодец, другой в его годы, быть может, и согнулся бы, но вот разогнулся бы — вряд ли! Дади пытается швырять за Диму, но Дима самостоятельный

и гордый, сам бросает шар, насколько силенок хватает, Коля немедленно делает то же самое (во всем подражает брату, своему кумиру!), падает от чрезмерного усилия, волненье бабушек, нет, Коля не ушибся, Эдме кричит мужу: «Поль! Поль! Следи, чтобы он не уронил шар на ногу!» О, какой удачный удар произвел Дима в компании с Дади, смех, аплодисменты. Чудесное передо мной зрелище — этот запущенный сад в вечернем освещении, эти два старых господина, увлекшиеся игрой не меньше, чем их внуки, азарт и смех детей, и две любящие бабушки: Эдме в своем пестреньком, скромненьком и элегантная Габриэль в полотняном открытом платье желтого цвета и сандалиях... А ведь именно тем летом тридцать второго года юная Габриэль получила в подарок автомобиль! Происходило это в Алжире, а вот как именно? Утром отец Габриэль таинственно поманил дочь, она вышла на крыльцо и увидела... Да нет, какое там крыльцо, это у нас в Модягоу было крылечко, выходившее в палисадник с подсолнухами, а там... Понятия не имею, что было там! Мне мерещится белая вилла, желтый песок, синее море и хорошенький, красненький блестящий автомобиль, короче говоря, что-то кинематографическое мерещится... Снова визг. Дима, нарушив расстояние, но зато самостоятельно, сбил шар, общий восторг, бабушки аплодируют, Коля обнимает брата, два маленьких француза, две головенки, темная и светлая, внуки Габриэль, внуки моей сестры и правнуки моей мамы, мамы.

7

Днем ожидаем последних гостей: Катю и неизвестного молодого англичанина. Ждали одну Катю, но на днях она позвонила: можно ли привезти с собой приятеля? Вероника удивилась, но разрешила. Тетя Эдме и дядя Поль нас сегодня покинут. Вскоре после второго завтрака Жиль повезет их к поезду. Завтрак будет очень многолюден, соберется напоследок вся семья плюс неизвестный англичанин. После кофе Ве-

роника и Агата удаляются на кухню, всю компанию надо кормить, работы много. Жиль и его родители уводят детей на пляж. Тетя Эдме идет к себе укладываться. Мы с дядей Полем читаем газеты в гостиной.

Я их, впрочем, почти уже не читаю. Я к ним охладела. Я, стыдно сказать, живо интересуюсь лишь погодой, программой телевидения и сообщениями о том, что идет в кино. Все остальное проглядываю «по диагонали», как принято теперь выражаться.

Франко-иранские отношения. Иран требует выдать бывшего президента Бани Садра, сбежавшего в Париж. Угрожает держать заложниками 116 французов, проживающих в Тегеране... Забастовка на американских аэродромах диспетчеров воздушного транспорта, поддержанная их коллегами во Франции. Белфаст. Встреча Рейгана и Садата.

Снова забастовки. Снова терроризм. Розыски убийц, вырезавших в Марселе целую семью. Наследница богатейшей немецкой фирмы «Опель» от скуки и ради сильных ощущений занялась контрабандой наркотиков. Ее арестовали, но, кажется, уже выпустили, я не уследила... Юная мотоциклистка, остановленная на улице Парижа за нарушение правил дорожного движения, выстрелила в полицейского. Оказалось: она член какой-то банды и стреляла на нервной почве — думала, что ее опознали... Очередной «холд ап» в парижском банке: двое в масках направляют оружие на служащих и клиентов, третий в маске забирает деньги, затем грабители вскакивают в поджидающий их автомобиль и, отстреливаясь, удаляются. Отстреливаются потому, что к месту происшествия уже подоспела полиция. Ранен случайный прохожий, одна из пуль попала в окно парикмахерской. Все это происходило среди бела дня в том оживленном квартале, где живет Вероника, просто в двух шагах! Счастье, что мы все здесь. Ведь кто-то из нас мог вполне оказаться в роли ни в чем не повинного случайного прохожего! Вторую неделю одно из отделений парижской полиции бьется над расследованием какого-то убийства. Сотрудник отделения жалуется в газетной статье: заму-

чили добровольные свидетельницы! Старушки, живущие в том же квартале, где совершено убийство, жаждут помочь полиции: одна видела что-то из окна, другая, проходя мимо, заметила... Это одинокие старушки. За весь день им не с кем словом перемолвиться. Одно развлечение в магазин сходить, но там не разговоришься, кто тебя слушать станет? Вот они и идут в полицию, где их по долгу службы терпеливо слушают, но толку от их многословных рассказов пока никакого... Беда, когда человеку некуда пойти!

Убийства. Грабежи. Терроризм. Наркотики. Голова пухнет.

Но разве я приехала из страны, где ничего уголовного нет? Но вот принципы журнализма — разные. Об уголовно наказуемых деяниях и печальных происшествиях наша печать сообщает сдержанно, и, думается, далеко не обо всех. Их пресса — наоборот — любит щекотать читательские нервы подробными описаниями разных, мягко говоря, неприятных историй. Я не собираюсь рассуждать о том, какой принцип лучше, к тому же моего мнения никто и не спрашивает, я лишь пытаюсь объяснить, почему пухнет от чтения газет моя голова. Она не привыкла к этому потоку информации...

Сижу в своей комнате, уперлась глазами в сад, в зелень, в лужайку, стараюсь привести в порядок растрепанные мысли. Легкий стук в дверь. «Да, да!» — кричу, уверенная, что это Вероника. Но на пороге тетя Эдме. За ней возвышаются плечи, длинная шея и маленькая голова дяди Поля. Оба впервые переступили порог этой комнаты, оба улыбаются. Вскакиваю. Тоже улыбаюсь. Проститься пришли? Прошу их сесть. Нет, спасибо, им некогда. В руках тети Эдме плоский квадратный пакет, в темно-красную бумагу обернутый, алыми лентами перевязанный. Стоя, держа пакет за края, как поднос, тетя Эдме произносит маленькую речь. Они с Полем рады, что мы наконец познакомились. (Дядя Поль кивает, подтверждая.) Столько обо мне слышали и вот наконец встретились! Бормочу, что тоже очень рада. А это — маленький

подарок. (Пакет передается мне, беру растерянно.) Пластинка. Фортепианный концерт Шумана. «Вы как-то сказали, мадам Наташа, что любите этот концерт». Кладу пластинку на стол и обнимаю тетю Эдме. Затем — дядю Поля. Подумать только: она запомнила то, что я сказала! И сказала-то, вероятно, не ей, а в разговоре с Жилем, мимоходом, и сама об этом забыла, а она услышала и запомнила! «Спасибо, спасибо! Как это мило с вашей стороны!» Пустые слова, других не придумаю, а тронута искренне...

Ну что ж, тетя Эдме. Отныне этот издавна мною любимый концерт свяжется с вашим появлением на пороге комнаты, с вашими маленькими руками, державшими пластинку, как поднос, с вашим лицом и с кроткой улыбкой дядя Поля...

Молодой англичанин, привезенный Катей, темноволос, строен и красив. Зовут его Джон. Кто он ей? Жених? Возлюбленный? Мы ничего не знаем. По-видимому, и он о нас ничего не знает. Позже нам стало известно, как было дело. Он спросил Катю, где она проводит уик-энд? У сестры на курорте в Бретани. И если сестра разрешит, он тоже может с ней поехать. Сестра разрешила, они сели в самолет и поехали. Ну хоть бы в самолете ей рассказать Джону, в какую пеструю компанию он попадет! Но, быть может, в самолете оба надели наушники и, от всего отключившись, погрузились в мир музыки. Не знаю. Во всяком случае, выражение растерянности не покидало лица Джона во время второго завтрака. Обилие пожилых родственников. Кто, кому, кем приходится? Это ему сообщили, знакомя, но где ж запомнить! А главное — за столом одновременно звучат два языка, и на второй, уж совершенно Джону непонятный, откликаются маленькие дети!

По правую руку Джона — Катя. По левую — я. За столом звучат уже три языка. Не семейный завтрак, а заседание Организации Объединенных Наций!

Джон был мил, вежлив, улыбался, а в глазах растерянность: господи, где я, куда я попал? Я решила ему все объяснить, но еще больше его изумила. Из Москвы? То есть как из Москвы? Вы там постоянно живете? Да, я там постоянно живу. Никогда еще не приходилось Джону близко видеть человека, постоянно живущего в Москве. Интересно. Даже экзотично, но он просто не был к этому готов! Чтобы немного его отвлечь, я стала спрашивать, чем он занимается (брокер, как Катя), живы ли его родители? Да. Живут в Гонконге. А сам он живет в Лондоне. Но родился в Бангкоке. В течение нескольких неприятных секунд я не могла вспомнить, где он находится, этот Бангкок. Вспомнила. Таиланд. Отлегло. И все же, и все же... Мало мне Орана, Гуэ, Сайгона, Парижа, Лондона! Ведь если Катя вздумает выходить замуж за этого юношу, к моей жизни еще и Бангкок с Гонконгом примешаются!

Всей компанией идем на улицу проводить тетю Эдме и дядю Поля: Жиль везет их в Нант к поезду. Было много восклицаний, трогательного прощания с детьми, поцелуев, объятий, обещаний писать, все, включая Колю, сидевшего на руках у Дади, махали вслед автомобилю. Махал и Джон, с тем же выражением растерянности. Он, по-моему, так и не взял в толк: кто именно уехал, куда и почему.

Под вечер сижу в саду с книгой. Тишина нарушается смехом, английским говором, доносящимися с площадки перед домом. Откуда-то вернулись Катя и Джон. Окликаю по-русски: «Катерина! Поди-ка сюда!»

Явилась. В теннисном облачении: белые шорты, белая рубашка, кеды, носки.

— Да, тетка? (Ей нравится так меня называть.)

— Скажи, кто он тебе, этот Джон?

— О! Просто знакомый.

— Давно ты его знаешь? Где познакомилась?

— Одна неделя. Встретила у друзья.

— Замуж за него не собираешься?

— О, нет, тетка. Он хорошо играет в теннис.

— Ладно. Беги.

Итак: знакома всего неделю, притащила его сюда в качестве партнера для тенниса. Отплыли, значит, от меня Гонконг, где он родился, и Бангкок, где живут его родители. Ах, нет. Наоборот. Родился в Бангкоке, а родители живут в Гонконге. Впрочем, зачем я напрягаюсь? Теперь мне это все равно. Эта география меня уже не касается. И, по-видимому, не коснется.

Но откуда мне известно, что коснется меня, а что — нет? И кому из нас вообще дано это знать?

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЧАЛО

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Наталия Иосифовна Ильина

ДОРОГИ

М., «Советский писатель», 1983, 336 стр.

План выпуска 1983 г. № 42

Редактор *Н. И. Сарафанников*

Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*

Техн. редактор *Ю. Н. Чистякова*

Корректор *О. В. Селиванова*

ИБ № 3398

Сдано в набор 04.08.82. Подписано к печати 11.02.83. А 04512. Формат 70×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,70. Уч.-изд. л. 18,02. Тираж 100 000 экз. Заказ № 678. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109